



Волга

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

9-10 (518)

2025

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Данил Файзов. «писать письма из темноты...» и др. стихи.....	3
Михаил Токарев. В пубертатном лесу тихо плачет альтушка. Роман.....	14
Дмитрий Замятин. Тантрическая типографика. Стихи.....	121
Вечеслав Казакевич. Карманное зеркальце. Рассказ.....	127
Тимур Селиванов. «баллада о дяде» и др. стихи.....	131
Алексей Колесниченко. «всё время повторяется всегда...» и др. стихи.....	137
Андрей Ефимов. Зеленые яблоки. Рассказ.....	143
Ксения Рогожникова. Через раз. Стихи.....	146
Александр Ольхин. Светлячки в Песках. Миркой. Рассказы.....	149
Сергей Солоух. Еще семь штук. Стихи.....	157

ИЗ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Александр Ожиганов. Неопубликованные стихи из книги «Стрекоза. 1974». Публикация, подготовка текста, предисловие Светланы Варкан-Ожигановой.....	160
--	-----

ДИАЛОГ

Данила Давыдов, Сергей Кудрявцев. Разговор о Крученых.....	204
---	-----

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

Михаил Нисенбаум. Кампанелла и лекарство для романтиков.....	214
---	-----

ПРОСТРАНСТВО ТЕКСТА

Татьяна Зверева, Александр Марков. Две квадриги.....	223
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Александр Марков. Cicatrice de la plénitude: О невозможной материальности текста О кн.: Александр Уланов. Разбирая огонь	231
--	-----

Владимир Коркунов. Мандельштам Шрёдингера О кн.: Кот Мандельштам. Публикатор Наталия Азарова.....	235
---	-----

Светлана Михеева. В ожидании гения О кн.: Борис Кутенков. Критик за правым плечом. Избранные заметки о классиках, современниках, литературном быте.....	239
---	-----

Данил ФАЙЗОВ

Виталию Пуханову

писать письма из темноты
в темноту
переливать из пустого в порожнее
то есть в ту

ёмкость
ведро ли
кадушка
женщина или опять ведро

физиология держит за кисть

и бедро

перечитывая написанное
с горечью говорить
кант обещал нам григория остера

и звёздное небо над головой

у моего товарища мать умерла
он не сможет её похоронить
что из нашего темнота
и как мы можем сравнить её
с окружившей его темнотой

кисти с необъяснимой лёгкостью
касаются букв
пустое решение кажется сиюминутно
сложным
кажется дерево это не только дуб
но бук
смерть неизбежна
молчание невозможно

Данил Файзов родился в 1978 году в Игарке (Красноярский край). Жил в Вологде, в 1998 году переехал в Москву. Окончил Литературный институт им. Горького. Стихи публиковались в журналах «Арион», «Знамя», «Интерпоэзия», «Новый Берег», «Новый мир», «ШО» и др. Автор нескольких поэтических книг. Предыдущая публикация в «Волге» – проза: «Плеяда. Улицы детства» (2024, № 9-10).

меня спросили дорогу
и я отвечал
направо
будет окрошка на квасе
налево
она на кефире

а прямо спросили нервно
куда попадём мы
прямо

а этого я не знаю
я мало живу в этом мире

но я не ходил на прямо
устраивал квас обычно
но мог и кефир
у нас тут
любое бывает вкусно

а вы
если что
оставайтесь
назад не ходите только
с любимыми не расставайтесь
а то потеряете время

оно же не вправо
не влево

стоит
на ветру качаясь
пока на асфальте мелом
пишу идеальным почерком

направо окрошка на квасе
налево
она на кефире

и прямо лишь даты жизни
и прочерк

Масленица

спит птица спит
тесьюмой косматой
на сайте посмотрите птицу
цвирк
цвирк
цветут все наши лица

берегут колёса спицы
а цвирк не молкнет
а снег скрипит

цвирк
цвирк

а птица спит

колесо скрипит
цепочка
говорит звёздочке
маслице-маслице
отдай мне
а не то зубчик твой
тебя не увидит

цвирк
говорит звёздочка
я на небе
и уж с маслицем сам решай

и потом птичка
над сломанным велосипедом
не то поёт
все птички не то поют

всё цвирк а далее
убираем смешки наготу и прощания набираем чуть-чуть
ожидания соли спичек а кто тут сумеет разжечь вот сумеет костёр разжечь полоумная речь
ветки сухие хвоя и такое

и цвирк тому не произведен
и он тому не прислонён
кто молодец в тени завода
тут ссылка он не он не он

цвирк цвирк

мы летим над долгой речкой
смотрим сверху на того
кто весёлых человечков
рисовал ненадолго

и вот тут неплохо
икра заходит
блины заходят
грибы заходят
а выход где
вопрос внезапно прочирикан

проснулась что ли птица
этим цвирком

очень просто
налево стоят коты
а направо собаки

и коты говорят собакам
не ссыте
не по ссылке что думаешь
на бумагу

а собаки подымут лапу
по строевой команде

каждый пёс проревет
гав-гав
я уверю в человека

а человек умер
нет тут ни
для кота
ни для пса
человека

жертвую музыку
живопись тож
жертвую полиаморфность сереж
ань николаев
олегов алёш
зимних аллей
и покатых порош

выдох не вдох
и пока задарма
холод тесьмой затянул всех марин
полую жизнь окормляя

неба весеннего ультрамарин
двухкомнатная
лубяная

жертвую речь бесполезную
всю
стоит ли это припасов

боеспособных нести на весу
злую повестку
лихую лису
как ты её назовёшь
снесу
зайцы простыли уже на весу
боеспособные части

всё ли отдал человек неплохой?
пли! и контуженка прёт за тобой

добрый мажай я прадеда

это другая война на весу
и лубяная победа

красный петух забирает серёж
жертвую и эрмитаж
и ложь
он забирает данила

на кирпичах остывает зола
жертва не принята
принесена
всё лубяное остыло
всё ледяное остыло

как на союзике
было легко
как на абьюзике
было легко
это ж одно и то же

злые союзники плюют в молоко
пауэрс движет крылом
может быть даже
под потолком
враг под подушкой
воняет дымком
от сигаретки какую
тайком
дал молодому серёже

так капитал протянул свою длань
так капитан предъявляет ворвань
ворвань ударена чётко
жиром тюленя платить
за табак
за рок-н-ролл и чечётку

думаешь в двадцать каком-то году
про беломор не рифмуя
серыми рыбами встали во льду
тени союзников
кто утонул
кто дрейфанул
в страшную книгу пикуля

тянет ухмылку весёлый сергей
мальборо вытянет хмурый андрей
что это скажет такое конвой
это когда притащили
или тебя утащили

пауэрс вьётся над
над двинской губой
смотрит как мы
засмолили собой

законопатили родины щели

первая встреча с бесславным прошлым
приходите
будет много хорошего

приводите семьи
детей и внуков
и супругов у кого
есть супруги

потому что со славным прошлым
повстречаться легко
его очень много повсюду
а с бесславным
трудно

приводите друзей
сокамерников или однополчан
у кого на плечах погоны
и тех кто носом в очаг

восславим бесславное прошлое
тех
кто
например
зачах

и тех кто славы не ждал
и тех кто её находил во врачах

бесславное как живое
в нём есть что-то от боли
отболит немного у плоти

это выставка просто демонстрация
ни за
ни против

лев маленький как лев большой
лев большой

лев большой маленький
небольшой
но конечно большой
не какой-нибудь маленький

крупный такой лев
о маленьком льве говорит
он же я
он же лев
он же весь у меня внутри

проебали сумрак проебали
из кусочков тьмы и пыли
мальчики тимура и гайдара
удивлённые автомобилю

как же можно есть пельмени с хлебом
как же можно не смотреть на небо
как же можно выполнять команды
зряче слепо зряче слепо зряче слепо

ночка белая у нас сегодня уткнула
шину проколола незаметно
ты смотри и делай все дела
добрые возвышенные светлые

едет неспроста автомобиль
говорят что это сказка а не был
маленький еврей взлетел на небо
пешеходный переход ворчит нелепо

я сёл нечаянно в язык
и мигом окосел
в меня вошёл бухой мужик
и враз во мне осел
завёл неспешный разговор
расставил точки ё
а то что этот разговор
ни капли не моё

его тревожило сперва
потом ни боже мой
он попросил у нас слова
и не пошёл домой

он ел какую-то еду
и всё домой не шёл
он всё твердил про лебеду
которую нашёл

в тревожном сне в тихом аду
он потеснил меня
потом сказал жени меня
и скрылся в простынях

а я сказал жене найду
весь этот смысл ё
вот только прогоню его
не догоню его

Виталию Пуханову

ты победил комментаторов
удачных ходов
забитых голов
и остроумного дриблинга
самым простым способом

перестал
забивать голы
обводить на носовом платке
по пять-шесть соперников
ставить мат в дебюте

в панике они пытаются найти примеры
филигранных пасов или
назойливой болтовни
но все видео из нежелательного
ютуба
откуда ты узнал о себе многое
удалены

голодные комментаторы попробовали
переключиться
но мало кто так забивал голы
делал такие гроссмейстерские
передачи
и умел ставить комментаторам
детский мат
не употребляя запрещённых
теперь в нашей стране слов

принцип очень простой
поэты наконец осознали степень своего бессилия
двигаясь то колонной
а
то густой

шеренгой
помахивая листьями игдрассиля
произносят лозунги
речитативом
рэпом

хватит поэтам ходить раздетыми

или наоборот нам опять
не хватило хмеля

нам глубоко плевать
что кольца кольчуг проржавели

самых заметных в ад проведут под ручку

остальные смотрят глазами назад
просят ручку

когда из меня выходил марат
я был спокоен и строг
когда из меня выходил варяг
я плакал как только мог

но вышел совсем не узнав печаль
из недр моих камю
погасла свеча и зажглась свеча
подайте марат меню

выходит невыносимый серб
плескавица сок даёт
мы вместе начнём двахуевый век
но соус будущего течёт
но из варяга течёт
и из марата течёт

счёт
говорит марат
и я оплачиваю счёт

1.
тыки-трики три кита
отворяют ворота

там их дети и ворота
непройдённого кита

нафига тебе смотреть
на недышащую смерть
тут тортилла супчик выжгла
значит можно взять и выжить

нет так нет
так будет штыпель
вкл и выкл
жил и выжил

2.
и теперь аркадий давай сыграем
выбирай игру все твои полномочья
хочешь белые будут преградой рая
а мои
червоточиной

как же ты ушёл
не чёрный ни белый
и ведь ход за тобой оставался
три кита отворяют застенки рая
где аркадия
будем верить
есть любовь
незыблемость
постоянство

В ПУБЕРТАТНОМ ЛЕСУ ТИХО ПЛАЧЕТ АЛЬТУШКА

Роман

Глава 1

Это вам сентиментальный гемоглобин говорит

В густом бульоне предвечерних сумерек плавали рыбные головы. И снежный одуванчик подносила к своим сладострастным губам зима, семена, семена. И варезки, перелетая с ветку на ветку, нервно чирикали. Снег падал, но не касался земли, боялся касаться земли, и мальчишка Роман Михайлов боялся коснуться ее, боялся разбудить обетованную землю. В комнате было уютно, уютно, как бутерброду с докторской колбасой в брюхе у школяра. Запутавшись в этом брезентовом, спертом воздухе, я принялся неистово сквернословить. Впрочем, все совсем не так, а не так ли, не совсем, ли, ли, ли, так, ли, ли, так. Из этого Вакха, Леопольда Захера-Мазоха, Токарева вырвался удивительный крик, он же вспомогательный инструмент для измерения окружающего мира, штангенциркуль, микрометр, гастроскоп, оценки в журнале, тест на наркотики. Завопил мужчина, словно во времена былой юности, четырнадцатого февраля девяносто шестого года в Ангарском роддоме. Откашлявшись ото сна, устался в зрачок нацеленной на него видеокамеры. Многосуставчатые ножки штатива-треноги сделали едва уловимый шагжок по направлению к нарядному, как подсудимый на суде, литератору, фрезеровщику, это все о нем. Фетровый горчичный пиджак, бордовые вельветовые брюки, резиновые синие тапки, шерстяные серые носки. Читатель знает наверняка, после чеховской паузы неизбежно следует крик Никиты Сергеевича, Ричарда Никсона, Вещего Олега, короче говоря, уважаемых граждан. Вы слышите крик прямо сейчас, а любите потому, что любимы, моя самая преданная читательница, Дарья, отбывающая наказание где-то в Карелии.

– Вы что, хотите, как в ста днях до приказа, никто так не хочет, доложу я вам, все хотят, как в ста днях после лета, в моей части бывало разное, – произнес таинственно гражданин. Сколько раз он уже сидел в этом кресле, с этим рыжим котом, дремлющим на коленях, с этой черно-белой кошечкой, что точит коготки о спинку кресла. До роддома в Ангарске, до крика, до желтка, растекшегося по раскаленной сковородке. Сколько раз он уже отвечал на вопросы этого интервьюера, глядел этот сон, быть может, мы все еще не пришли с тихого часа в садике на улице Бармалеевой. Как говаривал один луизианский детектив, ненависть, любовь, боль одно и то же, сон, сон о том, что ты был человеком. Все может быть, и внучки, знаете ли, рожают себе бабушек. – Ты не служил, – говорит жена стыдливым шепотом. – Ты опять моргнул и уснул, – добавила ласково она. Походкой рассеянно величавой Женя отправилась на кухню. Именно ей посвящены следующие строки: и в сердце твоём поселился рой электрических пчел, и ты влюбилась, забыв, что ты страшный аллергик и мед может убить. Да, мы были слишком скромны с нею для неуставных отношений, поэтому ограничились любовью, о которой недалекие детишки обычно говорят: хи-хи-хи-хи.

В платье цвета зеленки на пальцах соседа, приезжающего редко из своих тюремных командировок. Ей слегка за двадцать пять. Волосы цвета мая, пускай будут мая, в таком случае глаза пусть

Михаил Токарев родился в 1996 году в Иркутске, переехал в Москву, окончил институт журналистики и литературного творчества в 2018 году, в 2020 году окончил магистратуру РГГУ. Постоянный автор журнала «Волга».

будут февраль. Оставшиеся одиннадцать месяцев распределите в соответствии со своими вкусами, усаые дети, пахнущие ацетоном, бабушкиными беляшами, мокрой собачьей шерстью и прочими нежностями. Удивительно, что же она во мне нашла, в таком, сотканном из неловких слов и движений, ошибок мышления, быть может, ей понравилось мое удостоверение фрезеровщика третьего разряда. Медовый запах ее волос волновал и больше ничего не волновало, доложу я вам. Странная штука, чувства. Как говаривал семилетний Женя Суханов: у меня начинает болеть голова, когда я думаю о любви, я же еще ребенок, зачем же мне эти проблемы? А вот семилетнему Саше Капустину девочка однажды сказала, дескать, ей нравится его рубашка, потом Сашка носил ее всю жизнь, в ней его и отправили в космос.

Сиротская зима на подоконнике, весенние, чайные ручейки. Не успевшие растаять снежинки, влетевшие в приоткрытую форточку. Санки залаяли у подъезда. На подоконнике рыбы хвосты, штук десять, не смущайтесь, их вовсе не много. И муха на окне, что укусила Штиглица, окоченелая бедняжка. Торопливой рысцей бежит мысль, желание описать подоконник превращается в шатание в потемках Мишиной души. Будто холотропное дыхание легки его слова. И все вы ему дороги безмерно, дороже шубы из шиншиллы. В нем бытует чудовищная нежность ко всем, ты не перепутаешь эту нежность, это же не цифры и числа. Подоконники, подоконники, у Ионыча подоконник, между прочим, создает образ уютного, но запущенного дома. У Родиона Романовича подоконник подчеркивает бедность и убогость жилища. У нас подоконник, что подполковник или уголовник, многозначителен. Оглянуться не успеешь, а тебе сороковник, а ты весь такой, гладко выбритый, куришь на балконе красный LD, пьешь шиповник и горько усмехаешься, почему я тогда ей не признался в любви. И разницы нету, о чем тут болтать, подоконники, кружок радиозлектроники, полуголые девки в лесу у костра, запечатленные на фотопленку konica. Суть никогда не меняется, а пророк Санбой все продолжает и продолжает учить петь Виктора Цоя в ведро.

– Миша, а что ты имел в виду, цитирую, ты на заводе хозяин, а не гость, тащи оттуда каждый гвоздь? – спрашивает иностранка в фиолетовом флисовом комбинезоне, у ней прическа каре, севдовласа, глаза ее голубы, глаза ее беспокойны, глаза ее голубятня. Венка-ручеек на виске пульсирует. – Давайте не будем об этом, просто болезненная тема, – говорит супруга, вернувшаяся из кухни с двумя малиновыми чашками кофе. Она закатывает свои восхитительные глазища, губы у ней перепачканы черничным вареньем. Евгения была дамой, как бы сказать ясней, два лыжника вышли из одного пункта в противоположных направлениях, скорость одного пятнадцать километров в час, второго десять, на сколько километров они удалятся друг от друга за один час. Впрочем, квитанция на невесту предоставляется только после заключения брака, к тому времени, полагаю, все задачи уже решены. Токарев подобной квитанции не имел, ему претили бюрократические подвыверты. Нелепые такие подвыверты, точно лошади в брюках. Мне было достаточно любить ее, как Дюрер любит зайцев, такой пространный комментарий дает сейчас Токарев.

– Знаете, Марта, чему меня научил отец Матфей на Соловках? – проявил интерес уже я. – Миш, только не это, – встряла в наше интервью женушка. – Чему же он тебя там научил, ну-ка, рассказывай, – воскликнула Марта. Еврейка по матери, немка по отцу, хайбрау по убеждениям. Кинематографист из ГДР, она решила снять документальное кино о странном русском писателе, таком ли странном, дурдома полнятся постояльцами, поискала бы там. Она отличалась исключительной скромностью. Говорила про врага всегда только хорошее, чтобы сломить его волю, чтобы враг воевал против нее без особенного энтузиазма. Квартирка ее пугала, ее пугали бундесбюргеры вокруг, простите мне мой сардонический немецкий. Немка взглянула на черный транспарант с белой надписью: водка не баба, должна быть холодной. Транспарант в сумеречном коридоре, на увитой искусственным плющом стене, над входной дверью. Чувствовала фрейлина себя усталой, будто ужаленной пчелой по имени Вальтер Бенъямин, чья заунывная мудрость не знала границ, но имела заграничный паспорт. Мадам была проста, в ее простоте причудливо сочеталась крайней степени опытность с последним усилием гения. Она вздрогнула, припоминая дикие недавние события, божечки. Мы переносимся вместе с Мартой в недавние события, как вы уже догадались.

То ли зверь завыл, то ли дитя заплакало, как это звучит правильно, усмехнулась Марта. Буран все свирепел и свирепел. Кинематографистка выпила таблетку валиума в тамбуре электрички. Жуткий голубоглазый мальчик жег спички, вглядываясь сквозь огонек в лицо немки. На бирюзовой шапке-петушке красная звездочка. В бумом полушубке он был похож на медвежонка. А снег не знал и падал, не ведая стыда, зима была прекрасна, прекрасна и чиста. На заиндевелем окне багровые надписи: не верить, не бояться, не просить, не прислоняться. Желтый, тревожный свет, как желтый билет, как лицо мальчика. Фрау поспешила отвести взгляд. Валенки ребенка диловинны, белые с черными полосами, точно шкура зебры. Пахло креозотом, чем-то винным, подобным образом пахнет пиво балтика девять. Ресницы и брови покрылись инеем. В морозном воздухе таял горький дым, а Марточка была печальною свободною томима. Вдруг мальчишка сказал голосом звонким, хулиганистым: тетя, а ты совсем тепленькая.

В тамбур стали выходить граждане. Выразительные, густо-черные глаза бабульки, на ее лице белила, червонные губы. На ней цигейковая желтая шубка в крапинку, на голове мохеровый зелено-красный шарф. – Вольф, Вольф, ептить, ты почему опять от меня убер? – певуче произнесла она. Следом появился поддатый мужчинка, его влажные, оливковые глаза добры. На синих брюках со стрелками темные пятнышки. В его руке чебурек, чебурек сочитсся жиром. Белый тулуп из овчинки расстегнут, под ним фланелевая, серая рубашка. Бронзовое лицо, усы Халка Хогана, щедрая улыбка. Он достал из кармана мерзавчик, с жадностью приложился. Подмигнув немке, произнес: а меня в Караганду с завода для усиления направляют, я в ноябре на доску почета попал.

Таинственно-волшебные думы завладели Мартой, ей подумалось, а ведь безумие в самом деле обаятельно. – Бабуля, а тетенька теплая, теплая! – оповестил радостно пацан. Работяга прищурился, недоверчиво переспросил: значит, в гости? Бабка хватя за рукав кинематографистку, пальцы пожилого человека цепкие, как у Грека, что ехал через реку, а потом так же схватил рака, но тот в свою очередь вцепился в руку Грека, утянул того в реку, у них произошла форменная Греко-ракская борьба. – Вольф, а расскажи душечке, как мы с тобой учили, – попросила старушка. Мальчишка с готовностью поведал: сущность наслаждения не в предмете наслаждения, а в представлении о наслаждении. Подъезжали к станции, заводчанин дотронулся до щеки Глюк. Его ладонь шершава и холодна, не скромна, не весна.

Резкая остановка, рука перестала гладить лицо. Марта упорхнула, точно прекрасная Хлоромия из тамбура. И снег слоистый, как слюда блестел вокруг. Оскользнулась на перроне, тревожность напала на фрау, тревожность напоминала лунного волка, цап зубами, дисконфорт в районе желчного пузыря, цап, сердце покалывает. Ей однажды, то есть вчера Токарев сказал по телефону, а ты добрая, сложно тебе будет, отчего-то вот вспомнилось. Двери захлопнулись, к окну прислонилась бабка с внуком, их пылкое дыхание растопило изморозь, их алчные глаза не моргали. Темно-зеленая электричка ЭР2 унеслась невозвратно. У пригородных касс тусовались кошки, там в помещении кроме кошек и не было никого. Женщина положила кофр со штативом и камерой, рюкзак с вещами на скамейку. Герой фильма запаздывал. Как же она легко вовлеклась в это сомнительное предприятие, задумалась фрау. Студеная мгла обступила со всех сторон. Силуэты деревьев, начертанные нервной рукой. Марта Глюк отчетливо поняла, стенания не помогут, лишь навредят. Она снимала кинокартины об индийских мистиках, снимала о наркотической эпидемии в Канаде, Глюк чрезвычайно легка на подъем. И все же тоскливое предощущение неясной этимологии донимало изрядно.

Дамочка вошла в серое здание, дымчатый котик вякнул, бусый даже не взглянул, малахитовый глаз его не сверкнул, второй попросту сверкнуть не мог, обстоятельства. Животинки возлежали на кассовых прилавках. Не хватало лишь обыкновенной бабушки кассирши. И у прозорливого читателя неминуемо возникнут следующие строчки в уме в связи с этими кошечками, возлежащими на кассовых прилавках. Что если мир раскрутить посильнее, подумай о бабушке, что будет с нею? Глюк едва не вляпалась в лужу напитка Саяны, какой-то негодник разбил стеклянную бутылку. Едва уловимый аромат полыни, сосновые нотки показались Марточке не лишними пикантности. Женщина минула турникеты. Она знала, веру переменить, не рубашку

переодеть. Она исключительно замерзла и с превеликим удовольствием сейчас бы переменяла рубашонку на тот изумительный свитер из верблюжьей шерсти, подаренный супругом Клаусом.

Из лесочка едва доносился колокольный звон. И белые звездочки снежинки всех нас уравнили с генералами. Немка конфузливо произнесла вслух: морозный воздух щекотал мои, как это правильно, волосы в носу. Одиноким, сомнений в его одиночестве нет, фонарь тускло освещал глубокие человеческие следы на снегу. Коренастую елочку с тусклым, потрескавшимся шариком. Также на елочке висели сушеные рыбешки, как это, вобла к пиву. Причудливые украшения. По щучьему ли велению, по наитию или как-то еще Глюк, утопая в млечном безумии, направилась к унывному дереву. Колокольный звон чрезвычайно манил, порою так манит птушницу болезненная любовь к божественному мраку. Под ногами что-то блеснуло, рассыпанные лезвия спутник. Там вон еще чего-то блестит. Немецкая гостья оторопело взглянула на мириады фунфуриков. И среди пузырьков медового тоника, Вита-септа, огуречного лосьона фрейлина углядела матрешку. Она неосмотрительно подняла черную матрешку, на ней узоры, красные листики, цветочки да ягоды. И стоило ей поднять эту горячую, точно беляш на можайском вокзале, игрушку. Как страна льда и пугающего гула, где не видно ничего живого, вдруг воспряла ото сна. Бронзовый камышовый кот за мышкой крался. Взъерошенная стая птиц, голоса, взмыла в глухонемое небо, хлопая крыльями, словно крышками кастрюли.

– Аля-улю, бросай, а то крякнешь! – заорал кондиционер человеческих душ. Он появился скоропостижно. Он студеная зимняя пора, что вышла из лошади, которая везет крестьянских детей хворосту в жертву. Пожеванная шуба из кролика, коричневые брюки бананы. Литератор спешил к ней, придерживая серую милицейскую шапку-ушанку. Его налобный фонарик ошпарил светом, точно кипятком, немку. Фрау именно так и представляла писателя, судя по рассказам, у него несомненный талант вычлывать подлежащее. А в черепной коробочке проживает Энигма, и он победит при любом раскладе, но, к сожалению, проиграет первому встречному психиатру-демиургу. – Ой, добрый вечер, Миша! – задорно воскликнула фрейлина. Женщина протянула руку, но герой фильма раздраженно сказал: бросьте матрешку! И тетенька послушно бросила.

– Ты такой парадоксальный, просто кошмар, – поделилась соображениями Марта. Тем не менее, она лукавила, парадоксальности тут никакой не было, дешевый трюк, расположить к себе лирического героя, но самой не очаровываться, беспристрастно снимать его эскапады на камеру. Показать, что слушаешься, показать, что на его стороне. – У нас Марта это Марфа, поэтому вы не спешите, Марфа, эту матрешку нельзя подбирать, – пространно проговорил Токарев.

Колокольные перезвоны смолкли. Все из того же лесочка слышится вой, плач и стон, бум-бум-бум. Немке показалось, работают какие-то моторы, что-то там стучит, дребезжит. Литератор увлек тевтонку в туманную хмарь. Она шла нетвердой походкой, проваливаясь в сугробы. Самое время разжечь букварь, чтобы погреться, усмехнулась про себя Марточка. Миша помалкивал в тряпочку, вымоченную в бензине. Личико у него сделалось крайне задумчиво, красный нос, синие прожилки. Тетушка едва попевала, не наученная идти в ногу со временем. Воскликнула: Мишенька, куда ты так спешишь, это все из-за, как это, матрешки? Меж тем они забрели на поляну, то не поляна была, но пруд, заклеименный льдом. И там, как это, холодильники, старые холодильники полукругом. Зил, Саратов, Самарканд, Смоленск, Снежинка, Вега, Полюс. По неизвестной причине немку чрезвычайно смущали те холодильники. Рефрижераторы жужжали. Глюк подумалось, а где электричество, а где здравый смысл, а где, а где. Подошла к Самарканду, изнутри кто-то постукивал, мычал еле слышно. Коснулась рукою мерзлой двери. – Ептить, ты это брось! – возопил Токарев. Больно вцепился в плечо, увлек за собою. – Как это, Миша, макабр? – подивилась Марта. – Макабр, макабр, дурища, – подтвердил поэт. И потащил Марту в сторону хрущевок, чьи силуэты напоминали силуэты троллей.

– Как-то раз, очень давно ученые мужи, в простонародье фраера, приехали в глухую деревню, заинтересовавшись некой волшебной курицей, хозяин курицы, работяга, богобоязненный мужичок пригласил их к столу, за столом ученые-перченые склонились над графиками, обсуждали, понимаешь, что значит для науки эта курица, мужичок с аппетитом обедает, а что вы делаете,

спрашивают ученые, пока вы обсуждаете курицу, я вот ее кушаю, сказал мужичок. – Фрезеровщик многозначительно слотнул слюну. Вспоминает, о чем ему поведали на Соловках. – Это чешет, как это, твое самолюбие, – Марта подбирала слова, премило чмокая лягушачьими губами. – Что именно чешет? – с латунным, нет, нет, просто с металлическим безразличием осведомился Токарев. – Как это, чувствовать себя тем, кто ест курица, – подсказала киношница, поглаживая узловатым пальцем каемку кружки с кофе. – Откровенно говоря, я та еще курица, но мне не близко, как внучатые племянники, не близки подобные сравнения, быть может, я сам себе не близок? Мужчина принялся цитировать, перевирая: а помнишь ее родинки, голые колени, старые диваны, новые романы, вы все также неблизки?

В недавнем прошлом поэт с завидной периодичностью прикидывался лишайником, чтоб его облизали, но досточтимые читательницы перестали вестись, они дышали матками. По всей видимости, я неотвратимо старел и дурнел. И как-то раз я встретил Женечку. Однажды ты поймешь, мой не рожденный сынок, все мы горазды мурчать по понятиям, однако стоит тебе найти свою Женечку, вся эта блатная ерунда мигом пройдет. И ты найдешь в себе смелость, только по-честному, признаться в прекрасный момент, да, грешен, да, верую, тяготу принять не готов. До нашей судьбоносной, какой же еще, встречи мною овладел очередной психоз. Так бывает в интеллигентном обществе. Знаете ли, тонко чувствующие натуры склонны к абсурду, они горьки, что микстура. И ни одному драматургу, а все интеллигентные люди драматургии, не пережить полярную ночь с собою наедине. Они чрезвычайно милы, подолгу не могут решить, заварить чай или кофе, чай или кофе, что в данном случае будет двигать сюжет.

– Знаешь, Марта, я посмотрел на нее хорошенько своим ортодоксальным взглядом и сказал себе, да это же мать моего ребенка там, она заведующий психиатр, она не отвертится, вертихвостка, – размышлял вслух я, кивнув на жену, глаза мои слезились, точно на исповеди. – Марта, может быть, вам принести чего-нибудь менее безалкогольного, – спросила Женечка, – Мишке нельзя, если он выпьет, начнет возбуждаться от крови врагов, а нам этого совершенно не надо. – Немецкая женщина степенно похихикала, скрипит снег, идут по снегу, мы идем там по снегу, а в комнате ли мы. Мои усы затрепыхались, точно крылья бабочки-капустницы. Совсем недавно я наступил на горло своей песне, вернее, перерезал горло своей песне, подобно Мойре, что перерезала нитку, случай не уникальный, увы.

Мысли, исполненные меланхолии, текли рекой Томь в голове поэта, и никто не обещал обратить реки вспять, но кто-то пообещал забрать ребенка из сада, но не забрал, а потом ребенок превратился в сторожа, случай не уникальный, увы. Тем не менее, в сторону жалость к себе, фу, фу, фу. Жалость к себе, упование собственными вот этими состояниями сладостны, как бурятские буузы. Однако имейте мужество, в конце-то концов, нести полную ответственность за свои поступки, мысли, печень.

В очередной раз Токарев моргнул. Необычайно замлев, он принялся посапывать, как резиновый ежик. И кровь, холодное, балтийское море, неторопливо текла в венах его. И привиделись ему родные дворы, проспекты, залитые тусклым, желтоватым светом. Залитые водою по самые крыши. И привиделось ему будущее, будущее бессмысленно. Бессмысленно, как ревновать свою же дочку к ее матери. Дурное влияние, пусть так. И во всем этом было скрыто какое-то невыразимое покаяние, в этих оранжевых меченосцах, изумрудных горбушах, серебристых омулях, аспидных анциструсах. В детском велосипеде Аист с растрескавшейся голубой рамой. А все мы были пузырьками в дистилляте, ректификате. И не являлись мы более самодостаточными пупами зимы, важными, самодостаточными, словно кишка коня, набитая мясом. Наши пуританские замашки сыграли злую шутку. Мы были склонны к самоедству, а звали нас Джеймс Кук. Будущее нас ждало такое, с приветом нас ждало будущее. Тех, кто не успел отрастить в срочном порядке жабры, тех уж и нету. Бакланы, какие же мы бакланы, ругался в собственном сне мужчина. Он бегал по крыше гаража, с трепетом наблюдая за.

– Жения, – сказала кинематографистка, взяв женушку за локоть, – я бы хотела, как это, спросить, можно ли ему говорить о, как это, успехах в Германии, мне сообщили, в феврале должны

перевести «Хрущевку нашей любви»² – Не надо этого делать, он может обрадоваться до безобразия, так обрадоваться, что превратится в кога, да, да, не сомневайтесь, он так может, не зря у него пять только доказанных госпитализаций в психиатрические учреждения. Евгения поднялась из вишневого румынского кресла, подошла к окну, открыла пошире форточку.

– С неделю тому прям на заводе он поразился мысли, что все мы являемся теми плотниками, что сами себе организуем крест и сами же себя к нему приколачиваем, еле смогли поймать коллеги, он бегал по цеху и нес благую весть, слава богу, успокоился и вернулся к своим титановым шестигранникам, – произнесла, закуривая тонкую сигаретку с ментолом, жена. Под потолком гирлянды сушеных яблочек, они напоминали трофейные ушки. На стенах, пожелтевшие газеты, рябиновый абакур, в углу на гвозде висит черная тужурка, там же двухлитровая банка с чайным грибом стоит. Отчетливо пахло влажной землей, слегка дымом, так пахнут паучи. Пахло медицинским спиртом. Менее выражено пахло черникой, медом, процедурным кабинетом, где проходит кварцевание носа или горла, кого, что беспокоит, не беспокойтесь, у вас на левом предплечье шрам от манту, значит, прорвемся.

– Мне показалось, он какой-то разбитый, – вкрадчиво сказала журналистка, ставя чашку на круглый, пурпурный столик. – Разбитый изнутри стихами, Байронами, Рембо, Уитменом, разбитый нечеловеческой нежностью к тому-то, тому-то, – меланхолично улыбнувшись, пояснила Женечка. Она не очень-то любила обсуждать состояние мужа. Предпочитая отшучиваться. У нее была любимая присказка на этот счет: ходил со мной в синагогу в качестве еврея. Марте на плечо упал паучок, немка степенно взглянула на него, а потом вскрикнула от удивления. Голова у паука была кошачьей, маленькой, маленькой, рыжей, рыжей. Внезапно наваждение спало.

Комната вдруг приобрела черты студеного кабинета гинекологии. Глюк вспомнился восемьдесят девятый. Пожелтевший кафель на стенах и полу. Коричневый дерматин, кресло. Белые хлопковые трусики. Вспомнилась медсестра, поразительно похожая на французского бульдога. И чувство такое, дескать, впереди столько всего интересного, представить только, новое тысячелетие. Она школьница, но тысячелетие новое. Вроде как несолидно будет играть в прятки с одноклассниками, совестью, тем более так никого и не нашла. Вспомнилось свое гибкое, юное тело, замечательное, словно пачка ваучеров. То есть Марта не это имела в виду, менять свое тело на заводы, садовые товарищества она не хотела. Короче, комната приобрела черты студеного кабинета гинекологии.

– Однажды ты возвращаешься с завода с получкой, ты идешь по ночному району с некоторой осторожностью, сбиваешь сосульки своим любимым гаечным ключом, твой внутренний ребенок вполне готов ко встрече с хулиганами, припозднившиеся прохожие, спешно переходят на другую сторону улицы, пресловутые хулиганы заводят свой тарантас и быстренько уезжают, завидев тебя, и ты с удивлением понимаешь, вокруг нет маргиналов, главный маргинал это ты, точно так же обстоит и со взрослением, – такие были мои слова. Когда вновь открыл глаза, в комнате остались только кошечки. Жена и Марта неожиданно испарились, словно жители уральской деревни Растесс в пятидесятые годы. Видеокамера продолжала снимать, горел красный огонек. Достав из внутреннего кармана пиджака тетрадный листик с желаниями на день рождения и коробок спичек, поджег листочек. Бумажка горела, как щеки на морозе, замечательно горела. Черно-белая кошечка Маркиза мурлыкала, она пристально глядела на гнездо под самым потолком. У аиста, спасенного нами в прошлом апреле, уж заросло крыло, птичка улетела, гнездо вот осталось в память о том, что мы были людьми.

В подъезде раздалась трель звонка, потом еще трель, потом канонада ударов, стучали без разбору во все двери. – Дорогая, принеси мою плетку с антресолей, – попросил Миша, прикрыв свои русалочьи глаза. Супругница недовольно сопит, однако приносит поэту старенький ТТ и отдельно обойму. Не квартира, а кайзеровский бордель, подумалось Марте. Миша решительно распахнул дверь. И направил смертоносную машинку на парочку подозрительных джентльменов. – Кто это такие страшные, – воскликнула немка. – О, не волнуйтесь, Марточка, это коллекторы пришли взыскивать дофамин, у нас тут по соседству микрорайоны дофамина, дедушки как дети, надо им объяснять, что нельзя брать у незнакомых людей дофамин.

Коллекторы лупали маленькими, маслянистыми глазками, пистолетное дуло не шутки. Головы их напоминали картофелины, бугристые, с белыми отростками. Их маленькие губы, что вялые вишни, скривились в недобрых полуулыбках. Парни не боялись быть грешными, но боялись сыграть безгрешными, внешний мир когда нагрянет, они выйдут в своих кожаных куртках, синих трениках. И будут прославлять эротических суккубов, ложно принятых за Есфирь и Сарру. Их головы хорошенько напечет солнышко, гормоны возьмут свое. Коллекторы будут пассионарны, как Светлана Аллилуева, эмигрируют в подлунный мир.

– Идите в жопу! – вскричал писателишка, выходя из сумрака, показывая свое чудовищное утро. Ребятишки оробело топтались на лестничной клетке. На темно-зеленой стене висели бумажные иконки. На электрощите магнитики, Мюмла в красном платье, Снусмумрик в изумрудной шляпе, i love Крым. Синие лампы, рефлекторы Минина, Марта в очередной раз подивилась столь загадочному освещению в подъезде. На шеях коллекторов она разглядела мох, или то была плесень. В таком случае мальчишки превращают разлагающиеся органические, как это, вещества в энергию, а солнечный свет им вовсе не нужен. Кинематографистка путалась в собственных бархатистых мыслях. Глюк пригрезилось, будто находится она сейчас в каком-то электрическом лесу. Кора космических деревьев, трава двоичный код, а рысь вон мельтешит, глитч. Евгения Михайловна возвратила Марточку на землю. Выглядывая из-за спины литератора, она несдержанно сказала: господа коллекторы, вы ходите по тонкому льду, в нашем подъезде нет должников, а мой муж сейчас прострелит вам бошки! Визитеры едва заметно кивнули, стали спускаться по лестнице. Все мы возвратились, по аналогии с трудными подростками, возвращающимися из колоний в преступную среду, возвратились домой. Ой.

И все-таки, пока наша немецкая гостья и моя непостижимая супруга лялякают в данный момент на кухне. Хотелось бы поведать читательнице Дарье, что отбывает наказание где-то в Карелии. Поведать Сашеньке, который нынче прохлаждается в одесском дурдоме. Его статья о нейрорептиках, бесстыдно убивающих душу, всколыхнула, нет, нет, взбудоражила немало ученых мужей. Александр вчера сказал, у них там война, у нас тут на-на-на-на. Растопленным маргарином словес я смочу блинчики вашего любопытства, милые. Ужель вы не знаете, как бывает, хорошие мои буквоеды. Расскажу, как все началось.

Рассвет все не наступал и не наступал. Ни в троллейбусе на ноги, ни по достижении шестидесяти пяти лет. Если у вас тоже не наступает рассвет в семь утра на вашем заводе. А лиминальные пространства, как говорят ученицы школы экономики с цветными волосами, пирсингами в носках, особенно лиминальны. Самое время сушить сухари. Мы с Димой синоптиком, который провел десять лет в плену у бабушки. Под сизой щетиной не видно Диминого лица, у него пронзительно-васильковые глаза. Мы с ним пялились в занавешенное мглою окошко. – Чегой-то мы ухайдокались, а ежели рассвет вот вообще не наступит, давнехонько я его не видал, – задумчиво произнес Дмитрий. Удивительно, но синоптик не рассказывал о космических ценах на продукты в лабазе, о погоде он тоже не говорил. Извечные темы молодых людей, воспитанных бабушками.

По цеху трусцой пробежала собака. Мы с обреченностью мультяшного кота Царапки, задрав головы, глядели на окно под самым потолком. Димка внезапно спросил, показывая на сердце: дотошная пора, прикинь, рассвет не придет сегодня, а ты тутока чувствуешь чего? И мне, когда он поинтересовался о моих чувствах, вспомнилось школьное детство. Треугольный пакет молока. Обсканная тряпка для доски в чьем-то рюкзаке. Затвердевшие соски одноклассниц, девочки от холода стучат зубками. Грубые мозоли на костяшках. Метели, метели там, а тут в классе тихо и грустно, нецензурщина на деревянном транспорте. В школе скверно топили, спасибо реактору номер четыре. Я на последней парте, кажется, ничего не чувствую. Вонзаю в руку циркуль. Одноклассники глядят испуганно на мою улыбку, глядят на ягодки рябины, глухо падающие на серую парту. Я уколол себя тогда, чтобы почувствовать хоть что-то.

Впрочем, вернемся на завод тем утром, когда рассвет долго не наступал. Кто-то включил музыкальный центр, Бутусов запел: я пыгался уйти от любви, я брал острую бритву и правил себя, я укрывался в подвале, я резал кожаные ремни, стянувшие грудь. Говорю Димке: чувствую, кто-то

открыл ящик Пандоры, теперь только держись, один тлен и безысходность. Потом он спрашивает, повеселев: а ты будешь джин с тоником, у меня там, в шкафчике стоит? А я и отвечаю: ага. Ну, мы и пошли к его шкафчику, в общем-то, хороший джин. Тогда же предположительно пришла мыслишка, труд фрезеровщика подобен полету бабочки, наколотой на страницу альбома. Пока выпивали, Димке припомнилась бабка и Чита, говорит: домой бы в Сибирь бы, трудиться. Воспитанный бабушкой коллега подумал немного, дополнил: пожалуй, трудиться, а еще молиться.

Я с ним согласен. Мы все-таки не вещи сами в себе, не черные ящики, но одаренный, сентиментальный гемоглобин. Тем утром на заводе случился мой психоз гиперчувствительности, это был он, ленинградский почтальон. Я снизил свои крокодильи дозы нейролептиков. Блокада дофаминовых рецепторов снята, сами понимаете масштабы. Иными словами, Фукусима моей нервной системы не выдержала, произошла авария. Я перестал чувствовать гравитацию. Это напоминает предощущение панической атаки. Однако панички вовсе не наступают. Катастрофически не хватает воздуха, липкие пальчики Саши Шорина, Андрея Курдяева крадут воздух. В груди щемит неизъяснимая тоска. Накрывает минут на пятнадцать, потом отпускает на краткие мгновенья, потом вновь. Изрядно стало тяготить одиночество. Прекрати свой психотронный террор, возопили коллеги, читатели, случайные граждане. Бедняжки были вынуждены слушать мои истории, понимаю, не каждый способен перенести такой эсхатологический ужас. Припадки возвращались с завидной регулярностью, подобно тому как возвращались растерянные молодые люди из рехабов. И в каждом встречном мне виделись черты бога, даже в женщинах.

Подошел к нашему мастеру, порешали с ним не госпитализироваться. Просто вызвали психиатра на завод, чтобы осмотрел. – Чего ж тебя так размотало, мой хороший, – мысленно сказала Евгения Михайловна, ведущий психиатр нашей области. Мы потом с нею целовались. Но она передавала не слюну и бактерии, а пыльцу. Капрон ее кожи порвется, думалось мне, не допусти, чтобы по твоей вине порвался капрон ее кожи, дурак, не допусти. Моя симпатическая нервная система была не такой уж симпатичной. Поэтому я совершенно не старался показаться ей излишне хорошим. И совершенно не стеснялся явить себя таким вот угловатым, косноязычным и питекантропом. Безбашенные монологи-дневники, которые я записывал на VHS камеру для YouTube в маске зайчика, шесть романов, опубликованных в журнале «Волга», все, все я продемонстрировал Женьке, ничегошеньки не утаил. И мы сошлись с невиданной легкостью, теперь сожительстваем. И в непрерывном одиночестве наступила пауза, эмоциональная, интонационно-синтаксическая, физиологическая, ситуативная.

Тем временем Глюк приспичило по малой нужде, она перепила кофе. Журналистка, супруга и я вернулись в нашу гостиную. Беседовали о ребятах, которые ушли после девятого класса жить в лес. О том, в каком интересном положении оказались современные подростки. Между тем госпожа киношница вознамерилась обсудить с литератором его поэму. Ей захотелось прищучить, нет, нет, побеседовать о творчестве. План интервью хаотичен. Почувствовала, надо поговорить о поэме. Но прежде помочиться, справить нужду. Дамочка интересуется: Миша, Женя, а где у вас, как это, клозет? Ей объясняют, зачем-то дают две пятирублевые монеты. Напутствуют, дескать, ничего не бойся, в крайнем случае передашь пятаки кому надо. Ерунда, да и только. Марта достает из рюкзака поэмку, на листах пометки цветными карандашами, уточнения, вопросы. Пробежать глазами текст, сидя на параше, будет не лишним, полагает немка. Ее предположения верны, однако не будем забегать вперед.

Она вышла в коридор. На тумбочке премилый светильник-фонтан, пучок оптоволокну, но сколько радости. От самого пола, от самого паркета елочкой стал подниматься пар. Марта обескуражена, ей непонятно, каким образом неловкое сочинение смогло убедить видного политика Штефана Вонку не танцевать на табуретке с петлей на шее. А между прочим, он был на выходе, глубочайшая депрессия, представьте себе. Перед путешествием Россия казалась ей опасной, будто Коза Ностра. Кто знает, на что способны люди, умеющие сочинительствовать по высшему разряду. Сочинительствовать так, что граждане в глубокой депрессии буквально находят спасение в этих текстах. Отчего-то именно сейчас немка перестала сомневаться, отчего-то именно сейчас

она твердо решила, я не зря ввязалась в данную авантюру. Фрау щелкает выключателем, смещенный санузел. Чугунная ванная, полупрозрачная, малиновая шторка задернута. Студеный пол, бордовая плитка, тонкая, войлочная подошва тапочек. Собачий холод. Розовый махровый чехол на ободке унитаза. Марта присела. А свет погас. Немка ощущает чуждое дыхание на своей щеке. Хриплый мужской голос горячечно шепчет: пожалуйста, не пугайтесь, я всего лишь пришел на чай. Ладонки женщины вспотели, в руках поэма, а больше нечем защититься.

Свет зажигается. И Глюк видит жилистого, долговязого гражданина, торс обнажен. Очки в черепашьей оправе. Кожа цвета оперения птенца. Серые волосы, прическа полубокс. Быть может, он рубаха-парень, этот кекс. Однако любой рубаха-парень неминуемо становится однажды бушлатом, и тогда только держись. Глюк хотелось закричать: я умываю чемоданы, я умываю руки! Но голос предательски пропал. Журналистка ощущала себя рыбешкой, пойманной на мотыля, нелепо до безобразия. Тело соседа пересидка, покрытое синими религиозными наколками, казалось крайне любопытным проявлением человеколюбия. Маки, купола, признание в любви матери. Подтверждали данную мысль. А сколько пленительных звездочек, звездочек в достатке. На звездах фрау поплыла. Далекий Сириус, холодный и немой из ночи в ночь надменно сверкаешь ты над сумрачной землей, царишь над бедственной вселенной. И полетела немка, словно клочки по закоулочкам, вернее, сознание немки куда-то улетело. А на бордовую плитку упали листочки с сочинением Токарева. На титульном листе название этого сочинения: моя маленькая щитовидка.

Глава 2

Моя маленькая щитовидка

(поэма в прозе)

В доме культуры имени Яблочкиной весьма и весьмалюдно. Граждане несравненных возрастов не против увидеть чудо, впрочем, ничего нового. Недаром Роджер Бэкон однажды сказал, все новое это хорошо забытое старое. Но мы не францисканские монахи, не жили хорошо, поэтому незачем и начинать. В доме культуры имени Яблочкиной царит беспрецедентная предновогодняя скука. Поскрипывают откидные кресла, обитые коричневым дерматином. Мигают синим, красным, зеленым гирлянды. И где-то в домах совсем скоро атланты расправят плечи (автор имеет в виду столы-книжки). И будет звучать полупьяная, интимная речь. Будут варить холодец и лепить пельмени. На плотных, как удары судьбы, малахитовых кулисах россыпь снежинок, вырезанных беспокойными ручонками воспитанников школы искусств. У меня нет ответов, кто из них вырастет, из этих воспитанников. Я не обладаю талантом Чезаре Ломброзо, поэтому определить по лицу сорванца, в каких кабинетах или тюремных камерах он очутится, увы, не могу. Однако мои сограждане научились предсказывать, глядя на лицо президента во время новогоднего обращения, будущее.

– А теперь ученица девятого Бэ класса, Света Иночкина расскажет нам о своей любимой поэте, Ольге Горпенко, – воскричала лапидарная тетенька. Ее манеры в некоторой степени пугали, однако не очень. Длинная белая челка, голова выбрита машинкой. Синяя клетчатая рубашка Fred Perry, подтяжки, узкие джинсы с подворотами, большие лакированные ботинки Grinders. На пухлых оранжевых губах учительницы блуждает улыбка. Мушка под левым глазом, которую специалисты называют пятнышко красоты, чванливые европейцы переняли восточную моду, впрочем, кто я, чтобы осуждать чванливых европейцев. На сцену выходит барышня пятнадцати лет. Ноженьки в зеленых шерстяных колготках напоминают гусениц. На веках фиолетовые тени. Сарафан цвета сукровицы. Черные волосы с розовой прядью. В губе серебряное колечко. – Дорогие друзья, нам всем желается, чтобы жизнь не прошла мимо, и не даром, и не зря, – бойко начала ученица девятого Бэ. Присутствующим, по всему вероятно, были близки ее слова, послышались одобрительные возгласы: твои слова велики, как цены на помидоры на Камчатке, детка! – Не дай им заткнуть себе рот, говори!

Миша Токарев в добром здравии, отрадно видеть его в подобном торжественном расположении духа. Нити слюны срываюся с его тонких губ, да прямо на брюки. О, свежи в памяти воспоминания о сгущенном молоке, его слюна густа, как сгущенное молоко. По малолетству, когда мы были вынуждены довольствоваться малым, это сейчас мы фрезеровщики и наша зарплата способна впечатлить и даже вдохновить очередную сожительницу на подвиги. Это сейчас мы ни в чем не нуждаемся. Так вот, по малолетству мы готовили новогодний торт, помнится, в ход шло печенье Мария, маргарин, сгущенка, какао, изюм и орехи, мы все это крошили, хорошенько перемешивали, потом с превеликим аппетитом кушали, как раз в новогоднюю ночь кушали. Миша глядит исподволь на сцену, ему будто бы не хватает саспенса. На нем прелестный коричневый свитер из пожилого чебурашки. Чебурашка, кем бы он ни был, мальчиком, девочкой, зверь штучный. Но это не столь важно сейчас, бросьте. Литератор в доме культуры имени Яблочкиной по приглашению, в доме культуры имени Яблочкиной проходит поэтический вечер, вечер художественного слова, как написано на афише цветными фломастерами.

Девчоночка со сцены вдохновенно рассказывает об Ольге Горпенко. Дескать, человек она неоднозначный. Однако нашему времени полезный по многим причинам, в частности, своим разрушительным примером употребления наркотиков. Ученица девятого Бэ подытожила: теперь моя небольшая теория, как вы знаете, ученые Йельского университета установили, что маленькая щитовидная железа свидетельствует о литературном таланте у того, у кого эта маленькая щитовидная железа присутствует. Девятиклассница безукоризненно проводит параллели, Ольга Горпенко, маленькая щитовидка. Светка говорит: Ольга в сравнении с хлебом совсем не насыщенная, то ли хрупкий росток, то ли горький хрусталь. Также Светой Иночкиной было прочитано знаковое: как деревья крыльями ветвей нас сомкнет бензольное кольцо, бился взор, впиваясь в пустоту, реял дождь, рассеянный, как сон, медсестра зевала на посту и умолк последний омнопон. Иночкина замечает, любовь и дружба присущи поэтике Ольги. А потом чрезвычайно игриво декламирует: как бы ни был ты тяжело контужен, смейся, мозг человеку не нужен, славься, маразм, идиотизм, наше счастье – автоматизм, по утрам под подушкой шарю я, где мое левое полушарие?

Расчувствовавшись до безобразия, Токарев помыслил такой образ: моя душа в противогазе шагает, да по траншеям, повсюду кислотный туман. Еще утром он попрощался с жизнью в свойственной ему манере, излишне драматизировал. Едва забрезжил рассвет, отзвенела ночь. Конечно перестало выкручивать, так выкручивает хозяйка мокрое белье. Теперь же он слушает Светочку и умиляется, надо же. Рядом с Токаревым сидит раскрасневшаяся снегурочка. Он подцепил эту неоднозначную, как бюстгальтер Марии Кюри, особу недалеко от хрушевки, которую ломали экскаваторами. Она и другая снегурочка, раскорячившись, писали. Та снегурочка, которую подцепил Токарев, поинтересовалась мечтательно у подружки, глядя на небо, когда они писали: как ты думаешь, есть ли разумная жизнь на других планетах? И Токарев сразу же догадался, вот эта мадмуазель есть гостинец, есть новогодний подарочек для него. Интеллектуалка, ко всему прочему, вовсе не зазноба. Не постеснявшись справлять малую нужду прилюдно, дама расписалась в собственной принадлежности к рабочему классу. И тогда он сказал данной гражданке: вообще-то говоря, мне не о чем говорить с женщиной, если она даже не знает, что такое сделать шестигранник в минус пять соток от номинала, но вы меня заинтересовали.

Слышится валидолные вздохи впечатлительных барышень. Учительница объявляет: а теперь на сцену приглашается поэт нашего города, фрезеровщик третьего разряда, Миша Токарев, он почитает новые тексты из своего сборника под названием «Никакого секса до нашей героической кончины!» И как только она объявляет, я стремглав и тотчас выхожу на сцену. И как самый настоящий худрук позволяю себе разное, нет-нет, ничего оскорбительного, никаких фамильярностей. – Я прочту одно стихотворение, стихотворение, как бы выразиться поясней, отрадно видеть столько молодых здесь, для них я прочту одно стихотворение, ведь столько соблазнов, понимаете ли, – я стал заговариваться. Что-то бесповоротно заканчивалось, год заканчивался, заканчивались фосфор и гелий, тем не менее, чтобы не смущать дорогих читателей этими скорбными новостями, я принялся конфузливо знакомить господ с величайшими образцами моей пи-

санины. Меж тем на солнце выступили пятна, а у меня лицо пошло пятнами, а дикция захромала на обе ноги, а глазки были такие, как ягодки можжевельника.

Ассоциация предателей России,
 Если не сказать шире,
 То есть неплохо бы уточнить,
 Уточни, побольше созвучий.
 Предателей каши манной,
 Жизни крайне туманной,
 Гематогена, что, безусловно,
 Есть кровь и рождение,
 О, мы знали помимо деления,
 Теории этногенеза,
 Увоенных в школе,
 Немножко латынь.
 И далее продолжают,
 А не вы ли предали
 Варезки на резинках,
 Бензин по семь с половиной,
 Котопса и так далее, не вы ли,
 Так вот, наша ассоциация
 Заинтересована в вас,
 То есть вы можете вступить,
 А можете не вступать.
 И он думает не вступать,
 Читая брошюру,
 Брошюру, где и цезуры на месте,
 Да и вообще, блестяще написано,
 Брошюру, выпавшую из газеты
 Вечерние новости,
 Почему квадроберов запретят,
 Взлет и падение Вагнера,
 Кассовые рекорды Барби.
 Он половозрел,
 И вообще, фрезеровщик,
 То есть человек, чей возраст
 Описан специалистами так,
 Юноша бледный со взором,
 Со взором горящим.
 Он безоговорочно одинок,
 Не женщины ему попадались,
 Не женщины, но желчный пузырь.
 Была одна Роза,
 Имя Розы было ему незнакомо,
 Остальная Роза, вроде, знакома,
 Они работали вместе,
 Потом жили вместе,
 Часто ругались.
 Глядя на ее обмелевшие губы,
 Он думал:

Эти слова не подходят для этого рта,
Этих зубов, этих молочных зубов.
Стоматологи и стоматиты,
Сейнтологи, сталактиты,
Проктологи и наниты,
Словом, специалисты
Вовсе бессильны,
Речь касается органов размножения.
Юноша бледный
Со взором горящим
Путал гражданские войны,
А также звездные войны,
А также расписание троллейбуса,
Носил дерзновенно усы
В свободные времена,
Во времена популизма,
Трансгуманизма, прочего изма.
Юноша бледный
Со взором горящим
Беседует по интернету
Увлеченно, скорее, простуженно
С девушкой, чей облик созвучен,
Скорее, наследует
Голенькой Тереховой
Из кинокартины Зеркало.
До чего же красивая,
Думает он,
Потому что Россия,
Думает он,
Потом пьет фенибут,
Решая завести кошку.

Я поспешно схожу со сцены, уступая место лапидарной тетеньке, уступая место детишкам, родившимся после девяносто шестого года, тинейджерам с их пейджерами, ревизионистам и культуристам, сионистам, имажинистам, кавалеристам. Надеюсь, они, эти потомки со своими котомками найдут в себе силы пройти дорожкой из желтого кирпича достойно. Надеюсь, им удастся сохранить внутреннего ребенка, как удалось его сохранить всем любителям напитка Jaguar. – Куда же вы уходите, ничего не понимаю? – любопытствует учительница. – Позвольте, мне казалось, мы выступаем в порядке полуживой очереди, – отвечаю ей без тени улыбки. – Ах, – говорит блондинка, – я подумала, прерывать ваше выступление кощунственно, а дети дорассказали бы о своих любимых поэтах в конце, право слово. – Лучезарно улыбаюсь, левый глаз начинает косить. Говорю с некоторой ленцой: душечка, кошке отольются мышкины слезы, однако никому не отольются горькие слезы матери Козетты Фантины, подростки такие уязвимые, пусть сначала выступают они, им и так предстоит писать сочинение о Преступлении и наказании всю свою жизнь.

– Ссучиться нам не к лицу, моя дорогая, – шептали пылко позади, когда я сел в первый ряд, шептали с каким-то умыслом, однако я его не разгадал. А затем, вспомнив о снегурочке, принялся нелепо пробираться к своей потеряшке. Граждане шипели, застигнутые врасплох, словно шинели чиновников из министерства просвещения. – А теперь Слава Селиванов, ученик девятого Гэ, чемпион по шахматам и в карманный бильярд расскажет о Елене Шварц, – оглашает блондиночка в тяжелых ботиночках. Место выступающего занимает ученик. – Свое сообщение я начну такими

словами. – Он прокашлялся, кажется, конфузится, кажется, мандражирует. Наконец, берет себя в руки. Степенно произносит: экзистенциальный ужас, знаете, когда кушаешь у метро шаурму, вот уже доедаешь, а потом, а потом наступает самый настоящий экзистенциальный ужас на последних крошках шаурмы!

Глядя на парнишку, я подумал, до чего этот вьюноша пластичен. Вылитый Вячеслав Полушин, однако Слава Селиванов, какова ирония. В копне рыжих волос запутались солнечные лучики. В то время, как остальные виды произошли от обезьян, рыжие произошли от кошек, Марк Твен, я с тобою согласен, со всеми на всякий случай согласен, время такое. В зале какая-то тетенька говорит иной тетеньке, имея в виду Славу Селиванова: посмотри, какой он спортивный. Та ей в ответ: он просто не доедает, куда смотрят родители. Первая тетка хороша, не нага, не одета, на ней что-то вроде рыболовной сети. На голове лиловый парик, она, вероятно, пенсионерка. Слава Селиванов, прежде чем заговорить о Шварц, прежде чем прочитать: мне нравятся стихи, что на трамвай похожи, звеня и дребезжа, они летят и все же, хоть косо, в стеклах их отражены дворы, дворцы и слабый свет луны. Демонстрирует нам чудеса своего тела.

– Господа, – мечтательно говорит он, расстегивая рубашечку песочной расцветки, бросая бордовый шарф на сцену. – Господа, – повторяет он, обнажившись по пояс. И к всеобщему недоумению достает из кармана своих вельветовых, бежевых брюк складной ножик Пантера. Такой ножичек в детстве был предметом гордости. Чтобы родители подарили такой ножичек, надо было закончить четверть без двоек.

Тем временем снегурочка разомлела донельзя. Прогнала всех, посапывает на трех креслах, она грандиозна, словно карусельный токарный станок. А Слава Селиванов творит форменный, какое бы слово подобрать, форменную конкисту. Завоевывает наше внимание, вредит своему растущему организму. Он оттянул кожу на животе, раз, ни крови, ни раны, кожа эластична, точно каучук. Звучат взволнованные вздохи, кто-то даже брякается в обморок, мы впечатлительны и добросердечны. Я неминуемо предположил, что Слава Селиванов страдал от несчастной любви, быть может, его бросила девчонка, он просто привлекал к себе внимание, он просто не прогуливал кружок селфхарма. Отчего-то я живо представил себе, как он будет дарить духи, которыми пахла та дева, будет дарить их каждой новой возлюбленной, однако новые возлюбленные не будут пахнуть, как та первая девчоночка. И в толпе прохожих тридцатилетний Слава Селиванов ощутит вдруг этот запах, заозирается в поисках любимой, а не будет никакой любимой, лишь золотые коронки цыганки. – Клава, – воскликнет он, – когда же ты умудрилась стать цыганкой? – Какой ты дурак, Слава, я всегда была Рузанной, – ответит она и гордо уйдет со своим табором в небо.

Да, в доме культуры имени Яблочкиной, простите за каламбур, яблочку негде упасть. Мне подумалось в тот момент. Ничего себе коленкор, ничего себе обстоятельства, обстановка не лишена некой скабрзности. А в голове смеркалось, шипенье мерещилось грядущих бенгальских огней. Славик принялся оттягивать кожу на шее, действительность превращалась в кино Джона Карпентера, мы превращались в какую-то пунктуацию и синтаксис, мы превращались в истинных мух. Мои сограждане и я были достойны превратиться хоть в белку, хоть в свисток, стоит заметить. Мои сограждане помнили чудное мгновенье, еще слоеное печенье, они способны были написать любое стихотворение. По всей видимости, пространные размышления о согражданах увлекли меня чрезвычайно. И текст этот стремительно превращается в нескончаемый поток разрозненных мыслей, прошу прощения.

– Миша, Миша, – вопит учительница, – сейчас же вернитесь на сцену, у нас Вячеслав Селиванов сошел с ума! – Токарев лихорадочно путается в собственных непостижимых ногах, снегурочка недовольно ворчит, пардон, рыгает. Литератор протискивается между кресел, объявляя название следующего произведения, что он прочтет: в пубертатном лесу тихо плачет альтушка! Девятиклассник Вячеслав безудержно рыдает, сторож и по совместительству Марсель, добродушный кокаинист, в прошлом гэбэшник, отобрал ножик, теперь подросток выглядит обычным

школьником со своими комплексами, понятными переживаниями, ничего таинственного, в общем-то. Он вновь стал робким и неорганизованным, как преступность в нашем городе. Про него теперь не скажешь: о, кто этот сибарит, устроитель обструкции, мальчишка, что любит гулять чащобами людской похоти. Сторож знает наверняка, трансгрессия не всегда значит депрессия. Он совершенно не прогуливал школьный курс теологии, а времена были советские, а сейчас чего. Его скуластое, монгольское лицо безмятежно. Селиванова он уводит за кулисы, заботливо протирая тому лицо вафельным, желтым полотенцем с цыплятами.

Как справедливо заметили,
Мое босоное детство
Окуклилось, сморщилось,
Оно косвенно и сослагательно,
Оно, если позволите,
Оспины на лице безудержного,
Безудержного present simple.
Если позволите, впрочем,
Кто же мне запретит,
Тем более, я сейчас вам читаю стихи,
Вот читаю стихи о временах,
Par excellence юности,
Когда мы были
Убежденными каратистами,
Интеллектуалами, беллетристами,
Частенько играли
В генетическую лотерею,
Бывало, выигрывали,
Но чаще проигрывали,
Вопиюще азартные мальчишки.
Несуразно мечтали стать
Теми-то, теми,
Безудержно сочиняли стихи
Своим декадентским подружкам,
И я сочинял, не сомневайтесь,
Миша Токарев тот еще сочинитель,
Охальник, эпикурец
В глазах смотрящего на.
Не вдаваясь в детали,
Я читал своей пышке:
Что в имени тебе моем,
Помимо нас,
Влюбленных и порочных,
Извилистых, что позвоночник,
Крикливых, что сестринский матрас,
Смешливых этой ночью.
Все же, довольно жеманничать,
Довольно исполненных грусти речей,
Одноклассница Носферату,
Влюбленная в Продиджи,
Не сможет вместить столько тоски,
От ее сердца до моего сердца

Сотня км,
 Она выросла в убежденную
 Дочку отчества,
 Я же отлынивал от старения,
 Дышал растворителем,
 Учил смертельный удар,
 Его наносишь обидчику,
 Спустя семьдесят лет
 Обидчик отходит
 В лоно авраамово.
 Стал фрезеровщиком,
 Трижды лежал в психушке,
 Дважды изобрел колесо,
 Единожды полюбил.
 Нонче раннее утро,
 Половина седьмого,
 Канун декабря,
 Самое время сказать:
 Да, вот это мы жили,
 Так жили,
 Взгляните на мои жилы,
 Они крепки, что гитарные струны,
 А мой тезаурус,
 Подобный встречается редко.
 В маршрутке два человека,
 Маршрутка исполнена благородства,
 Маршрутка есть рыба фонарщик,
 Что запуталась в складках ночи.
 Кружащийся снег, остановка,
 Собака с опалиной на боку,
 Самое время сказать: мерси боку,
 Вуле ву куше авек муа,
 Мадам Бовари се муа.
 Однако мы учили немецкий,
 Ауфидерзейн, мои дорогие.
 Кружащийся снег, мусоровоз,
 Хрущевки, в лесопосадке
 Одноклассницы декадентки,
 Едва ли телесные, бестелесные,
 Бледные, феноменальные,
 Иерихонят, заунывно поют
 О своем одиночестве.
 Они безукоризненно знают,
 Босоногое детство
 Окуклилось, сморщилось.

На словах окуклилось, сморщилось по залу прокатился вздох облегчения, это значило, что апофатический метод работал. Мои ноги нестерпимо чесались в коричневых шерстяных брюках, купленных на распродаже в мексиканском секонд хенде недалеко от завода. Отчего-то вспомнилось, частенько мне говорили, дескать, ты себя недооцениваешь, ты можешь хуже. Ты можешь

как Йозеф Бойс, что обмазался медом и обсыпался золотой пудрой, а потом объяснял неживому зайцу смысл своих картин на выставке в шестьдесят пятом году. Одна тетушка с внешностью зайца задала вопрос. И я совершенно не знал, чего ей ответить. Поднявшись из-за стола, принялся расхаживать по сцене, недовольно бурча, серые доски поскрипывали, за окном фиу-фиу, вьюга. Заложив руки за спину, изобразил птеродактиля. Подумалось ненароком, час разобраться в себе, пока еще тихо, собачья вахта, скоро рассвет, в детстве, в лесу рассвет пах земляникой, теперь пахнет водкой и разницы в принципе нет. Почесал через брючину голову, исполнив цирковой трюк. Стрижка горшок, меня подстригли прискорбно, как во второй день сотворения. Что это, появилось сомнение, сомнение в собственных словах, нехорошее какое сомнение. Кажется, мне удалось уличить себя в полной несостоятельности, сколь подозрительны мои слова. Словно женщина в парандже до крайности подозрительна, так и я, полагаю, подозрителен, зазывая новую фразу в химкинский лес, помянуть свою кошку.

– Простите, у меня создается впечатление, что вы трахаетесь, как в последний раз, то есть ваши тексты, они, в частности, текст *le manda*, он, мне кажется, такой нежный, вы остроумны, наверное, у вас было тяжелое детство? – поинтересовалась тетушка-зайчик с очаровательным лисьим воротником на сером платье. В переднем ряду сидел мужчик в джинсовом костюме с прической озеро в лесу. Его обглоданное полутьмой лицо, вислые щеки, приплюснутый нос. Он страстно зашептал своей спутнице: бахнуть чего-нибудь для настроения. – Добахался уже, корвалол, боярышник, валерьянка, чего ты бахнуть собрался! – весьма громко сказала укоризненно та. Казалось, присутствующие двигались по инерции, как бильярдные шарики. Тем не менее, мы были народом, победившим в войне. Поэтому заслуживали недюжинного уважения, нас нельзя было скакать с торрента, уж тем более, выиграть в лотерею. В наших глазах пепелище, в наших буйных головах сбор парижской богоматери. Нам страшненько, а страх, что замороженная камбала, пучеглазо пялится в каждое наше окно посреди ночи. А ты с криками просыпаешься, кричишь: мамочка, я не люблю рыбу, пожалуйста, уберу из нее косточки!

И мне пришлось ловко уйти от ответа. Кому нужно роптание, к чему вообще заниматься этими постыдными вещами, жаловаться на детство, выжили, и слава богу. Рассказать им, что ли, одну поучительную историю. – Мне не к чему вас обманывать, или, как говорят у нас, незачем брить дурака без мыла. Зрители попритихли, будто присутствовали на торжественной религиозной церемонии, аутодафе. Шумно проглотил ком слюны, не знаю, что же говорить дальше. Речь перестала быть веселой, перестала быть речью секретаря обкома, сделавшись каким-то предплечьем дяди Валентина. Опять в голову лезет ерунда. На предплечье Валентина кинжал, его обвивает змея, а на плече вытатуирован синенький эполет. Мне стало нестерпимо душно, причем здесь дядя Валентин. Я глядел в зрительный зал, шумно вдыхал носом, не менее шумно выдыхал хоботом, являясь мамонтенком Юка. Вдруг рассмеялся, рассмеялся гомерически, продолжал безмолвствовать. И все вспоминал, вспоминал. Валентин вошел в одну женщину дважды, чем несказанно смутил многих знакомых, привыкших терпеть и трудиться, привыкших считать цыплят по осени. Он был похож на Сэмюэля Беккета, столь же импозантен и решителен. Валя многопрофильный, как диван-кровать мужчина. На тыльной стороне Валиной ладони татуировка: СЭР. То был собиратель земель заколочкой крабом, крышевал все ларьки на улице Путьской.

Кажется, я неблагоприятно задремал, привиделся под самым потолком две бабки с крылышками. Как две мухи они кружили там, крепко вцепились в одну сумку на колесиках, жужжат. Послышался встревоженный женский голос: проверьте кто-нибудь, у него вообще пульс на месте? Я распахнул свои черные, как деревенские покосившиеся дома, глаза. Мучительно нежные чувства терзали мое сердечко. Мы не перестали быть атомами, способными любить. Надсадно произнес: я знавал разных людей, сначала они говорят, не сочти за вредителей, потом они говорят, разуваться не будем и топчут по новому ковру, топчут. Присутствующие стали перешептываться. Слышу такое: я начальнику и говорю, где моя ежегодная премия, вы нам всегда выдавали золотую буханку хлеба, почему она в этом году серебряная, а он сделал такой вид...

По моей щеке катится слеза. Что и говорить, мы заметили повышение цен в магазинах, не заметить попросту не могли, ведь исповедуем принцип любви к ближнему. Слышу другую реплику, тоже шепотом: интересно, вот мне тридцать два, не слишком ли я молода для поэта? Думаю, в самом деле, какие мне нравятся дамы. Когда-то нравились девчонки постарше, пенсионерки. Потом помладше, с их заморочками, эзотерикой, перекисью водорода. В настоящее время, пожалуй, любые, в общем-то, барышни, главное, чтобы с крепкой психикой. Ведь рожденное в девяносто шестом году поколение шизофреников, особенно водолеи, несносны в быту. Кто-то шепчет: бывает, что жизни боишься и умереть боишься, правда, правда бывает. Еще кто-то шепчет: надо в детстве ребенку Достоевского читать, чтобы не было потом депрессии, чтобы выработались антитела.

Я с достоинством произношу: тебе шесть, а все, что будет, приснилось. И продолжаю свое камлание, будто Александр Габешев, иного не остается. И продолжаю камлание на потеху ребятишкам, как я называл их ласково, мои сколопендры. Именно так, мои сколопендры, затаив дыхание, слушали. Читательница в черном платке с красными маками, читательница по имени Симона, вон она, в последнем ряду изрядно напилась крымского вина. Она знает, бесстыдство начинается со слов, а нагота с моих изрезанных предплечий.

И тело наверняка храм,
Семнадцатый век, соляной бунт,
Едва светает, рычит мой тулуп,
И тело наверняка храм,
Его разрушили большевики,
Потом отстроили большевики,
Теперь там бассейн.
Лилейные беседы
Призрачных птушниц,
Их губы испачканы хлоркой,
А щечки что помидорки,
Если надобно опошлить.
Минувший утренник,
И снег кружится,
И снег ложится,
И рады снегу зверь и птица,
Не спит рассада на окне,
Лиловый свет
Иных планет,
А снег скрипит,
И дворник спит,
И спит луна на небосводе,
Барак для жизни не пригоден,
Однако не расселяют.
Хрустит пакет,
В нем мандарины,
Грильяж, мишки на севере,
Трубочки со сгущенкой,
Тонкие, что косточки птиц,
Чупа-чупс, сникерс.
И ты идешь незабвенный
На самом излете

Холодного декабря,
Твоя Сибирь щедра
На таланты,
Тут не дети, атланты,
На их плечах
Невообразимые биссектрисы.
И ты идешь в полумраке
В костюме Дудаева,
Такой неудобный,
Строптивый,
Зато на утреннике
Весьма умилились,
Воспиталки болтали:
Надо же, такой маленький,
А уже свое мнение,
То есть иные костюмы,
Снегурочки, оленя,
Они весьма ничего,
Но твой костюм это что-то.
Ты идешь мимо цветмета
И все до безумия просто,
То есть кажется простым,
То есть не сложносоставным,
Как школа-интернат,
Или целлюлозный комбинат,
Сложнее вымолвить
Артикль the,
Чем понять вообще все
О крылатых качелях,
До чего дошел прогресс,
О прекрасном далеко.
И как-то волнительно,
Забудется простота,
Пожалуй, забудется простота,
И твоя дислексия
Помешает написать письмо,
Сильное, сильное,
Письмо деду морозу,
Невероятное письмецо,
Экстравагантное письмецо,
Письмецо, от него
Призраки птушниц
Будут в полном восторге,
Наконец-то решатся
Пригласить юношей
На восхитительный танец,
Тыры-пыры, любовь.
А с ножа капает кровь,
Гражданин у бассейна,
Рассеянный и маньяк,

Зябко поежился,
Когда снежинка
Угодила за воротник.

Залюбовавшись елочкой, это сторож по имени Марсель Дюшан сколотил из досок ту елочку, покрасил темно-зеленой краской, красная звезда на ней вызвала щемящее чувство в груди. Залюбовавшись лесным кадавром, я несмело заговорил с людьми в зале, мне было важно с ними говорить, да, я мог бы и закричать, ведь боюсь помереть в тишине, и даже циклодол не в силах помочь. Но ситуация не предполагала истерик, не хотелось никому портить праздничное настроение. Пахло духами Огни маяка, сухой древесиной, кедром, жасмином. Едва пахло нашатырным спиртом, будто его разлили совсем недавно, а он не успел выветриться.

– Скоро новый год, а мы, словно котят, тонем в нюансах, условностях, родные мои. – Мы подобны медвежонку, который говорит, i love you, он говорит это, когда на него надавишь, до чего мы на него похожи, поразительно. – Я вошел во вкус, болтаю, если не упоенно, то ничуть не хуже философа Георгия Петровича Щедровицкого. – Мышление случается столь же, понимаешь, редко, как танцы лошадей, – объявил я. И продолжил, не сбавляя ритм: танцуйте же, дорогие, а лучше не сдерживайтесь, расскажите о фигуре отца, ведь мы с вами сейчас ждем деда мороза, кто же такой дед мороз, если не отец! Забравшись с ногами на парту, сел по-турецки, прищурился. Я был из тех, для кого черная курица являлась не просто жратвой, но смыслом, каким-то вот смыслом, а кухарка ее под нож решила пустить, а я не давал, никогда не давал. И эта черная курица, да, вы знаете уже, не курица вовсе, но министр волшебного, подземного королевства. Туда-то она меня в благодарность и привела, тут я по сей день кукую, трикстер недоделанный.

– Мой отец был вынужден капать капли галоперидола на корочку черного хлеба, если он этого не делал, тогда вятка-автомат дома превращалась в фашиста, с которым он сошелся в ножевом бою в октябре сорок четвертого, – несмело, плаксиво произнес женский голос. Я принялся раскачиваться на этой дрянной парте. – А я как-то не мыла пол целый год, у меня, знаете ли, была депрессия, так вот, у нас грязь по дому стала хищной какой-то субстанцией, а мой отец меня отшлепал, сказал, что я неблагодарная и не ценю мать, полагаю, с тех пор у меня неприязнь к любым отцам, думаю, мое отношение распространяется и на дедов морозов, – сказали откуда-то слева. Некий мужчина поддержал тетушку с каплями галоперидола: мне кажется, бедняжка, чей отец был вынужден сражаться с фашистом в ножевом бою, успела заглянуть за свою жизнь не раз в глаза богини Дурги, супруги Шивы.

– Да, моя дорогая, – сказал я, затягиваясь своей электрической сигаретой, – мы все прогуливали универсумы, зато не прогуливали Освенцимы. – Помолчали. Помолчали, как лягушонок под тиною со scarлатиной, к которому прилетел врач грач, который его избавил от scarлатины, который его съел. Зря, наверное, заговорил на тему отцов, сейчас начнут высказываться, а потом печальные сны о чужих папах будут сниться. Мои сновидения все больше похожи на красные, советские ковры, узоры всякие, одно из другого вытекает, втекает и так по кругу.

– А меня папочка в детстве водил на охоту, мы зашли в березовую рощу, знаете, обычная такая березовая роща, только вот черный козел нам встретился, а у берез оказались человеческие глаза, очень страшно было, этот козел преследовал нас до самого дома и кричал непристойности, – сообщила Клавдия Викторовна. Ее муж, Ваню Диванов, и все мужчины его рода выращивали себе жен. Прелюбопытно, доложу я вам. То есть они находили девочек-подростков, оберегали, ухаживали, но ничего лишнего, не подумайте. Когда девкам исполнялось восемнадцать, женились на них.

Я прыгнул с парты, будто с тумбочки дежурный по роте. В помещении невообразимая духота, снимаю свитер, вешаю на спинку стула. В серой майке напоминаю одного сержанта из дисбата в Ямало-Ненецком, там тоже однажды случился поэтический вечер, я читал им бойкие рифмованные стихи, они радовались, литература способна существенно скрасить быт и бытие. Спросят у тебя, чего ты там на грешной земле делал. А ты не растеряешься, скажешь, а стихи слушал и сам почитывал. И сразу отношение к тебе другое будет. Стоит заметить, именно в том дисбате меня научили приводить вещи в исходное состояние, дрова в лес, дым в трубу, но с пельменями такое проделывать не научили, видно, прескверный ученик.

– А моя мать вырастила себе мужа на окне, то есть она вырастила лимон по имени Константин, он потом стал моим папой, к нам часто приходили ученые из НИИ генетики, много с ним болтали, записывали, – поделилась Лизавета Печенкина, владелица цветочной оранжереи. У ней на лице росли лепестки гортензий, а семена флоксов и календулы вылетали изо рта после нечаянных чихов. А семена подхватывал ветер. Я незаметно для всех грустнее, становлюсь грустненьким, будто ИТК в Мордовии. Зря, наверное, заговорил об отцах, об отцах говорить, как бы выразиться попонятней, есть такая пословица, случается, что и голодный обсирается. Полагаю, безотцовщин в зале ДК имени Яблочкиной хватало. Хватало для того, чтобы объединиться с Майклом Джексонем и отправиться в последний поход против взросления.

Мои сограждане прекрасно знали, пока умный раздевался, дурак уже переплыл реку. Они многое знали, однако тем вечером в ДК печальные, словно внешность певца Игги Попа рассказы не были применимы ни к дураку, ни к реке. Подобные рассказы похожи на укус песка, знаете, сегодня вас укусила злая собака, завтра укусит добрая, важно ведь равновесие. Так, подумалось мне, собаки, собаки, причем здесь они. Нить повествования ускользала от автора. Я сказал сосредоточенно: раньше парней из армии дожидались девчонки, теперь парни ждут девчонок из депрессии. Пребывающие в доме культуры молчали, диалектический метод мышления не позволял им быть глухими к чужим горестям. А еще не было нужды выяснять, у кого длинней писюн, мы были очень умными детьми все здесь. Впрочем, нас прочитать ничего не стоит, нас прочитать может любой воспитатель, как методичку Выготского. К слову сказать.

– Мне было пять, когда я проснулась посреди ночи, в кресле сидел отец, на коленях он держал ружье, гладил его, как будто, как будто женщину, луч уличного фонаря освещал его бледное лицо, запавшие глаза с черными кругами, он смотрел на меня, потом пришла мама, Витюша, что с тобой, спросила она, отец заплакал, сказал, что он застрелится, либо пойдет стрелять по прохожим, заплакал, он вернулся с войны. Говорившая прикрыла лицо пакетом со сладким подарком, голос у ней был чугунный, глухой. Искренность людей обескураживала. Впрочем, искренности порою ой как не хватает. Но мы делаем все возможное, чтобы получилось, как той песне. Вы помните, как в той песне? Там очень просто, в той песне. Важна лишь степень искренности, я говорю тебе мысленно прости, нам в этой близости не вырасти, не вырасти. Иван Ильчин метко заметил, о, как метко он заметил. Человеческое одиночество есть высокое и нелегкое искусство, а искренность его лучшее проявление. Я бродил по сцене, пританцовывая, я бродил по сцене, мой глоссарий не позволял биться в припадке любви. Впрочем, повеселить слушателей хотелось. Нет, никаких припадков, не сегодня, размышлял нервно я.

– А мой папенька был вроде казначея в ОБХСС, но как-то раз, вернувшись со службы, он истерично принялся рассказывать, мол, в отделе никто из сотрудников его не узнал, он подумал, какая-то шутка, куда уж там, а мать его тоже не видит, я говорю, мама, папа сейчас из душа придет, можно мы погуляем, а она, какой папа, твой папа давно с нами не живет, а он, представьте ходит перед нею, руками машет, ноль реакции, потом и я перестала его видеть, иногда вот вспоминаю, – поделилась яркая, будто костер на субботнике, Ида. Серотониновое голодание сделало ее неузнаваемой, некогда она была пышкой. Нравилась мужикам, нравилась, как игровые автоматы.

А смысл в таком похудении? Нынче граждане не задумываются над смыслами, нынче им удобнее делить мир на явь, правь и навь. Однажды, дорогой мой мальчик, ты обязательно задашь себе вопрос, как это я прожил жизнь, ни разу не попробовав квашеной крапивы. Какая опять крапива, Миша, остановись, мало тебе было собак, что ли. Дышать по-прежнему тяжело, промакиваю лицо белым платком с вышитой голубой розой.

– Я была несносным ребенком, уже с детства мне хотелось какого-то катарсиса, Миша, когда ты читаешь свою удивительную поэзию, особенно, если у тебя не случается припадков, я его чувствую, катарсис, а отец у меня был похож на тебя, а ты похож на маньяка, – рассуждала женщина в бирюзовом кимоно из второго ряда. Предположительно, ей хотелось диалога, диалекта, диафильмов. Однако диалог не случился. Ко мне обратилась корпулентная особа с признаками белой горячки, впрочем, я безбоянно утрирую для красного словца, простите мне эту блажь. – Прочитай, прочитай, ты жива еще моя старушка, – попросила госпожа, напоминающая пополневшую Эдит Пиаф. Тот же воробыный оскал, те же жесткие волосы торчат во все стороны. Я облизал сухие губы, сделал глоток воды из стеклянного графина на парте, цокнул языком. Слухи о моей кончине сильно преувеличены, моя старушка, пронеслось в голове. – Да, я люблю девчонок постарше, – сказал я отрешенно, улыбнувшись. И принялся устало читать устами вот этими вот малосодержательное, как мокрая газета, произведение.

А мифа хладным вечерком,
Застывшая в античной позе,
Испившая и баклосан и прозак,
Балуется малиновым чайком,
И моль под самым потолком
Кружится, как сумасшедший поезд.
Мерцают телевизор голубым,
В специальной криминальной передаче,
Опять ребенок у соседей плачет,
В специальной криминальной передаче,
Ты думала, а все совсем иначе,
В специальной криминальной передаче
Убийца с шахматной доскою
Поведает, конечно же, с тоскою,
О том поведает с тоскою,
Что руки помнят молоток,
Что жизнь прожить – не поле перейти,
И жертвы должны быть молоды,
Иначе выйдет без души,
Убийца не хотел бы без души.
Покойной, покойной ночи, малыши,
Степашка, Хрюша, медвежонок,
Оксана в платье бирюзовом
По телевизору, камере-обскура,
Все мифы есть литература,
Элегии, романы, палимпсест,
А важен ли, неважен ли контекст.
Бабахают, бабают салюты,
В подъезде стучит фрамуга,
И воет, воет, воет вьюга,
И наступает снова декаданс,

Который, мы заметим, ужас,
В том смысле ужас,
Что мальчишки
Болезненны, плаксивы,
Они чрезмерно увлечены
Стихами, разной чушью,
О, где те времена,
Когда мальчишки, чишки
Не столь тщедушны были
Вдали отечества,
В далеких джунглях,
Где разит напалмом,
А все напоминает сон
Не Веры Палны,
Но сон напоминает школяра,
Температурный сон
При тридцать восемь.
А за окном зима
И в кронах сосен
Запуталась цветная мишура,
За гаражами детвора
Стыдливо курит,
У остановки пьяные прохожие,
Ты все отложила на попозже.
И хочется и хочется тебе
Вести себя естественно, задорно,
Мурлычет электричка на коленях,
И это столь же иллюзорно,
Сколь зимняя Карелия
С шаманом, лагерями, НЛО,
Подбитыми системой ПВО.
И вечер томный,
Томнее не придумать,
И пахнет, запеченной курой,
И тесно жить в стране подлунной,
И одиночества погоны
Нас придавили, *ma cheri*.
Ты говори, не говори
О том, как мы могли,
Но почему-то не смогли,
Ты говори, не говори,
Я декадент, в моей любви,
В моей любви смертельной
Чернобыль, Хиросима,
Онегин, апельсины,
И рукавички на резинках,
И Кортасар, и Аргентина.
Моя любовь, что льдина
И мы плывем на льдине,
Как на бригантине,

А ночь идет большая,
Что же ты, глупышка, не спишь.

В перерыве ко мне несмело подошла читательница, изящно высморкалась, оттопырив мизинчик. Мы все высыпали в коридор, словно слезинки из глаз некой барышни, проживающей в психологической тюрьме. И мне бы желалось, чтобы в каждой психологической тюрьме наступил сегодня праздник, амнистия, Юрьев день. И некие барышни были освобождены, точно Ленинград. И были вольны, вольны делать, что им заблагорассудится, в рамках приличия, разумеется. На подоконниках стояли эмалированные желтые кастрюли с какао. На школьных партах бутерброды с маслом, открытые банки со шпротами, ломтики плавленого сыра, консервированные персики. Потекли рекой политкорректные беседы. – Едва не погиб сегодня геройски, заводил свои жигули, а жена позвонила, сказала, что пока я заводил жигули, у нее начались схватки, потом позвонил участковый, сказал, пока я заводил жигули, обворовали какую-то дачу, я так понял, события все связаны с этими злосчастными жигулями, – рассказывал мужчина с прической озеро в лесу. – А Сашка Кабриолет, которому настучали в новый год по голове у винно-водочного, вот он мне же-ниться предлагал, – хвасталась незнакомка. Люди восторженно тархатели.

Она подошла ко мне, протянула целлофановый пакет с красными мухоморами. Благодарю, поблагодарил я и принялся неспешно поедать красные сушеные шляпки мухоморов, напоминающие по вкусу картофельные чипсы. А она все рассказывала и рассказывала о своей ветеринарной службе, дважды оговорила, назвала ветеринаров ветеранами. Говорила, дескать, мне такой сюжет пригодится, не сюжет, голая Шахерзада. Кожа читательницы бледна, полагая, нежна, что птичье молоко, но только птичье молоко Белорусское, оно на мой взгляд, крайне воздушное. Дама рассказала о посвящении в ветеринары, рассказала о своих коллегах, забавные, в общем, коллеги. Была пьянка, ее накачали транквилизаторами, она отключилась, будто Саяно-Шушинская ГЭС при трагических обстоятельствах. Мухоморы закончились, стало клонить ко сну, я записывал показания своей читательницы красным карандашом с надписью Спасем вместе планету в серебристый, пушистый блокнотик, найденный при очень странных обстоятельствах. Очнулась, а коллеги ветеринары, жуткие люди, зашили девицу в пузо лошади. И она, представьте, голышом, в руке скальпель, простите за подробности, запах чудовищный. – Это ни в какие ворота не лезет, – с прискорбием сообщил я читательнице, – что же вы, прорезали себе путь? Под окнами затормозила машина, заиграла песенка Live is life. Слышны шутильные разговоры: мы теряем его, Люда, Машка, Оксана, ташьте дефибриллятор, еще один год заканчивается!

А я в очередной раз прошляпил снегурку. Снегурку, чей заразительный, словно стригущий лишай, смех был сейчас крайне необходим. Звенели бутылки, подростки курили на лестничной клетке. Они были, как последняя советская республика Куба, в меньшинстве. Поэзией сейчас интересовались немногие, быть может, все разом разлюбили гематоген. Иначе объяснить данное равнодушие я попросту не могу. Вот мы в свое время, бывало. *Я с умилением вспоминаю Сибирь. По уши в снегу, мы ни гу-гу на языке Веры Ивановны, училки по литературе. Однако ж мы в свои годы предпочитали разбю и разврату кипятик с пряниками да сказки Павла Бажова. Верочка собирала нас у себя дома, поила чаем, читала. Потом привезла лучшего детского психиатра Журавлеву вместе с волонтерами из Иркутска в наш Киренск. Мы давали джазу с Верой Ивановной. Как же это называлось, вроде бы литературной терапией. Точно, именно так и называлось. Шестилеток в бандитские группировки не принимали, к тому же мы были, как говорили знатоки, с отклонениями, впрочем, талантливыми рассказчиками. Учительница по литературе это разглядела. Где же она сейчас, любительница Black Sabbath и одаренных мальчишек.*

В фойе дома культуры имени Яблочкиной вошла собачка, вылитая Лесси, белая мордочка, белая грудь, шесть темно-персиковая. К ней бросилась бабулька, личико у бабульки, что печеное

яблочко, пуговики глаз. На ногах черные сапожки с войлочным верхом. Мутоновая светло-каштановая шубка. Шерстяное зеленое платье. Она запричитала, глядя собаку: ну и молчи, как жопа в гостях! Обернулась и пояснила: это же мой Геннадий, вот и дождалась его из лагеря, вот, какой красивый пришел. Наверное, бредила, а с другой стороны, может, не бредила.

– Оливье, селедка под шубой, крабовый, заливная рыба, утка в рукаве, ананасовый салат, салат гнездо глухаря, холодец, салат, который никто не ел, – разговаривала с розовым раскладным телефоном бурятка Адель, на ней черное платье с блестками. Адель в ДК у нас директор, она закричала на собаку и бабульку. Дескать, запрещено с животными. Однако граждане, предчувствуя грядущую несправедливость. Активно защищали животинку и бабуку. – Настоящая дружба, во имя настоящей дружбы дядя Федор стал вегетарианцем, вы понимаете это? – пристыдил Адель какой-то мужичок с бронзовым лицом, в кепке Гаврош. – Мой пятилетний сын вчера спросил, а что у кошечки внутри, можно я посмотрю, вы представляете, что творится, а вы собаку, собаку на мороз, – ругалась какая-то женщина. – Президент вновь удивил нас крепостью тела и духа, кончилась вдруг стабильность и началась движуха, значит, а вы и не против, – со значением сказанул старшеклассник в синем джемпере, с прической полубокс. Директор ДК, всплеснув руками, сдалась: ладно, граждане, пусть остаются, пусть!

– Поцелуй навывлет, начали сразу же, тут же с развода, планируя закончить свадьбой! – гаркнули мне прямо в ухо. Это закричал неподобающим образом Игорь, он бредил сегодня, а завтра его бред станет наукой, наукой обводить вокруг пальца сущностей потустороннего мира. На нем тельняшка с нежными голубыми полосками, порой его переполняла такая нежность, что он невзначай мочил собственные подштанники. Я обнял его по-отечески. Да, Игорь зимою шишил, кто ж его притащил на поэтический вечер, ума не приложу. Мы идем в обнимку по коридору, рубиновый линолеум, декоративная пальма, синяя мозаика на стене. У Игорька тонкие, блеклые губы, голос у него юношеский, человеку за сорок, а психологически он все тот же подросток. Своими маслянистыми глазками-черносливами хлопает, улыбается беззаботно. Веду в туалет дружочка своего, дружок употребляет интересные слова, молодежные слова. Говорит что-то про отпадный вайб, обзывает меня скуфом, кринжует и все такое прочее. Невольно смеюсь. *Мне пишут разные девочки, молоденькие совсем пишут, читательницы типа. Однажды такая настрочила, мама дорогая. Из всей этой пылкой бугульмы было понятно лишь слово бумер. Это такая машина была у моего дяди до того, как он начал носить платья. У двери с желтой табличкой с буквой М отпустил Игоря с миром, пусть посикает. Я, кажется, уже рассказывал, он страдал от приливов нежности. Поэтому мне пришлось проявить сознательность, как бы он потом пошел по морозу в мокром исподнем.*

И тут подозрительная тетенька лет сорока, с косичками, в коричневом платье, белом фартуке и красном галстуке сказала мне: твоя поэзия лечит, как боржом. Апофеозом ее слов стали совершенно неуместные поцелуйчики. Сиреневые губы ощупывали мой колючий подбородок. Наши глаза встретились, ее карие глаза, словно налет на кружках, безумны. – А вас уже просеяла жизнь через сито? – шепчет, дает волю своему шершавому, кошачьему языку. Влезаю на подоконник, принимаю правила игры. Мы с нею обжимаемся в коридоре, тут как будто снимали кинофильм Асса. – Меня Асса зовут, – представляется подозрительная тетенька лет сорока. – Вы какой-то воинственный, по маме Ярыгин, по папе Токарев, а ваш новый сборник, говорится в аннотации, содержит ненормативную лексику, эти вещи одного порядка? – спрашивает, мы лобзаемся, будь здоров. Наши ржи выражают крайнюю степень довольства, мы похрюкиваем, это весьма мило. Мы ускользаем из мира вещей, мы тени на стене пещеры. Тем не менее, раствориться по образу и подобию хлорки в бассейне. Раствориться друг в друге мы не успели. Нам помешала училка. Послышались ее возмущенные вздохи.

Раскрасневшаяся учительница спросила, подойдя излишне близко: Миша, а правда ли, что последний русский писатель Саша Соколов прибыл в Химки и встретился с тобой инкогнито, дабы выразить свое почтение? Я затаился электрической сигаретой, раздумывая, с какой целью она интересуется. Однажды ко мне точно так же подошла многодетная мать в очереди за хлебом. Сказала, что вся намокла, на улице минус тридцать, а она намокла, тоже спросила чего-то из ряда фантастики. Гляжу в глаза блондинки учительницы, они у нее рассвет, пароходная сирена, дождь, разлука, серый след за винтом бегущей пены. Отвечаю с присущей мне робостью: понимаете, первый арктический ледокол в мире Ермак, построенный по проекту Степана Макарова, тоже когда-то был маленьким, я имею в виду, вовсе не следует противиться собственному сердцу, хочется плакать, плачьте, а подробности оставьте для комиссии по делам несовершеннолетних, как и Сашу Соколова. Чувствую парфюм учительницы, чувствую какое-то взаимопонимание между нами, между нами не было никакого капиталистического насилия, между двумя нашими душами установилась особая связь, полагаю я. Подозрительная тенька лет сорока куда-то подевалась. – Ступайте в зал, антракт почти закончился, – говорит учительница, похлопывая меня по руке.

Иду. В двух шагах, у фикуса, пальмы и кактусов. Там еще фотообои с березовой рощей. Некая особа настырно предлагала поиграть в карты таро на раздевание, это предлагала Людмила, знатная развратница, она знала с определенностью, многих мужчин сгубило желание иметь жену и детей и содержать их в комфорте, меньшее количество мужчин сгубило пьянство и проститутки. К ней подкатывал разбитной Сережка участковый. Представьте себе, его очи Сириус, Альтаир, лицо будто выкованное из железа, усики, не усики, но пунктир, которым подчеркиваются дополнения. На нем кожаная зеленая курточка, бледно-голубые джинсы, белый свитер. – Самогон будешь? – спрашивает он у Людки, подмигивая. – Я же девочка, с соком буду, – отвечает Людмила. – Сока нет, есть хлеб, – показывает Сергей белый батон. – С хлебом буду, – лукаво лыбится, с хлебом, говорит, согласна. Она нежна, что нервная система с похмелья. Чем окончится этот служебный роман, знает каждый ребенок, окончится роман браком, браком он окончится. Во всяком случае, мне хочется верить в хороший исход евреев из Египта, черных носорогов из Африки, птиц Додо с острова Маврикий.

Я пробирался к залу, предельно откровенный, уязвимый. Плечом толкнул гражданин в жутко старомодном кремовом плаще, широком алом свитере с надписью boys. Его лоб, вымазанный зеленой. Он мазал свой лоб зеленой, боясь заразиться какой-нибудь пакостью. Он был из тех, еще сумевших избежать смертной казни, все ждал этого расстрела, ждал, дважды его выводили, мазали лоб зеленой от инфекций. Однако выстрела не происходило, потом случилась амнистия. – А, это ты, козлик, – жалостливо произнес мужчина с амнистией. Его щучье, бледно-желтое лицо было скорбно. – А я тут вспомнил, как отплясывал на рейвах с путанами, подумал, может, в ДК сегодня рейв, а тут нету его, – рассуждал он. Голос его бархатный, речь заторможена. Хлопаю его по плечу, затем вхожу в зал, затем поднимаюсь на сцену. Мои любимые сколопендры, мои дикорастущие растения и бабочки в лесном пейзаже. Мне машет рукой припозднившийся Игорь с завода, на нем камуфляж, я люблю Игоря, он вылитый отец, которого никогда не было рядом. А все-таки, помыслилось мне, прав Лосев, ох, прав. Воспитанные на абстрактной метафизике и формальной логике, мы искалечили свое непосредственное жизненное восприятие. В смятенных чувствах принялся читать.

И музыка небесных сфер
Еще звучит в бухгалтерском отчете,
Давай без этих полумер,
Всем, состоящим
На диспансерном учете,
Горит космический торшер,

Горят больничные матрасы,
Тут будет слово насовсем,
Тут будет слово не напрасно.
И все мы обречены
Вернуться в город
Знакомый до слезинок,
И все мы обречены
Явиться пьяным в первый класс,
Забыть мешок, мешок для сменки,
И с удивлением заметить,
Гегемония стала Германией,
Гармония стала бегонией,
Стронций, радий, полоний
Добывается из сердец,
Сердец учеников,
Учеников кататоников.
И ты выходишь из сумрака,
Полагая, ничего не закончится,
Не закончится на этом отточии,
У предложения середина,
Не прощаются на середине,
И ты выходишь из сумрака
В городе очень знакомом
До прожилок, до припухлых,
Припухлых желез,
Кроличья шапка на голове,
Щеки горят,
Что Вифлеемские звезды,
Времени поздно,
Но не позже пяти,
Все-таки вы учились
В третью смену.
Электрички стали синичками,
Электричество в проводах
Делает: уууууу.
У самого моста,
Напоминающего спину,
Спину испуганной кошки,
Танцуют, просто танцуют,
Ты бы с легкостью вспомнил
Название этого танца,
Пляска святого Витта,
Но память штука капризная.
У моста танцуют
Пятисотлетние граждане,
Впрочем, возраст неясен,
Однако ты знаешь,
Они замедлили время,
Уподобились крокодилам,
Ночь остра, как тысяча солнышек,

Воздух морозен,
 Ты пытаешься вспомнить,
 Почему крокодилы,
 Урок биологии, шестой класс,
 Но память странная штука.
 Я, пожалуй, вмешаюсь,
 Вы, ученик, фантазируете,
 Под мостом, действительно, люди,
 Но время они не замедлили,
 Скорее, замедлили биоритмы
 Употреблением опиатов,
 А как вы знаете, крокодилы...
 Довольно, кричишь ты,
 Кыштымский карлик улыбнется
 И сердце девичье зажжется,
 Думаешь ты,
 Примеряешь слово любовь,
 Как прошлогоднюю обувь,
 Щупаешь языком
 Буковки в этом слове,
 Глядя на пятисотлетнюю деву,
 У нее не глаза, но прорубь,
 Ты задыхаешься от любви,
 Тебе страшно заговорить,
 Но все-таки ты говоришь:
 Пойдем домой, дорогая.

Училка отвлеклась на звонок, она морщила лоб, выслушивая собеседника. – Нам передают печальные известия из Омска, кинорежиссер Дэвид Линч окончился, – сообщила она растерянно. Света Иночкина с видом знатока заметила: а ведь у него была маленькая щитовидка. Мне спешно передали записку из зала. Детская записка, детский, кривенький почерк, черный фломастер: сегодня я узнал чучуть, что я живу невечно, а это значит, что я узнал плохие вести, плохие вести. Запутавшись в целлофане воспоминаний, принялся массировать виски. В зале кто-то зарыдал, к этому рыданию присоединились иные рыдания, что за люди, дай только повод. Я совершенно точно понял, ясность ума влечет за собою чистоту страсти, поэтому с нейролептиков пора бы соскочить. И продолжил свои безобидные размышления, покуривая электрическую сигарету. В нас, как будто в дачном подвале хранятся компоты, варенья, соленья. Каждый из нас однажды побывал или побывает в черном вигваме. Ничто не ново под луной. Все мы побываем в черном вигваме.

В зале обстоятельно сквернословил ребенок, вероятно, мальчуган был раздосадован, еще бы, мы позабыли традиции, мы не передаем огонь, но поклоняемся пеплу. – Ах ты маленький вундушкинд! – воскликнула тетка, послышались пощечины. Ох, нельзя ругаться на детей, например, на Соломоновых островах, когда тамошние жители желают очистить участок леса под свои поля. Они не просто вырубают деревья, но, собравшись всем племенем, ругаются на эти самые деревья. А через некоторое время деревья начинают увядать медленно, но верно. Представьте, что же происходит с вашим дубинушкой, как вы его называете. Из года в год, ты такой, ты сякой. А потом такая грусть начинает одолевать, хоть стой, хоть падай. Такая грусть, как на картине Сергея Грибкова «У дверей приюта». Вот, что я думаю, пришло время любить не потому, что нуждаешься в ком-то, но нуждаться в ком-то, потому что любишь, дорогие мои невротики, пограничники, психотики.

Совершенно расхотелось читать свою дурацкую лит-ру. После того, как социальный оптимизм стал важнее личного пессимизма, заниматься лит-рой варварство.

– Вы прекрасно знаете сами, ни одно дерево не сможет дорасти до рая, если его корни не достигнут, сами знаете чего, двузначность движения маятника, так сказал Карл, но ничего не украл у Клары, однажды вы столкнетесь с вечной мглой, настоятельно рекомендую подготовиться, – произнес я. Однако никто не слушал. Нас всецело захватило гнетущее чувство ностальгии по тому, чего мы никогда не видели в этой огромной России. Мы были тихи, будто украинская ночь. Ошеломлены, будто мальчишка Дэвид Хан, собравший в своем гараже атомный реактор. Какой-то сознательный гражданин включил на телефоне композицию Angelo Badalamenti Dance Of The Dream Man. А я некстати развеселился, припомнив red flag в отношениях, припомнив кумачовый советский флаг, которым некогда меня душила Виолетта, слетевшая с катушек. Ей нравилась асфиксия, ее морщинки я находил прелестными. Однако тогда чрезвычайно оскорбился, знаете ли, стало досадно за такой родной флаг.

Вдруг откуда-то с потолка стали падать опилки. Они кружились, кружились, кружились. Бурятка Адель нетерпеливо закричала: Клавдия Васильевна, отставить снег, у нас творческий вечер, кажется, окончен! Мне подумалось, знаете ли, с некоторой обреченностью, зачем ты умножаешь скорбь, зачем ты умножаешь познания, Миша. Вчера ты интересовался творчеством Бергмана, сегодня пьешь боярышник, а завтра будешь хамить матери, связь простая, как три копейки.

Кто-то кому-то шептал в первом ряду: эти колодцы у тебя на руках явно от нервов, тебе надо бадягой помазать и все пройдет. Времени было поздно, но лучше поздно, чем никогда. Я дымил электрической сигаретой. Плотная холщовая тряпка, висевшая на окне, упала. *Гляжу в окно. На улице выюжит. По крепкому, точно печень слесаря с завода Дениса. По крепкому льду валяжно едет оранжевая снегоуборочная машинка. Захотелось крепкого чая с индийским слоном, захотелось послушать песенку Старухи мха. И тут ползет вот эта строка, за нею ползет по карнизу соседнего трехэтажного желтого дома полуголый мужчина. В окно высунулся иной мужик и принялся лупить того первого мужика кочергой по спине. Домишко был через дорогу от дома культуры, меня подвело зрение под монастырь, подробности лиц ускользали.*

На сцену вышел малец в маске зайчика, в серых шортиках с ляпочками, в бежевой водолазке, подошел ко мне вплотную, положил руку на мое плечо. И принялся читать с выражением: *стихотворение называется будильник. Когда я засыпаю, ты приходишь во сне, в халате белом или мусорской форме с браслетами, или по-домашнему в моих шортах одетая, иногда приходишь в купальнике, что помню с лета, иногда школьная форма на тебе надета, бываешь студенткой на зачете, а я преподаю, бываешь в черной форме пристава, составляешь акт ареста, бываешь, провожающей у пристани в слезах, иногда ты приходишь в белом платье невесты, иногда почтальоном, а я получаю за бабушку пенсию, бываешь официанткой, льешь мне шампунь игристый, бывало и таксистом, договорились до дома за триста, а ты денег с меня не взяла и поцеловала, а я сплю себе, в слюнях подушка и одеяло, бывало, ничего не надевала, приходила нагая, дорогая, ты снилась мне пилотом airbusa, снилась педовкой на аирмаксах, продавицей в магазине, алкоголь мне продавшая, переживаешь и во сне даже, а я сплю себе, пока не разбудит будильник.*

Пацан величаво поклонился, покинул сцену, никто ему не аплодировал. Я вспомнил, что у меня был с собою пакет с вещами, меня ведь отпустили с вещами, там зубная щетка, смена носков, трусов, спортивный костюм. – Ребята, никто не видел мой пакет с антилопами? – засуетился, стал вглядываться в зал. А потом вспомнил и про снегурку. – А снегурку видели, хорошая такая, тут где-то? Стремглав покинул сцену, пробирался куда-то на пятый ряд. Изъявлял письменно, устно желание повстречаться со снегурочкой. И ощущал себя каторжанином, сорвавшимся в побег, выпрыгнул такой из поезда в заснеженных степях комы, перегрыз наручники, обдурил конвоиров.

– Мужчина, мужчина, вы же состоите из мужа и чина, вон она растеклась по креслу, растаяла она, – подсказала незнакомая старушка, поразительная и подозрительная, ведь обладала чертами Олдрича Эймса. И вправду, досужая дочь бездетных Ивана и Марьи превратилась в лужу. Меня разобрал смех. Кто-то вновь врубил на телефоне композицию Angelo Badalamenti Dance Of The Dream Man. И не было ничего бесконечней молчания, сумрака и любви, а еще, конечно же, дневника с плохими оценками, спрятанного на антресолях. Мы незаметно для вас уснули, а когда проснулись, проснулись от того, что начали падать ступени ракет. Когда проснулись, уже наступил новый год.

Глава 3

Немки не всегда склонны к разврату

Общечеловеческое варенье было сливовым, но кто-то съел все сливы, и оно получилось постным, это Ваня съел все сливы, подонок. Бабье тепло постели не желало отпускать. За окном послышался юный смех, степные колокольчики. У вокзала Зоологический сад шумела, шипела, шушукалась жизнь. Марта села на кровати, она была не настроена ни с кем шушукаться, еще чего. Ортопедический матрас йог-2000, кремовые жалюзи, весенний сквозняк, а трудные подростки сбивают дозряк безграничной любви, сбегая из дома. ГДР не пасмурный Берлин, тут нет блеска Афин, нет славы царственного Рима. Тетенька спала голенькой, бюстгальтер, трусики, пижама душили ее похлеще майского цветения, что душит аллергика. Бирюзовый климатический комплекс плевался тонкими струйками пара, увлажнял себе воздух, увлажнял. На красной кирпичной стене в рамках, под стеклом висели грамоты. Кинофестиваль Sundance, лучший международный документальный фильм. Канадский фестиваль Горячие документы. Солнечная сторона Дока, Ла-Рошель.

Фрау нежно провела рукою по внутренней стороне своего бедра. В горле першило, ощущение, что проглотила неведомую зверушку, когтистую зверушку. А в голове излишне дотошная бабушка выбивала ковер, поэтому все вокруг пульсировало. И все вокруг напоминало пульсирующий нарыв. Глюк была в некотором роде программистом, ее дважды кодировали, к вечеру она уже шла раскодированная. Впрочем, алкоголизм фрейлины именовался преклиническим, или же приключенческим. Работая над очередным проектом, дамочка не брала в рот ничего подозрительного, только сельдерей, брокколи. Фигушки я так фривольно скажу, не скажу, не просите. Речь попросту идет о режиссуре, а также о мнимом алкоголизме Марточки, который и не алкоголизм вовсе, когда дело касается производства очередной кинокартины. К несчастью, молодые немцы ничтошеньки не умели, поэтому поголовно лезли в режиссуру. Повсюду теперь коммерческие поделки сопляков, как под копирку. Авторские, документальные ленты не возбуждают современного зрителя, говоря молодежным языком. Глюк перестала играть в азартные игры, перестала доверять людям. Продюсеры куда-то запропастились, словно дети Бомонт. И она приуныла.

Кожа, в которой проживала немка истосковалась по его пальчикам. Малышка ощущала себя синей куриной тушкой на прилавке в супермаркете у дома. После исчезновения мужа Клауса Марта так и не нашла в себе силы завести новые отношения. Его поцелуи до сих пор звенели у ней на щеках. Размеренная жизнь со своим служащим тайной полиции напоминала клубничный кисель, эклеры, медовик. Клаус был настоящий идадьго, интеллектуал. Мужчина в теле двенадцатилетнего школотрона. Прекрасный любовник, роковой, как пистолет Вальтер. Его пистолет Вальтер в наплечной кобуре вызывал трепет. Моя королева, государство в опасности, говорил этот плейбой. И уезжал с утра пораньше на школьном автобусе. Клауса внедряли в разные учебные заведения. Он был тройным, как одеколон, агентом. Вынюхивал, входил в доверие крупных, детских авторитетов. Был особенно прозорлив для своего возраста, однако излишним ботаником старался не казаться. На родной германской стороне процветала невиданная доселе детская преступность. Банды малолетних отморозков держали в страхе законопослушных бюргеров. Ополо-

умевшие щенки пролезли во все сферы. Целые районы с администрациями, магазинами захватили ничем не примечательные Фридрихи со второй пары, Гансы с камчатки. Никакой уголовной ответственности, мерзавцы были защищены со всех сторон.

История пропажи милого Клауса полна печали. История та печальна, как эмиграция, ведь эмиграция капля крови нации, взятая на анализ, а кто из нас любит сдавать кровь натошак? Всемирная организация Домовенок похищала маленьких преступников, а затем отправляла их в специальные центры перевоспитания в Индию. Супругу Марты не посчастливилось, его вместе с бандой повязали на очередном ограблении банка. Ребятишки в той банде сплошь подпоясанные ломами. Они носили полосатые клифты, у каждого стилет. Неточные сведения, слухи, все, что имела Марточка. То ли предательство со стороны безымянного мальчика, то ли глупое стечение обстоятельств. Коллеги Клауса из тайной полиции, Ральф, Хрюша, Джек и Саймон всячески поддерживали безутешную женщину. Правда, они так и не смогли отыскать мужа. А ведь коллеги были настоящими, как это, гранитными памятниками, то есть непоколебимыми, принципиальными, в какой-то степени неодушевленными.

Фрау порою вредна, порою полезна, точно конопля. Сутяжлива, это такое прилагательное. Она не привыкла, как схимонах, сидеть в четырех стенах. Она прошла босыми ногами по махровому зеленому ковру, прошла по темному, разошедшемуся паркету, прошла по холодному полу в ванной, кафельный пол, белые, красные квадратики. Латунный кран, холодная вода, мурашки. Кинематографистка чистит свои зубки электрической щеткой. Крепкие, хорошие зубки, зубная фея, прочь, убери свой молоток. Многие уважали Марту за характер, но не желали уважать за мораль. Когда единственную подругу Катарину Шрадар обвинили в колдовстве и сожгли. Глюк отправилась в Салем и сняла о ней кино. Немка умывает лицо скрабом с облепихой. Барышня всегда так делала, камера, мотор, ее мотор бился учащенней, стоило лишь услышать крик оператора Альберта: двойная экспозиция, двойная экспозиция! Глюк держится двумя руками за голубую раковину. Фрау мутило, сама себе она напоминала дантовскую ладью, ту ладью на картине Делакруа. Сезонный авитаминоз подкосил бедняжку, витамины она давно не принимала, кетамин принимала еще в колледже, а морщин, кажется, прибавилось с тех пор. Глюк бросилась к унитазу, чудом не расплескав по пути свой творческий потенциал. Стоя на четвереньках, словно паршивый агностик, немецкая дева тяжело дышала.

В дверь апартаментов глухо постучали. Что это за кролики в удавах, подумала сварливо Марта. Она без особенного энтузиазма вышла в коридор. Накинула халатик на босое тело. Щелкнул замок. На пороге стоял комендант Бердман, он любил приходить из подъездов с любовью. Эротоман, клептоман, гарант безопасности дома. – Обстоятельства ужасны, точно алкогольный делирий, фрау Глюк, – сказал с некоторым прискорбием гражданин. Домовой, как его называли жильцы. Кричали ему вслеп: эй, домовой, расскажи о военных преступлениях, расскажи, как вы завербовали Джона Уолкера, об уловке двадцать два расскажи. Некие граждане, не будем показывать пальцем, прошли земную жизнь наполовину, некие граждане прошли программу двенадцати шагов. В прошлом Бердман шпион. Он и сам не помнил, на кого работал и что ему довелось пройти. Однажды комендант поломался и принялся доносить всем на всех, Советам, Германии, Лондону. Попыхивая сигаретой Lucky Strike, этот корпулентный человек с внешностью Освальда, человека-пингвина из киноленты Тима Бёртона. В каштановой кожаной куртке, темно-синих джинсах, с печальным, как полугодовая ночь, вышки с автоматчиками, злые овчарки, с таким вот взглядом. Топтался в коридоре галантный, способный заменить целую дивизию любовников.

– Ублюдки Каркозы празднуют пятинадцатилетие своего босса на нашей улице, госпожа Глюк, сегодня лучше не выходить из дома, – попросил визитер, – я вот хожу, оповещаю. – Ваше оповещение принято, – апатично сказала дамочка. Она устала вдыхать незнакомых людей, а выдыхать безликие облачка пара, не знаю, понятна ли эта метафора, кажется, она вполне ничего. Тем временем апрель, прильнувший к маю, наполнен был ожиданиями безвременной кончины. Марта подобна беляшу, внутри котенок. Они многозначительно молчат с комендантом. Тетенька не отличалась косноязычием, в этом смысле Моисей не близок немке. Наконец, Глюк произнесла:

все мы пребываем в смятении, нам сказали, будьте как дети, но забыли поведать нам об уголовной ответственности. Бердман докурил, затушив окурочок о горшок с кактусом, печально поглядел. Прихрамывая на левую ногу, направился к соседней двери. Женщина вернула в свою пресс-хату, а в том, что апартаменты являлись пресс-хатой, не было сомнений. Откровенно говоря, Глюк планировала сегодня написать возвышенную поэму меланхолии, как выразился некогда Бальзак. Она вернулась, так порой возвращаются животные Теннесси Уильямса в стеклянный зверинец. Журналистка возвратилась в апартаменты.

Кофейная машина, напоминающая ярко-оранжевый бортовой самописец. Машина неистово трясется, перемалывает зернышки. Тетушка врубила компьютер, как говорят люди постарше, компухатер. В чат кинематографистов прилетела ссылка на фильм, это прислала Лидия, она наконец-то смонтировала свой боевик. Посвященный выдающемуся поизе музыканту Эдуарду Срапионову. Он развоплотился двадцать третьего февраля двадцать второго. С кухоньки послышался безудержный рев механического чудища. И вот Марта попивает крепкий кофе, чтобы быть на фоксе. А время мелькает незаметно, думается Глюк. По всей видимости, уже приходил белый конь, рыжий конь тоже приходил, ждем, стало быть, вороного коня, продолжает размышлять она. Садится в польское алое кресло Stefan перед компьютером. Переходит по ссылке. Лидке пришлось повторно заложить свой дом, продать машину, потратить уйму сантимов на проживание в стране вечной беременности, в стране, где многое происходит, но почти ничего не случается. Авторская киношка страшная вещь. Предыдущая картина Лидии под названием: мастурбировать и кончать при минусовом либидо, вот что я называю волей к победе. Та картина о сексуальной неудовлетворенности пациентов с биполярным расстройством изрядно подпортила психическое состояние Лиды, казалось, она не в состоянии вернуться в игру. Однако ж.

Лидусе предоставили слово, дескать, расскажи о своем произведении. Она не растерялась, включила видеосвязь. Губы у ней что плоть арбуза, лицо что плоть киви, глаза смородины, Лида фруктовый салат. Коллега Марты гордо восседала в окружении путан. Стоит отметить, грудная клетка Лидочки будто коммунальная квартира, этим пользуются разные проходимцы. Не впускай, не впускай этих питекантропов, они тебе всю лестничную клетку заплуют, а проводку вырежут, а потом надругаются над твоей добротой. По всей видимости, она сидела в КПЗ. Паскудный, желтый, будто лица парнишек в отделении токсикологии Джанелидзе, свет. Кирпичная стена, выкрашенная блевотно-молочной краской. Рядышком с Лидкой долговязая барышня с длинным носом, похожая на рыбку морской дракон, волосы бежево-розовые, на щеках мелкий, жемчужный крап, темно-синие губы. В кадре появляется иная путана, вылитая рыбка мандаринка. Рыжий ежик волос, зеленые веснушки, фиолетовый чокер на шее, ярко-красные пухлые губы. Она улыбается, премило сколотый резец кажется забавной деталью портрета. Камера на мгновение переключается с фронтальной на тыловую. Видна решетка, за решеткою длинный коридор, в конце коридора сидит и дремлет за столом жандарм в синем кителе.

– Эдик Срапионов, о, Эдуард, понимаете, он умел зачаровать, он был настоящим шаманом, которому другой шаман из Воркуты передал дар, – вдохновенно трепалась Лида. Путаны изображали заинтересованность, гримасничали. Рыжая надувала щеки. Долговязая показывала зеленоватый язык. Коллега продолжила рассказывать, не обращая внимание на этих дурах. – Эдуард начинал как андеграундный фотограф, а потом стал собирать удивительные синтезаторы из китайских игрушек, лампочек, мусора, конденсаторов, найденных на барахолках, чудненькие звуки, помните, милый мальчик, ты так весел и светла твоя улыбка, ты не знаешь, что такое эта скрипка, что такое темный ужас начинателя игры. Лидию перебил Фридрих, оператор из чата: детка, поменьше пафоса, о чем твое кино? Глюк сделала глоточек мерзопакостного кофе, неприветливо глядя на Фридриха. Тот не сидел с путанами в КПЗ, тот и понятия не имел о том, каково это, когда ты взрослый в теле ребенка, а потом ребенок в теле взрослого, а потом и вспомнить не можешь поутру, просыпаясь, имя свое не можешь вспомнить. Фридрих, что ты там понимаешь. Ты хотя бы понимаешь, например, что дети, переносившие улиток с тротуара на газон, выросли неплохими людьми?

Рыжая проститутка не на шутку взбунтовалась, вероятно, давно не получала по жопе. Она обратилась к Фреду: послушайте, однажды вы вступите в интимную связь с восемнадцатилетней альтушкой, а потом окажется, что это ваша бабушка, поверьте мне, за свою дерзость вы ответите. Лидия поморщилась: не надо, Рузанна, пророчеств. Марта заинтересованно взглянула на так называемую Рузанну, действительно, у той были цыганские глазки, порочные, порочные, как арабская ночь. Лидка затараторила: и вот, восьмидесятые, Эдуард проходит службу за полярным кругом в особой части, там изучают влияние звуков разной частотности на биологические организмы, а он просто сумасшедший выдумщик, организовал музыкальный кружок, нарезал пленку с речами Леонида Брежнева, играл на басу, все это записывал на пленку, да не все так просто, вот я сказала, влияние на биологические организмы, один замполит чрезвычайно возбудился, мол, Эдик, лишь бы не вышло чего, давай мне свою кассету, я поеду в Москву, покажу, одобрят, будешь заниматься дальше, уехал, а через два дня помер Брежнев, а доподлинно известно, что кассету ему давали послушать.

Глюк притомилась. Немка была из тех, кого приучили не радоваться чужим успехам, но радоваться чужим неудачам ей не позволяла совесть. Она свернула групповой чат, стала листать новости в браузере. Лидия продолжала разглагольствовать. Вдруг послышался мужской недовольный голос: кто у проститутки не забрал телефон, ну-ка, отдайте сейчас же! Лидины соседки завозмущались, дескать, не имеете права, она вообще журналистка, начальник, ты совершаешь грандиозную ошибку, бла-бла-бла. Кто-то там ойкнул, посыпались глухие удары. Связь с коллегой прервалась. Марте захотелось плакать и смеяться, бывало, на нее накатывало страшное отчаяние, представьте, возникала даже мысль вступить в лигу молодых христианок. Впрочем, кто поймет этих женщин. Сначала они говорят, что не обиделись, а потом уходят на ночь глядя подышать воздухом в другой областной центр. Немка читала новости. На ее рабочем столе бордельеро. Взгляд зацепился за оранжевый абонемент в бассейн. Мелькнула зазорная мысль, отправиться купаться в своих бетонных босноножках. Однако абонемент был недействителен уже год, год назад пропал муж. Тут же лежат накладные, пшеничные усы Клауса, супруг любил казаться старше в постели, очаровательные комплексы.

Новостной кисель попал не в то горло, пошел носом. Марта не верила клятвам, данным в бую, они забывались в тихую погоду. Распогодилось, солнце нещадно палило, возвращались перелетные птицы, пахло черемухой и тополем. Темно-коралловая сколопендра, ретивая, из-ящная бежит по паркету, прячется в плинтусе. Глюк могла показаться легкомысленной, а потом показаться недоступной, однако сейчас она читала новости и казалась совершеннейшим Вернером Херцогом в юбке. Щелкала мышкой. Допила кофе. Погода шептала, погода была прекрасна, словно киноактер Юрий Борисов. События в стране нисколько не возбуждали, не вызывали желания, скажем так, размышлять о том, что страх небытия есть воспоминание о страхе рождения. Новостные заголовки виделись лишенными обаяния. Сорос опять чего-то учудил, в Сербии массовые протесты, в Йемене снова жарко, стреляют. Читала ироничные комментарии граждан. Некая Генриетта писала, непонятно, кого имея в виду: эту тварь даже в Израиль не пускают. Несколько развеселил комментарий относительно экологических активистов, обливших супом картину Моне «Весна»: горите в вулкане, быдло, а так – всем добра и позитива.

Иная новость показалась прелюбопытной. Видный немецкий политик Штефан Вонка, продолжительное время страдающий неизвестным видом депрессии, объявил о своем чудесном исцелении. На коротком видео был запечатлен Штефан, вылезающий из бомбоубежища в своем дворе. Нестриженный газон, садовый гном с отколотым ухом, велосипедный остов. Откровенно говоря, Вонка выглядел беспонтовым пирожком, селедкой, выброшенной на берег. Рыжая борода скрывала лицо, впалые, воспаленные глаза, темно-голубые. Засаленный клетчатый халат. Вокруг снуют жена, детишки, телевизионщики. – Тятя, тятя, что с тобой, нам страшно на тебя глядеть, как это власть доверили такому психически хлипкому человеку! – вопили две кудрявые малышки близняшки. Несмотря на свой удручающий видок, политик искренне лыбился. – Все теперь будет

хорошо, дети мои, ваш папка исцелился, а исцелился он благодаря этой поэме, – сообщил Вонка, помахивая телефоном.

Марта щелкает мышкой, автор поэмы ей не знаком, как девочкам Марии, Мирабеле не знакомо корыстолюбие, лягушонок по имени Кваки это подтвердит. Журнальные публикации показались излишне экстравагантными. Особенно впечатлила трогательнейшая повесть о первой любви, она называлась: одноклассница, проснувшаяся танком. Старая, добрая классика, все эти толстые журнальчики, Глюк вспомнилось, как она читала в детскую пору журнал о желтом плюшевом медвежонке Бумми. Журналистка продолжала просматривать материалы о Мише. Ей попало коротенькое видео, два миллиона просмотров. Хлопья снега, теплотрасса, в отдалении трубы ТЭЦ, все какое-то серое и тоскливое. Какой-то умник подставил композицию *Where is my mind*, сыгранную на пианино. Мужчина и две женщины в красных костюмах медицинских работников пытаются успокоить поэта. Он премило рыдает, приговаривая: хочу на море, я на море хочу, поскорее везите меня на море, кто-нибудь просто возьмите и увезите меня на море, я мечтаю о море, пожалуйста, я больше ничего не прошу, мне больше ничего не надо, пожалуйста. Пленительная истерика, размышляет немка. Она почти растрогана, ей хочется увезти этого уса-того мальчишку в тельняшке на море.

Она поглядела другие видео с ним. Миша на них уподобился экскурсоводу под седативными препаратами. Нес там откровенную пургу. Как пелось в одноименной песне: пурга замела голову, сорвала покровы, оставила правду голую, голубя мира съели беспризорики для утоления голода. Впрочем, Глюк воодушевили перспективы вернуться в строй Гюнтера, Мурнау, Ланга, Вине, Фассбиндера. Она как-то подумала вдруг: неплохой сюжетец. Что-то в ней откликнулось, как бы вульгарно то ни звучало, да, да, откликнулось. Об этом обаятельном прохиндее получится сделать любопытную киношку. Немка перебирала в уме имена продюсеров, кому бы позвонить. Пусть продюсеры нынче и перестали петь: позвони мне, позвони, позвони мне ради бога. Их песенки стали чрезвычайно дегенеративными. Продюсеры увлеклись хип-хопом. Глюк наткнулась на новость, Дональд Трамп обнародовал более восьмидесяти тысяч страниц засекреченных сведений. Неизвестные подробности убийства Кеннеди. ЦРУ вводило отравляющее вещество в кубинский сахар, поставляемый в советский союз. Подмешивали мыло в детское питание. Отравляли скот в Восточной Германии. Щелк мышкой, щелк.

Фрау подошла окну, открыла жалюзи. На кирпичной стене буфета какой-то полудурок написал красной краской: будущее наступило в говно. У вокзала тусовалась девчонки в коротких джинсовых юбках. Их фиолетовые веки, крылышки бабочек, их кислотная помада, губы зеленые гусеницы. Они предлагают формально-бюрократический секс, они опытные, несмотря на свой венерический возраст. Знают миллионы пословиц, забрасываешь, как в игровой автомат пфеннинг в шелочку, она тебе мудрость. Марта курит одноразовую сигарету, в некоторой степени ей надоело находиться среди людей, которые решили жить вечно. Развеселое семейство в гавайских рубашечках с чемоданами, рюкзаками. Девчонка-подросток, мальчик-школьник, папа янки, мама узкоглазая кокетка. Желтое такси, напоминающее верблюда. Семейка грузит в багажник вещички. Отец причесывает усы маленькой пурпурной расческой.

Марта заворуженно пялится на расческу. Точно такая же была у папы, Гюнтера Вольфа. Комманданта лагеря, где перевоспитывались проблемные юноши и барышни. Щеки в огне от воспоминаний. Родственник любил носить кляп, а также чулок на голове, чудачил. Серьезный, как Виталий Дёмочка, папка с кляпом во рту наставлял, что воровать плохо. Сама Глюк была удивительно мала, кроме того, ее не существовало. Однажды родственник вернулся со смены. – Ей двадцать два, и она ополоумела от преклонных лет, – сообщил тогда отец, – ее зовут Шошана, она еврейка, а тебе мать, а мне жена. Какой-то безумный вайб, подумалось маленькой Глюк. Впрочем, Гюнтер был непреклонен и привел домой Шошану, которая впоследствии стала матерью Марты.

На лице неба выступили тучи-прыщики, фи, а ничего не поделаешь. Листва зашелестела, шух-шух-шух. Дядьки в замшевых пиджачках с большими кружками пива у ларька-разливайки. Потопали в сквер, спасаясь от дождичка. Их усы-крапива могли с легкостью ужалить зазевав-

шуюся принцессу. Дядьки любили электрофорез, домино, ленивые разговоры о боксе, погоде, заводе. Дождь полоскал горло. По весне саднило колени и локти, цветение, аллергия, мать ее. Как говорят разные ссыкухи, Марта не была комфортным человеком. Ее пока еще плодородное тело изнывало, от чего-то оно изнывало, мы даже и не можем подсказать, от чего. Монолог ее души требовал слушателей. Жители микрорайонов, малолетние любители фильмов Параджанова, самки с цветными волосами, неважно. Молодежь сейчас кушает разную дрянь, не знают меры, перец, соль. А между прочим, Глюк яркая представительница немецкого романтизма. Брошь в виде голубого цветка, который она постоянно носит на груди, подтвердит эту гипотезу. Кто-нибудь послушал бы монолог ее души, никого.

Немка пристально глядела на желтую пухлую папку, перетянутую бечевкой. Она лежала на лакированном журнальном столике, в ней копия стенограммы допроса одного плохого мальчишки. За прошедший с исчезновения Клауса год фрау частенько возвращалась к этим записям. Они познакомились благодаря Армину Майверсу, жителю ФРГ. Однажды он подал объявление в интернете, дескать, разыскивает человечка, который хотел бы, чтобы его съели. И вот откликнулся житель Берлина, программист Юрген Брадес. Они ожидаемо встретились, в общем-то, неплохо провели вечер. А затем Майвес прикончил своего нового знакомого, питался его мясом в течение нескольких месяцев. Как же поймали Армина, поймали весьма просто. Некий студент колледжа, подозреваю, стукач, сообщил в полицию. Увидав очередную рекламу в сети интернет о поиске добровольца, он стремглав побежал к ментам.

В ту пору Марта снимала кино о перверсиях, домашнем насилии как о проявлении странной любви. Канныализм как особое проявление любви. Дикость, а не любовь, весьма быстро поняла Глюк. Немка открыла папку, первая страница, на полях комментарии. Клаус был кем-то вроде консультанта в том деле. Говорят, у женщин не бывает второй любви, они не в состоянии перенести дважды столь страшное потрясение чувств. Фрау была согласна с данным утверждением. Но вот она возвращалась к желтой, пухлой папке. И влюблялась по-новой в своего мужа. Увлажнитель воздуха у окна перестал увлажнять. Дождь забарабанил отчаянней по жестяному подоконнику. Марточке захотелось сухариков со вкусом сыра и семги, как во времена ложной беременности. Радость материнства обошла стороной. И не ответит паршивый агностик, есть ли, кроме радости материнства, во что следует верить. Немка промокнула вспотевший лоб синеньким платочком. Ей вспомнились строчки: будет ласковый дождь, будет ласковый зверь терзать плоть той девчонки в пубертатном лесу. Она хмыкнула, в очередной раз отказываясь быть причастной к собственному самоубийству, которое в дальнейшем признают вынужденной самообороной. Подобные мысли донимали ее все чаще и чаще.

Марта тогда изучала документы в архиве. Допрос начинался со слов Майвеса: можно ли мне предоставить клубничное мороженое? Восемь тридцать утра, подследственный приветлив, охотно идет на контакт, интересуется новостями в мире, жалуется на скудный рацион питания. На полях кто-то написал карандашом: клубничное, я бы выбрал персиковое. Глюк задумалась, приписала чуть ниже: вы полагаете, в данном случае имеет значение, какое мороженое. На следующий день она увидела дополнение: в его случае нет, однако в нашем с вами случае выбор принципиален, вы, какую предпочитаете кухню? Воздух в архиве разреженный, дышать не очень-то легко. Какую вы предпочитаете кухню, Клаус умел быть обходительным. Глюк улыбнулась, как улыбнулась тогда в архиве. Глюк его ждет. Она умеет ждать. Умеет ждать, как та наркотическая дрянь одного мальчонку. Он попробовал, родители возмутились, положили в клинику. Увезли в другой город, окружили заботой. Мальчишка подросток, окончил университет, женился. К тридцати построил карьеру. Однажды с детьми пошел в поликлинику. В кабинете услышал, как медсестра звякнула шприцами и склянками. Побежал искать дрянь, бросив детей, сверкали пятки, слетели тапки.

Так они и познакомились. Два одиночества. Две снежинки на стареньком коверкотовом пальто девятиклассника из малоимущей семьи. Очередные показания преступника. Семь сорок пять. Майвес в скверном расположении духа, мучается с расстройством желудка в тюремном лазарете.

Вспоминает сказку о Гензель и Гретель. По всей видимости, он лелеет мысль о собственной исключительности. Сравнивая себя с той самой колдуньей, решившей съесть Гретель и Гензель, предлагал взглянуть на свой нос, дескать, нос ведьмин. Марта написала на полях: предпочитаю крепкий, словно отцовский ремень, кофе, а кухню предпочитаю вегетарианскую, как вы думаете, Армин страдал от одиночества, может быть, ему бы помогли компьютерные игры? Собеседник ей жантильно ответил: мне кажется, он страдал от пищевого расстройства, я же страдаю и томлюсь от незнания вашего имени. Марта ему написала: меня зовут Марта, правда, я не знакомлюсь при таких странных обстоятельствах. Журналистка представилась будущему супругу, а в это время Майвес рассказывал о непреодолимом желании написать книгу о настоящей дружбе, поиске своего предназначения и прочей слащавой чуши.

Немка зевнула. Засыпая, Глюк по обыкновению желала: доброй ночи, Клаус, доброй ночи, столик, доброй ночи, диван, доброй ночи, букашечки. Нынче она никому, ничего не желала. Ей будто плеснули уксуса в глаза. С исчезновением обаятельного, как Сададьский Стас в кинокартине восемьдесят шестого года «Очень страшная история». С исчезновением супруга люди вокруг поблекли. Перестали интересоваться чужие судьбы, истории, драмы. Теперь граждане казались ей не такими любопытными, словно двухголовый теленок, например. А в ее профессии это сродни катастрофе. И время причудливым образом ускорило, седины стало больше, похмелье мучительней, а менопауза ближе. Молодежь с новыми словечками сказала бы: оскуфилась ты, милочка. Подобным образом в свое время Анатолий Бугорский ускорил частицы. Луч из миллиардов протонов прошел через его голову, пучок частиц на скорости света вошел в затылок и вышел рядом с носом.

Да, ночи стали длинные, как шестичасовая речь Фиделя Кастро в ООН. Глюк перелистывает листы. На сотой странице их романтическая переписка на полях приобрела черты сопливых произведений Франсуаза Саган. Клаус почти признался в любви. Послушайте, Марта, у меня странное чувство, как будто мы с вами знакомы несколько жизней, словно в прошлом воплощении мы с вами не жили в одном муравейнике, я принес вам на своей спине кусочек рафинада, вы поразились, нет, вы были королевой муравейника, а я сахарной ватой, которую нерадивый ребенок обронил в парке развлечений. Но все эти восторженные признания были на полях. А в части допроса Майвес просил передать его любимый свитер с пингвинами, говорил, свитер связала бабушка Инга, воевавшая на западном фронте. Она там не совсем воевала, готовила пищу для солдат. Майвес напоминает, как она разнообразила рацион. К примеру, чтобы порадовать ребят на рождество, сделала из кроликов мороженое, получилось что-то вроде фруктового льда, парнишки остались довольны.

Марта краснеет от воспоминаний. Откладывает пухлую папку в сторонку. Сама подходит к окну, дождь перестал. Краснокожий вождь бредет со своим оливковым вещмешком к вокзалу, входит в стеклянные двери. На пионере в белой рубашечке, синем галстуке, он из организации Эрнста Тельмана, поэтому галстук синенький. На плече пионера зеленый волнистый попугайчик. Жгучий брюнет обзавелся юными усами. Вон он кормит попугайчика круассаном у ларька-разливайки. На окне ларька налет, словно детская присыпка из талька. Журналистка рассматривает улицу. И не сразу слышит звонок телефона.

Позвонил киновед и продюсер Тамерлан Васильев. Гражданин, чья страсть к авторскому кино была такой же сильной, как страсть к авторскому кино у женщины по имени Любовь Аркус. Тамерлан Васильев, сколь неожиданный звонок, у тебя есть вкус, поэтому ты не слушаешь Лену Зосимову. Ты бы с легкостью превратил Спасателей Малибу в зубодробительную историю о красной калине или красной жаре. И вот он позвонил, а у Глюк внутри запели дрозды. Продюсер предложил снять картину о загадочном русском писателе. Перед тем, как нас окончательно сожрут лангольеры, мы еще успеем сожрать их всех с потрохами, подумалось Марте. Правда, мадам не уточнила, кого она собирается сожрать с потрохами, но это все частности. Она решила посмотреть любимый сериал «Альф», чтобы собраться с мыслями. И впервые за долгое время не думала о своем Клаусе.

Глава 4

А моя матушка говорит, что вы за поколение такое шизофреников

Если говорить, положи руку на сердце и печень, Россия казалась госпоже Глюк непревзойденным паяцем. На зад у него кобура болталась, а сбоку шашка звякала, впереди него все хохотало, а позади плакало. Именно так подумалось госпоже Глюк. Что ж, госпожа Глюк, мы чрезвычайно польщены подобным эквивокам. Меж тем аромат кислой капусты был прекрасен, как лебединая песнь крокодила. Аромат сосисок, половой тряпки были менее прекрасны, но все же. В столовой жутко громко и запредельно близко свистел чайник, как это, термос, нет, не термос, литров на пятьдесят серебристая емкость. Приглушенно играло радио, о, Кумбайя, о, Кумбайя. Братва не стреляла друг в друга. Отчего-то оконце ослеплено газетами. Хотелось бы добавить, раздетой госпожа Глюк тут никому бы не понравилась. Она что капуста, в десяти одежках. Понимаете, мы по обыкновению кутались в снежные кафтаны, нам зима что дом родной, нам индифферентно, ретроградный Меркурий или заместительная терапия. У нас водевиль, у нас феерия смыслов и неизбывная тоска. Поэтому даже когда мы обнажены телесно, мы все равно одеты в снежные кафтаны. С иностранцами такое не прокатывает. Госпожу Глюк знобит, хотя батареи греют исправно.

Наливной, бетонно-мозаичный пол, он бордовый, а кто-то в мире сейчас пребывает в состоянии бардо, а нас уже давно ничегошеньки не пугает, ни гороно, ни красное пятно на трусах нашей достопочтенной жены. Вспомнилась вот любопытная история с Женечкой, простите мне эту дерзость, лезу в главу, посвященную странствиям фрау Марты со своим вечным сиянием си-него разума. Так вот, колючий снег в замерзших руслах рек, мой варварский диалект и супруга, она потащила в лесную чашу сжигать чучело, как раз шла масленица. Мы услышали волчий вой, животные совершенно потеряли головы, выследили нас благодаря Евгении Михайловне. Окружали полукольцом, желали отполдничать нами, будто мы творожные запеканки. Помирать было несподручно. Волчары нас мурыжили, клацали пастями, зыркали. Жена тогда подпалила чучело, животинки оробели, пламя охладило их пыл. Евгения, о, сколько в имени твоём согласных, гласных и любви.

Люстры-ананасы желтые, розовые производства ГДР. Рассеянный, будто Иван, узнавший о воскрешении плотника, свет. На дамских пальчиках, а ее пальчики абсолютнейший виноград, золотые колечки, пальцы делают стук-постук по клавишам кассового аппарата. Дамочка исполняет песнь дождя, дамочка выглядит ништяк, откровенно говоря, не откровенно говорить мы попросту разучились. Работница столовой напоминает запись в дневнике Чайковского, пятого февраля он писал: скучал, пьянствовал, ел шоколад. Блонда, прическа пикси, тела ее ротонда, открытая баночка пепси-колы на прилавке. На принцессе желтое шерстяное платьишко. Зеленая помада, как у телевизионной дикторши в черно-белую эпоху. Неправильная мысль терзает девчонку. И мы не в силах провести трепанацию, и мы не в силах влезть в ее черепушку. Знаем лишь, она зашнуровала ласты, успела развестись со знатным сладкоежкой, он жрал мед в чудовищных количествах. Порой работнице столовой казалось, у бывшего муженька есть какой-то план, и он его придерживается, в связи с этим ей пришлось приостановить с ним отношения для выяснения всех обстоятельств. Ее звали Елена, впрочем, неважно, Елена, Кристина. Сейчас я не опишу в этом абзаце Елену-Крестину, гораздо важнее умолчание. Умолчание что фанерная бирка на ноге, оно суть любой литературы. Но я возвращаюсь в столовую, посетителям столовой, с этими людьми мне есть о чем пить.

Монашки Индика, Сатива в иссиня-черных одеждах своих. На красном пластиковом подносе два граненых стакана, какао, девчоночки премило хихикают. Еще у них на подносе блюдце с пышками в сахарной пудре, жирные, жирные. Они присаживаются за темно-коралловый, лакированный столик у аквариума. А в круглом аквариуме плавает единственная оранжевая и глазастая рыбка, пускает пузыри, колышутся водоросли. Черты лица что у одной, что у второй болезненны, тонки, как деревья на территории Аушвиц. Тем не менее прекрасны, тем не менее хочется разгля-

дывать их черты. Стены столовки обклеены фотообоями, весенний лес. Некстати вспоминаются слова Ольги Чернавских: на гвозде вся в грязи куртка висит, лесом несет, это лишний визит, лесом разит, лесом и все. Милашки уплетали пончики. Одна другой этак лукаво: грешить так грешить, давай еще по одной с вареной сгущенкой. Над головами девичьими едва заметное мерцание, белые, белые точки, битые, битые пиксели, гамма-излучение. Монашки обсуждают дальтоники, называют их мудрыми, дескать, пессимисты видят красный свет, оптимисты зеленый. Сказочный Мишка на чеканной картине лыбится. Девушка иступленно стучит по клавишам кассового аппарата. Казалось, люди вокруг сотканы из того, что потеряли когда-то, любви.

– Да чтобы вы знали, он вас всех дурит, – лукаво прищурившись, произнес товарищ. У него борода как у шнауцера. Волосы мышиного цвета до плеч. – Вам знакома такая концепция, плюшевый мишутка шел на небо, прямо на Берлин? – спросил в прошлом оперуполномоченный Чижик, ныне земное воплощение Иуды Искарота. На нем белый пиджак, на груди россыпь значков: церковь детства, Иисус тебя любит, я выбрал путь праведника. И прочие, прочие. По воротнику серой водолазки ползет моль, по всей видимости, завтракает. Немчура, как ее успели ласково прозвать некоторые граждане, снимала короткие интервью о литераторе. Очаровательные собеседники своими чарами могли наломать дров, конечно. Столь они были, как это, думали о вечном, а не о подвечном. Видеокамера, закрепленная на маленьком штативе, беспристрастно записывала, как Чижик поедает пельмени со сметанкой. Запивал гражданин те дивные пельмени минеральной водой Эссентуки. В зеленой бутылке шипела водичка. Кинематографистке хочется водки с томатным соком. Она знакома шапочно, шубочно с журналистскими принципами. Так вот, в них ничего не говорится про водку с томатным соком.

– При каких обстоятельствах вы познакомились с Токаревым? – спрашивает, прикусив губу. За спиною Иуды висел отрывной календарь с зеленой змеей в очках, четырнадцатое февраля, неспроста четырнадцатое февраля. В этот день родился Миша, отметила кинематографистка. Немка брала интервью как надо. Должно быть, проницательный читатель безошибочно определит, да перед нами же Нелли Блай. Та самая особа, симулировавшая амнезию и душевные мучения. Десятнадцатый век, о, девятнадцатый век. Она легла в психиатрическую клинику, чтобы в дальнейшем написать разоблачительную статью об ужасных условиях содержания в клинике и о судьбах пациенток, попавших туда по ошибке. Нелли Блай, совершившая кругосветное путешествие за семьдесят два дня и шесть часов. Словом, Марта знает, стоит собеседнику закончить отвечать на вопрос, не спеши, выжди, жертва почуствует неловкость и ляпнет чего-нибудь еще.

Одна из монашек за соседним столиком, хихикнув, сказала: у нас тут свой град Китеж под водой и колокола слышно, а мы грешим, но до чего вкусно! Одутловатый мужичишка с млечным шрамом на бритой голове беседовал по телефону: и сколько нам открытий чудных готовит просвещенный сосед, которого выписали раньше положенного срока, не долечив совершенно, кста-ти, чем это пахло на прошлой неделе, кажись, газом это пахло, ты там позвони кому надо!

– Все мы, как черви в рыбе, ищем освобождения, желаем и страшимся освобождения, – начал издали оперуполномоченный. Его водянистые, по-рыбьи выпученные глазки часто-часто моргали. Моль вспорхнула с воротника водолазки. В столовую вошла Юленька, у нее красные, словно конфетка Москвичка или рассвет щеки. Глядя на нее, хочется задать простой вопрос: Юлия, не заплакать смогу ли я? Она трудилась урологом. Исповедовала принцип: трезвый, значит, русский. Поэтому взяла брусничный морс, макароны по-флотски, два ломтика белого хлеба, салат мимозу. Повесила свой васильковый пуховик на спинку стула. В белом свитере она напоминала литеру Л в слове локомотив, столь быстро голубка кушала. Ее полуночные глаза полуприкрыты, она птица высокого полета, птица по языцех. Ее не принято обсуждать, Юлька подобна писанию Иоанна Богослова, писание Иоанна Богослова не читают во время богослужения, слишком таинственное писание, трактовок тьма тьмущая. У самой кассы в стеклянном конусе морковный сок, Марте отчего-то захотелось водки с морковным соком. Пузатый телевизор, висевший под самым потолком, показывал выступление Татьяны Булановой, она пела со сцены в своем желтом платье: не плачь, еще одна осталась ночь у нас с тобой, еще один раз прошепчу тебе, ты мой. Однако звука не

было, поэтому Глюк, не знакомая с особенностями песен Татьяны Булановой, не могла знать, что у нас осталась с тобой одна ночь. Трудности перевода, иной культурный код.

Иуда тонко запел: о, благодать, спасешься ты, о, благодать! Чего это он запел столь неожиданно. Марточка ожидала чего угодно, но только не пения. – Наше знакомство состоялось, когда я, будучи участковым, приехал на вызов, он исполнял волю отца, то есть ему казалось, что он исполняет волю отца, понимаете, Авраам безропотно хотел отчекрывать голову Исааку, Токарев бегал с топором за одной женщиной, его безумный смех, будто огонь, испепелял утварь, железнодорожный состав, нас в этом составе, несущихся в никуда. Глюк подумалось, я похожа на мебель, поэтому легко приживаюсь, но в этой мерзлой почве я, пожалуй, не приживусь. Все было с нами понятно, все было непонятными снами. Фрау до безобразия расчувствовалась. Ей на мгновение показалось, все мы здесь настоящие друзья, поэтому при случае зарежем друг дружку спереди, а не вероломно со спины. На журналистку снизошло озарение: боже мой, они тут все поголовно знают, про атеизм знают, что атеизм тонкий лед, один прольдет, народ утопнет. Еще вот подумалось, глядя на клеенчатую брусничную скатерть. Подумалось, кажется, я знакома с этим народом тысячу лет, со времен Батыя.

– Как говорил один дружок, мы с тобой вдвоем в триединстве идем, все, что нужно нам сейчас, это духовный подъем, все, что даром получили, даром отдаем, что возделано трудом, то пожнем, мы пожнем, если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, – высказался оперуполномоченный. Марточка задумалась, уж не связалась ли она с патентованным безумцем, впрочем, тут же отменяла подозрения. «Ессентуки» допиты, пельмени доеты, как это, докушаны, отъеты. Журналистка вкрадчиво спрашивает: а как вы относитесь к его произведениям, вы знаете, он весьма талантлив? – Талантлив, не талантлив, это все сплошной Голливуд, фикция, непредвиденная любовь в эпоху неоновой разнузданности, – заявил Иуда. Он вдохновенно ковырялся в зубах, зубочистка поломалась. Мужчина цыкнул, поморщился, будто сожрал хорошенькую луковичку. В столовой стало прохладней, где-то стукнула форточка, стало подвывать.

– Он перерезал дедушке сонную артерию, но дедушка не спал, – устрашающе рассказывала одна из монашек другой. Ее подружка испуганно икнула. Какой абсурд, испуганно икнуть, подумала Марта. Интересно, что за Федот, которому достается вся людская икота. Чья-то алюминиевая ложка упала. Одутловатый мужчина досаждал работнице столовой: почему котлетки из хлеба, фарша и лука такие одушевленные? На нем свитер цвета винегрета, брюки цвета гуляша. – У нас просто сегодня рыбный день, – презрительно сказала блондинка в желтом шерстяном платье. Быть может, она чья-то мать. И подобным образом разговаривает со своим ребенком, держится холодно, соблюдает субординацию. Сама журналистка однажды разочаровала родителей, душа у ней не лежала к гомосексуализму, поэтому она занялась искусством. И существенно позже, спустя десятилетия сынок этой блонды кассирши напишет предсмертную записку. И назовет эту записку-роман: а я забежал домой попить водички, а меня потом и не выпустили.

Гобелен с волком, притаившимся за древком, козлятами, резвящимися на опушке. Гобелен висел на бирюзовой двери туалета. Желание хлестать херес и разговаривать с этими людьми о природе Сфинксе, чьи загадки о двух стульях будоражат воображение. Это желание завладело фрау. – Неверующим быть стыдно, ты сначала хотя бы один акафист выучи, а потом со мною знакомься, – сказала, хихикая, одна из монашек. И была права, была права. Была, словно цветущая ветка миндаля в стакане на картине Ван Гога. Марта, словно ухо Ван Гога, слушает внимательно, внимательно. Спрашивает Иуду: а как он в бытовом плане? – Мы с ним в десна не жахаемся, если вы об этом, подозреваю, несносный, инфантильный монстр, чье место у Прасковьи Федоровны, – неловко пошутил Чижик. Журналистке вспомнились вдруг слова одного философа, дескать, надобно глядеть не на то, что едят, а на то, с кем едят. Она продолжила расспросы: а вы верите в его способность преодолевать пространство и время с помощью литературы?

Работница столовой, овеваемая сквозняками, отвлеклась от своих ноготков. И крикнула на весь зал, чем привлекла всеобщее внимание: Токарев, ах, вы говорите об этом троплодите, этот

харизмат украл у меня два литра спирта Рояль, но в большей степени украл сердечко! Похоже, милашка оговорила, никакими харизматическими движениями литератор не увлекался, быть может, он чуточку разделял идеи Фомы Аквинского, да и только. То была никакая не Кристина, Елена. Ее звали Алиса Доппельгангер. Наши шуры-муры не вписывались в рамки приличия. Традиционными наши шуры-муры уж точно не назовешь. Первая красавица города, формально их было две красавицы. Откровенно говоря, Алиса выросла из пряди волос Норы. Студентки-отличницы, победительницы всевозможных конкурсов, олимпиад. О ней говаривали: биолог-вундеркинд. Она вундеркиндилла в отцовском гараже. Изобретала пахучие субстанции, достойные признания Несмеянова Александра Николаевича. Этакая фам фаталь, в глазах безумие, подобное безумие наблюдается в наших с вами глазах, когда мы вспоминаем жаркие каникулы в Ираке.

Алиса попугала кисельные берега, говорила без утайки. Она наговаривала, она далеко не воровей, залетит, не прокормишь. Впрочем, я промолчу и предоставлю слово Доппельгангеру под ее личную ответственность. Марта перевела камеру на блонду, прекрасный эпизод, подумалось журналистке. – Этот соблазнитель пришел ко мне из сюрреалистических сновидений юноши в старом, коверкоговом пальто из малоимущей семьи. – Мы познакомились в поликлинике, он захворал, температурил и ловил гномиков, чем несказанно испугал старушек. Первого апреля состоялось то знаменательное событие, мы быстро сошлись. Наши отношения подобны озеру Карачай, столь неоднозначными они казались моим подругам. Мы слушали Малера, даже планировали завести своих детей кукурузы, не срослось. Темнота была нашим другом. – Алиса Доппельгангер хмыкнула, поглядела в камеру и попросила предоставить подписку о неразглашении сроком на двадцать пять лет. Милашка кокетничала. – Безусловно, – сказала немка. Заслезилась очи, словно от избытка чувств, хотя откуда тут сантименты.

Вдруг журналистку зазнобило еще сильнее. Бабушка, когда Глюк заболела, варила куриный бульончик, крупно резала морковь. Называя блюдо пенициллиновым супчиком. Бабка была технарь. Поэтому, когда соседский орангутанг Виктор взбесился и сбежал. И принялся ломать жильцов, бабулечка живо присмиррила Виктора. В отличие от бесполезных гуманитариев, она четко следовала намеченному плану, учла действующие нормы, стандарты и правила. Престарелый судья Дредд с пятого этажа похвалил родственницу за этот поступок, сказав, старая школа это вам не хрен моржовый. Марта услышала, в столовке зазвенела посуда, голоса стихли. Наваждение, это оно. Немка превратилась в целлофановый пакет. Шуршание целлофанового тела. Натруженные женские руки стирают пакеты. В розовом тазике пенится вода. Клубничный обмылок выскальзывает, летит на шербагую плитку, скользит. Хрустальный дворец, вспоминает целлофановая Марта, в детстве так называлась прачечная. Ее держали супруги китайцы, они внедрялись в доверие и в тонкие, астральные тела клиентов. А затем несчастные клиенты получали свое бельишко, кишашее паразитами. Сознание целлофановой Марта вылетело из прачечной. Чтобы влететь в ухо, семенящей по улице рыжей кошки. Вылетело из приоткрытой пасти, влетело в кафе Бухарест, где ужинали бургеры.

– А вообще, я нахожу отвратительным, его манера жизни не предполагает никаких подвигов, а мне кажется, в каждом важнее всего подвижничество, стремление сдохнуть во имя какой-то глобальной идеи, когда мне было восемнадцать лет и я оканчивал девятый класс, у нас в городе разгорелась стодневная война, через кроличью нору к нам пролезли какие-то Кастанеды, и тут я понял, ёлмн, душа-то у меня маленькая, с такой не повоюешь, я принялся усердно заниматься, помогал старушкам, кормил бездомных собак, занятия не прошли даром, скоро у меня была самая большая душа в классе и поставили меня первым на физкультуре, хотя роста во мне было меньше всех, – рассказывал Иуда. В момент интимной близости оставайтесь людьми, вспомнила неожиданно Марта название еще одной любовной повести Токарева. В столовке граждане примолкли. – Тут встречаются копии, отсканированные на офисном принтере, вот их избегайте, вам на будущее, – непонятно к чему сказал Чижик.

Монашки, Алиса, мужик со шрамом на голове, все они устали на журналистку. В их взглядах тревога, в их головах неведомая мутотень. Марта спросила у них: was ist das? Женщина чув-

ствовала себя до крайности неуютно. Молчание затянулось, минут пять длилась эта психологическая попытка. Пока бывший оперуполномоченный не сказал: наше интервью окончено, ступайте с миром. Глюк не сразу поняла смысл его фразы. Выключать камеру она не спешила, подобным образом не спешат матери сообщать своим детям реальное расположение отцов. – А вы не слишком ли спешите, как это, креститься, ведь гром еще не грянул? – поинтересовалась фрау. Просто-наконец черная, словно пепси-кола, вытяжка на кухне. Немка встала из-за стола, потом села обратно, потом встала из-за стола, потом села обратно. Ей попались довольно податливые респонденты. Однако женщина что-то упустила, какую-то сенсацию, химический элемент стронций, полоний. У журналистки вспотела спина, ладони, прочие компоненты тела. Она уподобилась гимнастке, пропустившей собственные роды, ведь сдавала ЕГЭ.

Ей предстояла еще одна встреча с некой Чумой Ивановной. Ныне владелицей ларька на проспекте Срапинова, в прошлом соавтора Токарева. Они вместе посещали поэтический кружок, дружили. Единственный опус, который они явили миру, был посвящен черной дыре. Один гражданин обнаружил утром пролом в стене, в нем пропала кошка, жена и дети. Гражданин озадачился, выпил водки, а потом и вовсе спился. Иуда чопорно произнес: я все сказал, у нас время молитвы. Люди в столовой по-пчелиному загудели, не дураки ли. Прикрыли глазки да загудели, дурдом на прогулке. Фрау вытерла бумажной салфеткой с красным утенком губы. Хотела оскорбленно высказаться, однако вместо слов доносятся пiski, словно журналистка в телевизоре и матерится. Выходит какая-то белиберда. В создавшейся ситуации было бы опрометчиво качать права. Глюк, понимая несостоятельность дальнейшего интервью. Понимая, что речь полудикая кошка. Решила отступить. Она сказала: ну и пожалуйста, тем более пожар вы не вызвали, так, зажгли свечку, а я-то думала, вы сообщите сведения, способные существенно повлиять на ход истории. Само собой, вместо данных обвинений прозвучало: пипипи. Ошеломленная фрау потянулась к своей камере. Общество вынуждало тереться спиной и другими причиндалами о земную ось.

Марточка не склонна быть Иосифом и спасать чьих-либо братьев от голода. Стояли морозы, как девичьи соски поутру, впрочем, никаких пошлостей, не будем об этом. Снег вшивал нам под кожу иголки, торпеды нам он вживлял, чтобы мы не пили, не кололись. Позабыты, как певица Гречка хлопоты. Позабытый с детства язык вспоминался журналистке. Нарочито смешной язык вспоминался, пока она шла по заметенной дорожке. Немке не хватало интересных конкурсов и викторин. Торговали мандаринами азербайджанцы. Торговали у лютеранской, явно не православной, церкви. Мандарины лежали в деревянных ящиках, в багажниках тонированных девяток. Азербайджанцы торговали именно так. Картинка рябила, как на экране телевизора Hitachi. Глюк зажмурила глаза. Снежок, словно рязанский сахарок, таял на языке. Озябшие руки. Фрау открыла на телефоне повесть Токарева. Случайная страница, случайная строчка: вы маскулинные какие-то, а мы пользуемся вазелином, зимою руки покрываются цыпками, знаете ли. Разыгрался аппетит. Банки с вареньем стояли у синих мусорных контейнеров. Завывал ветер, заложило ухо.

Марта кивает сама себе. Одобрительно говорит: как это, ветер в степи, в речке вода. Раздолбанная гитара меланхолично лежит у синих мусорных контейнеров. Дамочка тюлень на шестидесятой неделе беременности взопрела. И положительная во всех смыслах она закричала на немку: вы не видели Годо Петра Валентиновича? У нее усики, словно у французика. Черные глазки запятые, тонкие губы второстепенные члены предложения. На ней каштановая мохнатая шуба из шерсти Чубакки, хорошо, не из шерсти Чубайса. Женщина тюлень, косолапа, приближается. Глюк предупредила: предупреждаю, никого я не видела, как это, я вооружена и настроена серьезно, лучше не подходите, лучше подойдите к врачу акушеру. Тетенька в замешательстве. Подбоченясь, говорит: в сорок пятом под Берлином я бы с тобой по-другому разговаривала. Сплюнула и ушла в сторону лесополосы, скрипя снегом. Журналистка обратила свой взор на печальные березы. Их тела причудливо выгнуты. Марта в детстве пила литрами березовый сок. В юные годы она решила стать режиссером. Помнится, мать показала фильм «Ночной портье». Загадочно сказав: это, милочка, история нашего знакомства с твоим отцом.

Марточка мимоходом просматривает новости. В Истре слышится выстрел. Во Фрязино школьница намазала мазью, исчезла. В Мытищи приехали сыщики для расследования дела одной нянечки, которая пила кровь у детей во время тихого часа. Дует чудовищный ветер. Ветви деревьев сплетаются, извиваются, словно грешницы на заднем сиденье копейки первого парня на деревне. Марте позвонили на мобильный, звонивший, Николай Рыбкин, Мишин ученик. Он был одновременно молодым и стариком, придумывал себе будущее, придумывал себе прошлое. Он работал на северном полюсе. Ставил на ноги пингвинов. Когда летят самолеты, птички глядят на небо, падают на спину, самостоятельно не в силах подняться. Ходил целыми днями и поднимал пингвинов. И вот позвонил, сообщил, не стоит связываться с Токаревым. – Смех смехом, а женское это самое сверху мехом, не лезьте туда, – попросил Рыбкин и скоростно бросил трубку. Журналистка озадаченно сказала вслух: а что подумал по этому поводу кролик, никто не узнал, кролик был очень воспитанный. Глюк брела по дворам. Озябший лейтенант чистил от снега свою серебристую ласточку. Поблизости милостивые подростки сидели на качелях, лобызались. Их обветренные губы заслуживали всего самого наилучшего.

Марта вышла на улицу Леонида Аронсона. Как метко заметил Аронзон в былые годы: один над нами бог и потолок, метаморфозы года и природы, я отыщу смиренный уголок в своей душе для крохотной свободы. И какая бы ни была у старушки Марты прекрасная попа, ей хотелось вот этого, о чем некогда сочинил обворожительный Аронзон. Журналистка технично, быть может, эротично, нет, нет, просто технично снимала кинотеатр «Космос». Водила своей видеокамерой по сторонам. У кинотеатра серого, как шейка одного знакомого читателям утенка. У серого здания, напоминающего летающую тарелку. Тетенька в сиреневом пуховике поднимала непутевого мужа в коричневой куртке, модном кепарике-восьмиклинке. Мужик пролеживал бока в сугробе. То была божественная рапсодия, торжество забыть над манкой с комочками. У Глюк закололо в подреберье. Знакомая заочно с обитателями здешних мест, она держалась от парочки на почтительном расстоянии, на расстоянии плечика. Внутренне ликовала. Гигабайты отснятого материала дарили робкую надежду на возвращение в профессию. Возвращение блудной дочери проходило очень даже хорошо.

Журналистка прошла вдоль трансформаторной будки, магазина «Луч», роддома из красного кирпича. На каждом кирпичике имена детишек. Фрау снимает, Василий, Елена, Денис, Кристина. Папаши величаво сидят на крыльце на корточках. Они способны так просидеть долгие годы, до самого совершеннолетия сыночков и дочек. Исполины, урожденные от дочерей Каина, третьего сына Евы, Сифа. Именно такими увидела Марта мужичков на крыльце родильного дома. Зимущка принарядила дяденек в снежные кафтаны, сосульки на их усиках добавляли некую пикантность. Чуть в стороне, на кряжистых деревьях висели огромные скворечники. Преимущественно двухкомнатные, доставшиеся еще от советской власти разным семейкам. Немка порадовалась за граждан птиц. В ее родном ГДР преобладала застройка совсем иного рода. Плотная застройка, что ли. Фрау взглянула на свои замерзшие руки, они покрылись цыпками, будто красными клопами. Морозец тем утром, доложу я вам, ух. Кинематографистка выключила видеокамеру. Перешагнула через поребрик. Попала на проспект Срапионова. Где расцветала пышным цветом жизнь. Хотя она везде расцветала.

Из окна конструкторского бюро, где разрабатывали рэп, вылетела коробка с аудиокассетами, они разлетелись в разные стороны. Пленки на белом снегу. Черный доцент Максим Сеницын в зеленом, как снил, халате выбежал на улицу. Причитая, стал собирать кассеты. Его сослуживцы Ивлев и Андрей постоянно прикалывались. Журналистка Сенице не помогала. Лишь участливо сказала, удобней перехватив сумку со своим киносъёмочным оборудованием: однажды мать выбросила все мои, как это, фильмы на помойку, я снимала тогда порнокартинки, нужны были деньги. – Намажете мазью Вишневского, заживет до свадьбы, ладно, не нагнетайте, – пробубнил Сеницын невпопад. Глюк поинтересовалась: позвольте, как это, утолить любопытство, где тут памятник юным ленинцам, там еще, как это, есть синий ларец? Максим доброжелательно улыбнулся, зубы у него с аристократичным голубоватым оттенком. – У нас везде памятники юным

ленинцам, вы, мадам, возьмите за ориентир вон ту котельную. Журналистка невольно залюбовалась глазами Синицы. Коварные, словно ризин, по-лисьи раскосые глаза. Лениво кружились снежинки, жидкий стул наконец-то прошел. Марточка полагала, от нервов, акклиматизация. Ворковали голуби, они все-таки диетический продукт. Когда пропал Клаус, она ела голубей, видно, поломались редукторы у немки в голове.

Марта едва не увлеклась этим флегматичным изобретателем рэпа. Лишняя привязанность в ее случае была сродни жестоким, развратным вечеринкам Р. Diddy. Фрау поспешила откланяться. Прочирикала: до свидания, прощайте, чао, оревуар. И, раскрасневшись от сладостной неги, направилась в сторону котельной. Повсюду желтые, красные, бежевые сталинки. Облысевшие деревья. Дети с мольбертами, выбравшиеся на пленэр. Немка фырчит, оскальчивается. Вблизи пельменной пахнет водочкой, жареным луком. Из трубы валит черный, густой дым. Отчего-то подумалось, а ведь закат в день объявления войны и закат в день перемирия ничем не отличаются. Миновала пресыщенных людским вниманием кошечек. Две черные котейки жрали головы рыбешек. Едва не искусилась, как святой Антоний, едва не погладила. У шамана было по-прежнему три руки, а у кошек всего лишь по два хвоста на брата. Животинки трапезничали рядом с зеленой скамейкой. Тетя Рая их прикармливает, у тети Раи колдовские умения. К ней приезжал папа Франциск на консультацию. Она лечит затмение ума, подагру и венец безбрачия. Кошечки проводили своими желтыми глазками фрау. Глазами кошечек тетя Рая поглядела на фрау, подумала, бедняжка, учредила в себе приемную президента, снимает истории граждан, маленькие трагедии, слезы. Принимает все близко к сердцу, поберегла бы сердечко. Раиса Константиновна покачала головой, сидя в своей квартире. А Марта увидела темно-синий ларек с решеткой на окне. Хорошенький ассортимент. Миндальный ликер Амаретто, Спрайт и Фанта, пакетики растворимых соков со вкусом лесных ягод, ананаса, клубники. Презервативы Невалашка, Гусарские. Шоколадки Сникерс, Баунти, Марс, конфетки Мамба, жвачки. Сигареты Море, Арктика, Союз, Космос, Pall mall, Camel.

Марта трижды постучала в жестяную дверь, точно постучала в жестяной барабан. Послышался звон ключей и тишина. Немка ретиво включила камеру. Мимо проходил идалго в красной шапочке-петушке, с кустистыми бровями, в стеганой серой куртке. Он обратился заискивающе к журналистке: прошу прощения, вы не смотрите на мой затрапезный вид, обстоятельства сложились таким образом и сейчас я вынужден обратиться к вам с просьбой, будет ли у вас такая возможность, если, конечно, вас не затруднит, а затруднить может, я все понимаю, вы бы не могли одолжить мне сто рублей? Фрау снимала этого горемычного с голосом жеребенка. Гражданин совершенно не напоминал Анну-Элизабет Михель, помнится, землячка была крайне импульсивна, с ней работал священник-экзорцист, однако безрезультатно, бедняжка преставилась. Глюк поинтересовалась: а у вас, как это, проблемы в семье? – Семейный круг оказался сучьим фракталом, простите за грубость, у жены болит душа, она меня выписала, вы, когда у вас болит душа, не курите, пожалуйста, анашу, это просто к слову пришлось, сыночек вот известный любитель, был такой маленький, такой миленький, постоянно показывал пипидончик, – расчувствовался случайный прохожий, на тебя не похожий.

Журналистка достает из поясной сумки кожаный горчичный кошелек. Непривычные купюры, протянула красноватую банкноту с памятником Петра на фоне парусника. Дверь со скрипом открылась. Внутри бытовал мрак. Бестактно кто-то рассматривал немку. Мужчина перекрестился. Пробубнил что-то благодарственное. Уточнил полусшепотом: я верну непременно, по какому адресу я могу вернуть, в какие часы вы будете свободны? Глюк не сводила глаз с дверного проема. Сказала гражданину отстраненно: как это, на здоровье, ступайте, я не обедею. Перед своим уходом он сказал пространно: человеческое сердце странная штука, мы досадно называем судьбой то, что его разрушает. В тени было минус тридцать. Пальцы изрядно замерзли. Она недавно читала у Токарева, как он торговал в конце восьмидесятых оружием и кокаином, потом перестал, стало невыгодно. Припомнила это и улыбнулась, обаятельная глупость. Вдруг немка услышала женский голос из глубины ларька: а вот и вы, заходите скорее, а то нутро все выстудите!

Сайонара, дурачки, подумалось неожиданно немке. Она избежала гибели от русской зимы, а неврастения пена дней, у каждой второй девчонки она имеется. Фрау вошла, на прилавке тускло горела настольная лампа. У лампы металлический хобот. Нет, нет, мы не совсем понимаем, как называется эта штука. Поэтому не будем городить отсебятину, хобот и хобот. Немка уловила аромат духов, что-то гвоздичное, что-то цветочное.

Чума Ивановна выглядела несурзано, словно одежда Stone Island. Посточку в ней было метра полтора. На ногах шерстяные носки, японские сандалии гэта. Она показалась дамочкой раскрепощенной, как нудистский пляж. Произнесла томно: присаживайтесь, мармозетка. Хорошо не маразматичка, подумала весело Глюк. И плюхнулась на офисный стул на колесиках. – Я родилась в Косово, – предупредила Ивановна. Повисло неловкое молчание. Немка кашлянула. Снимала лицо этой женщины, белила на лице, утонченный профиль. Она одинока, что картофельные очистки в раковине, сразу поняла журналистка. – Почему вы представились Чумой? – задала фрау вопрос. И тут же пожурила себя за поспешность. – Имена это всего лишь формальность, – ответствовала Ивановна. Заггла свечку-вонючку, как это, благовоние. И продолжала: вам встречались люди, с ними общаться одно удовольствие, с ними радостно штурмовать Бастилию, а потом в окопах часами лежать вповалку, шушукаться, обсуждать новый роман Селина, неважно, «Войну» или какой-то еще, найденный спустя век? Марта, кажется, понимала, куда Чума клонит. Сейчас она расчувствуется и сравнит Мишу с боевым товарищем.

В окно робко постучали. – Закрыто! – рявкнула Ивановна. Послышался ломающийся подростковый голосок: а можно пачку «Балканской звезды»? Собеседница включила обогреватель. Стук повторился. И тот же отрок попросил: а можно пачку «Балканской звезды», меня отец послал? Глюк не выдержала. Крикнула: мальчик, это самое, у нас учет! Незванный гость обиженно произнес: а вы вообще молчите, немчура. Фрау выругалась: ах ты, *der golem*. Ивановна посмеялась: будьте терпимей, это Васечка, а папа его вурдалак и мама тоже, сейчас продам чего-нибудь, а потом придет китайский городской. Журналистка переспросила: и что же, мальчик в свою очередь вурдалак? Ее руки вспотели, обогреватель пах техническим маслом. Жарил, будто афганское солнышко в девяносто пятом. И раскаленный металл автомата в руках десятилетки причинял дискомфорт, кому-то причинял дискомфорт. Еле слышно бубнило радио: цыганка баба Валя, называвшая себя жертвой этнических чисток, собиралась послать жалобу в ООН, однако не успела, в очередной раз женщина угодила за решетку за перевозку героина. Констатировать было нечего, потому что здесь не было Константина.

Как уровень гемоглобина в крови у стюардессы, у Марты растет вопрос. Чего же себе позволяет этот пожилой зумер, впрочем, судя по голосу, ему годков тринадцать, правда, вурдалаки живут столетиями. Мальчонка долбит и долбит в окно. – И это у вас, как это, штатная ситуация, он же сейчас проникнет сюда? – поинтересовалась она у крошки Ивановны. Чума выключила радио. – У нас есть даже пиво Будвайзер, будете? – невпопад сказала респондентка, ларечная тьма искусила ей все лицо. На поставленный вопрос ответа не последовало, как и не последует ответа, по какой причине на телепрограмме «Беременная в шестнадцать» каждая вторая девчонка учится в колледже на повара-кондитера. Мальчишка совершенно слетел с катушек. Он целеустремленно выламывал дверь. И настойчиво требовал: продайте «Балканскую звезду», «Балканскую звезду» продайте! Проявлял тараканью стойкость, он рвал собственную глотку на британский флаг.

Немка отметила в очередной раз, инакомыслие в здешних местах почетное качество. Откровенно говоря, спокойствие героини фильма вызывало восторг. Быть может, ей по силам передать чуточку свой уверенности по WiFi. – Скажите, ваша биография полна драматичных эпизодов, как это, вы не разочаровались в людях и теперь ищите умиротворения? – спросила Глюк. – Просто я не склонна отдавать себя на растерзание сиюминутным страстям, – набивала себе цену Ивановна. Должно быть, она и вправду алямафо. Тем не менее, человеческая образина, или как там его, умудрился отогнуть краешек двери. Жутчайший скрип. Просьба продать «Балканскую звезду» превратилась в звериные подвывания. Мальчуган давился собственной слюной. Фрау едва сдержала крик. А камера в ее руках дрожала. – Спрячьтесь под прилавком, попробую с ним договориться,

видно, Васечка почувствовал чужака, – произнесла напряженно Чума. Последовал сильнейший, как страдания Вертера, удар, затем еще один, это поломался замок. Глюк на четвереньках поползла к респондентке, возлагая большие надежды на эту маленькую женщину.

Обстановочка в ларьке накалилась до безобразия. Проказник Василий умудрился проникнуть вовнутрь. Благодаря мышечной памяти немецкая подданная фиксировала на кинокамеру царившую тут ночь тысячи ножей. Марта не помнила, в какой момент эта рядовая съемка превратилась в эротический сон с пионером-упырем. Атаковав жительницу ГДР, данный голубоглазый блондинчик учинил международный скандал. Глюк зажмурилась. Послышались причитания Чумы Ивановны: Васька, ты ходишь по тонкому льду босиком, одумайся, иностранку будут искать! Однако бездушный, словно фармацевтическая компания Вауег, дикарь не внял словам владелицы ларька. Дамочка с чудным именем вскричала. От ее воплей любовь застыла в жилах. Наглое чавканье совсем рядом. Марта мысленно распрощалась с родной сердцу тюрьмой для души. Глаз она решила не открывать. Страшась увидеть кровь. Внезапно раздался победоносный клич: кия! Затем хрипы, борьба, затем тишина. Короткий писк, аккумулятор видеокамеры сел.

Немка смотрит, рядом стоит она. Смущенно улыбается. Ее лицо перепачкано клюквой. У остатков Чумы Ивановны лежит пионер. В руках Жени лыжная палка. С острия капает варенье. Глядя на спасительницу, фрау испытывает самые положительные чувства. Тепло на душе, будто сварщику во время выполнения сварочных работ. Растрогавшись, немка твердо решила посвятить следующий фильм гражданской супруге Токарева. Обаятельная супруга могла с легкостью носить имя Зина королева воинов. Особенно, когда в ее руках опаснейшая, лыжная палка. Весьма удачная партия для слабохарактерного литератора, стоит заметить. – А вы удачная партия, как я погляжу, вы шахматы в мире, где национальная игра нарды, – произнесла Марта. Ее голос дал петуха. Евгения снисходительно проговорила: нет причин для беспокойств, моя дорогая, главное, вами не откушали на улице Жана Бокассы, а то мы вас потеряли, очень волновались. Фрау обрела уверенность, сказала, вылезая из-под прилавка: как это, невозможно забыть, легко потерять. Женечка с готовностью подхватила: именно так и говорят, ох, вы нас и напугали, поедьте скорее к нам домой на такси. Немка нехотая взглянула на Чуму Ивановну. Ей сделалось дурно. Едва сдерживая рвотные позывы, она бросилась к выходу, на свежий воздух. На улице вовсю расцветали сумеречные подснежники.

Глава 5

Если говорить откровенно, я тоже из этих

Все началось с женского оргазма, окончилось по семейным обстоятельствам. Женечка Михайловна, пока еще не Женечка Михайловна, но женский гуманоид воспрям от сна. Воспрям от сна в ангаре в стоге сена. На Евгении, теперь уже Евгении, серебристый латексный костюм в обтяжку, однако Женечка не куртизанка. Она стройна, будто объявила о бессрочной голодовке, да так и голодает на потеху пышке Мопассана. Бытийствовал знойный августовский вечер. Где-то квохтали курочки. Пищали страстно комары. По всей видимости, уж отзвучал извечный разговор про дождь, про лен, про скотный двор. И все вокруг готовилось ко сну, баранки гну. Скромно попахивало коровьим естеством, овсом, прелой травой. Основательно перепачканная в каком-то рыбьем жире, девица выразила фи. Она, словно ветер в степи, словно в речке вода, ничейная баба. Но сейчас речь не об этом. Речь об ангаре, паутинке в углу, сушеных грибах на нитке, двигателе ВАЗ-2101, накрытом пыльным одеялом.

Премило фыркнул в потемках домовый, кукушка куковала, но сломаны часы. И где-то рядышком, буквально в одном чихе две избушки шумно занимались любовью, желая завести отчего-то именно мальчика по имени бастион. Уложенные в поленницу дрова, досадно стукнулась коленкой. Походка неуклюжая, запуталась в собственных ногах. Связь с реальностью совершенно не напоминала связь сестричек Прокны и Филомелы. Женя осторожно ступает, как в той аф-

риканской пословице, вы наверняка помните, будь осторожен, когда голый человек предлагает рубашку. Совсем рядом, за пределами ангара испуганно и кричали граждане, будто им поднесли раскаленные утюги прямо к щечкам. Сердечко билось, как Пакьяо на ринге. Положение туманно, девчонка изумлена. Шаг, шаг босыми ножками по скрипучему полу, усталенному ельником, соломою. На ощупь двигалась, словно трубка гастроскопа по двенадцатиперстной кишке. Женькина печаль чужестранки кажется автору этих строк страшно романтической. В ангаре жила сказка, в ангаре было тесно размышлениям Евгении.

Леди напоминала фенobarбитал, иными словами, понравилась бы мне, вам, ему, всем, впрочем, неудивительно. Но любому фенobarбиталу тесно в стеклянной склянке, поэтому лучшее место для него космос, который, как мы знаем, есть в каждом маленьком ребенке, и мальчишке и девчонке. Леди-фенobarбитал неосознанно влекло к одному гражданину, но не будем забегать вперед или забегать в палисадник одной знакомой бабушки на Байкале, куда повадились ходить ребята, когда начинал цвести мак. Женечка не имела ни малейшего понятия, под каким знаком зодиака она родилась, страдает ли от неразделенной любви, какого цвета носки были на Игоре Талькове, когда в него стреляли. Скрипит дверь, она выходит в лето. Хмельное лето, и Женечке хорошо. Правда, непонятно, какая планета, изобрели, не изобрели глазированные сырки Б.Ю. Во сколько на этой планете ужин, она опоздала или не опоздала. В траве стрекотало. Пахнет полевыми цветочками, песок поскрипывает на зубах, упоительный вечер. Дорогуша ощупывает изогнутую, шершавую рукоятку колодца.

Она не совсем понимала, ее поколение – это поколение тридцатилетних или это поколение зумеров. То есть нужен ли ей психоаналитик, есть ли нужда заниматься гипнозом, хиропрактиками, медитацией, волонтерить в кошачьем приюте, посещать евангелистскую общину. Словом, искать, найти и перепрыгнуть. Словом, барышня страдала редким психическим расстройством, диссоциативной фугой, как говорят французишки. С пугающей периодичностью Женечка переезжала в незнакомое место, не имея там ни друзей, ни врагов, никого. Начисто забывала свое предыдущее имечко, жизнь до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Полагаю, читатели притомились выслушивать всю эту чушь. Юные читатели, мои пломбы на зубах будут постарше вас, поэтому я приказываю вам слушать эту чушь. Кроме того, я ничего от вас не таю, но таю на ресницах девочки Таи, замерзающей в иркутском подъезде на исходе зимних каникул. Эх, Тая, где ты сейчас, уехала ли к родственникам в Афины.

Женька держалась в тени, шла крадучись вдоль белого сельпо. Совсем рядышком пылал на кукурузном поле летательный аппарат. И кукурузное поле тоже пылало. Будь сейчас школьная пора, ребятишек обязательно отпустили бы с уроков пораньше, отпустили по УДО. Не каждый же день горит инопланетная тарелка. Летательный аппарат с антигравитационным двигателем, вспомнила к чему-то дева. Ей были видны возбужденные граждане. Их лица казались глиняными. Линии электропроводов едва заметно покачивались на ветру. Кострище, пожар мирового масштаба всецело захватил умы и сердца товарищей, неопалимая купина. Девушка остановилась перевести дух, который, как мы помним, гнездится в солнечном сплетении. Совсем низенько пролетел вертолет, иронично прозванный Владимиром Виноградовым ветролет. Женькино тело страшно зудело. Не ведавшая стыда девушка сняла латексный костюм. Летательный аппарат показался смутно знакомым, однако не хотелось размышлять на этот счет. В ее изумленных глазах, в ее изумленных глазах, продолжите, пожалуйста, что там было в ее изумленных глазах, я не силен в сопливой прозе.

Босые ноги шли по песку. У колонки иссиня-черная собака гавкнула, да убежала, трусиха. О, как Женя влюблена, влюблена так, что и не понимает, что происходит вокруг. Она ощущает неизъяснимую легкость. Столько таинственности, а еще эта чужая, живая речь сбивает с толку. Женечка произнесла вслух, желая услышать свой голос: кукушка кукушонку купила капюшон. Улышала. Восторженно хлопнула в ладоши. Впору уподобиться вагантам. И сочинить: здравствуй, дорогое лето, ты пышной зеленью одето, пестреют на поле цветы необычной красоты, и целый день в лесу тенистом я внемлю птичьим пересвистам. Евгения Михайловна, переставшая вдруг

быть гуманоидом женского типа. До слез, до сердечной боли желала услышать: выходи за меня замуж. И время меж собакой, волком пока еще не наступило, поэтому услышать подобное имелись все шансы. Бочком, бочком, в крапиву бы не упасть. Женька вышла к озеру. Лесопосадка, все эти березы казались такими удивительными, будто сошедшими с картин Нади Рушевой. Евгения, понимая, что времени на раскачку нет, смело нырнула в озеро, словно Уитни Хьюстон.

Прохладная водица, что фокусник, по признанию Брэдли, кажется, он сравнивал воду, то есть вода по его признанию, она распиливает. Из двух частей теперь состояла дева. Она трет лицо, смывая рыбий жир, то не жир, но машинное масло. Из камышей вылетела ночная птица, упорхнула. Мошकारа, злобное облако, жаждущее присосаться и попить кровушки. Пей, мошकारа, не стесняйся. Луна восходит яркая, и дерево вон там скрипит, как престарелый ворон каркая. Илистое дно, ноженьки вязнут. Женька звонко рассмеялась, смеялась, смеялась. Невдалеке звучала серенада, пожарная машина спешила на пожарище. Русалочий хвостик, вот чего не хватало барышне, быть может, когда-нибудь потом, когда захочется покинуть это место жительства, сменить профессию. Она мыла волосы, мама мыла раму, дочь чертила пентаграмму, впрочем, глупости, глупости. Женя поплыла вдоль пологого берега. Живительный воздух, воздух смолистый. Девушка шумно вдохнула носом, выдохнула ртом. А все-таки купаться голышом бесподобно, а все-таки умирающее тело и сухие губы, что в последний раз перед вечной разлукой произносят чужое имя, вызывают стыдливую улыбку и жалость.

Евгения Михайловна поднырнула, коснулась рукою немецкой каски, проржавевшей донельзя. Вынырнула. И увидела дуло карабина Сайга. Причудилось, дуло ружья похоже на утробу матери, где моя мать, откуда я вылезла такая миленькая. Мужчина, державший меня на прицеле, космат, корпулентен, красив. Луна освещала его морщинистое лицо, сухие, тонкие губы, глаза-черносливы, горбатый нос, патриаршую седую бороду. – Я подумал, что вы ведьма, поначалу, – усмехнувшись, сказал незнакомец. – И что же, ваши опасения не подтвердились? – спросила дерзновенно Женя, прикрывая руками грудь. – Как вижу, вы не растаяли в воде, Лот Юрий Иванович, мы живем с женой вдвоем, наши дочери учатся в городе, – представился он. Перестав целиться из карабина, Лот протянул голубое полотенце с дельфином. Схлопотать в лобешник пулю-путеводную звезду не хотелось, Женя решила сотрудничать. Юрий Иванович смущенно промямлил: если хотите, вы можете привести себя в порядок у нас дома, кстати, вы так и не представились. Евгения назвала первое пришедшее на ум имячко. Выползая на берег, она потеряла жабры и хвост, потеряла домашнее задание по сольфеджио. – Вы прямо богоматерь цветов, – улыбнулся гражданин, показывая пальцем на лилию в ее волосах. Он поднял с земли лампу. Тысячи комариков, голоса, вьются у лампы. Из расстегнутой ширинки темно-синих джинсов торчит кончик фланелевой бордовой рубахи.

Верхушки деревьев напоминали электрокардиограмму. Где-то в далеком цеху механической обработки Токарев стоял у станка. Фреза вращалась со скоростью две тысячи оборотов. С улыбкой уайериста он расчленил алюминиевый куб. Стружка оцарапала ему щеку, Женя невольно вздрогнула. Девушка была не похожа на прочих ровесниц Токарева, успевших превратиться в танки. Доверчиво и опрометчиво согласилась пойти в жилище незнакомца, дуреха. Угукнула сова, Женька едва не спросила: comment ça va, сова? В воздухе были разлиты лесные ароматы, явственно разлило можжевельником. Иголочки, сосновые шишки кололи босые ноженьки. Юрий со своим фонарем, точно ледоход, уверенно шел впереди, раскалывая сумеречные льдины. Девушка заменила за ним. Взопрела. Ее дыхание колыхало серебристую паутинку, ее дыхание колыхало все, что способно колыхаться в пределах законодательства, естественно. Они не являлись кентами, черешневый кисель на брудершафт не пили с этим Лотом. Но это все лирика. Сейчас они шагали по просеке, там еще красный квартальный столб, там еще партизаны давнешонько упокоились. Юрий не знал, что встреча с Евгенией станет роковой для него.

Чудовищный бурелом, повстречавшийся на пути, сулил неприятности. Девичьи ноги не вполне готовы к этой грешной земле, речевой аппарат не способен воспроизвести: ме. Словом, Женичкин организм был совершенно не ковчегом, пригодным для расселения на нем бактерий

кишечной палочки, хламидий, стрептококка и других. Сами представляете, ни прививки от оспы, ничего, лишь неистребимый инфантилизм. Да, мы склонны ошибаться стилистически, однако тут ошибки быть не может, в сторону мимими. Лот предложил понести на руках барышню сквозь бурелом. – Отвянь, Лот, – сказала на это барышня, – да будь вы хоть Лотман, я бы все равно не согласилась. – Ей претила мысль о том, что кто-то кроме фрезеровщика коснется ее телес. Впрочем, Женька не была с ним знакома, с этим фрезеровщиком, даже о его существовании не подозревала тогда. Когда прыгала с поваленной осины на переломанную березку. Понимаете, наитие, наитие, иначе не скажешь. Предощущение, тьфу ты, разнюнилась девка. Подобным образом детишки ожидают главный праздник в году, бар-мицвы. Она ожидала той встречи. Ладно, это все лирика и буффонада, вам наверняка наскучило авторское томление духа и бесстыжее цитирование Екклисиаста.

Обойдя длинную, как дождевой червяк, лужу Женья со своим новым знакомым вышли к полю. В сумерках лепестки ромашек, они казались голубыми, голубыми казались подсолнухи, таинственно голубыми. У огромного дуба, дуба из Калевалы очаровательный домик, пурпурная крыша, ничего лишнего, кроме чуть слышного мышиного писка. На крыльце дрыхнет белый алабай. Чуть в отдалении поросший мхом самолет. – Как склад использую, знаете ли, садовый инструмент, дровишки, – пояснил Юрий. Псина подняла голову, с ее обвислых щечек слюна, бам-бам-бам. Нежная, словно нервная система с похмелья, нежная собака лизнула руку. Иванович дурашливо гавкнул, отворил дверь цвета яблочного повидла. Зачем-то оробел, покраснел, пробормотал: так сказать, орган слуха и орган нюха ведают расположением духа, вы не пугайтесь, сейчас все хорошо будет. Женья переступила порог, спросив: чего же хорошего? – А все хорошо, вот будет хорошо, не сомневайтесь, – подозрительно пояснил гражданин.

В жилище имели место быть запахи сена, яблок, свежего хлеба. Справа большая, белая печь, заслонка распахнута, внутри пламя, потрескивают поленья. На полу шерстяной алый ковер, сложный орнамент. Женька не обладала козырной должностью, не любила балет, не знала, как платить штрафы за превышение скорости. И в то время, когда люди разобрались в квантовой запутанности, но не могли разобраться, как иной человек может сморкаться иначе. Женька в этом разобралась наилучшим образом. Бревенчатые стены, на них головы оленей с остекленевшими карими глазками. В месте, откуда прибыла Женья, таксидермия не была в почете. У нежно-каштанового серванта стояла тетенька, скрестив на груди руки.

– О, это моя так называемая жена, ее зовут жена Лота, всем она известна как жена Лота, имени своего сама уже не помнит, а дебилыне дети называют ее женщина-мудак, – представил супругу мужчина. Страна была огромна, зеленые глаза супруги Юрия Ивановича еще больше. – Сожалею, – высказалась гостя. На полках серванта тяжелые, хрустальные салатницы, ракушки, фарфоровые статуэтки детей, засмотрелась. – У вас наивные, как девочки-абитуриентки представления о добре и зле, – произнес хозяйин, подкидывая поленья в печушку. На тетушке сиреневый сарафан в белую полосочку, кремовые босоножки. Ее кожа бледна, Женька, не таясь, рассматривает крупницы соли на щечках этой непривлекательной особы. Солью покрыты ее руки, увитые васильковыми венами. Захотелось лизнуть ее руки. Дамочка будто услышала мысли Евгении. Взглянула тоскливо, вышла из комнаты. Юрий Иванович крикнул супруге: разогрей ужин и принеси прибор! – Она бревно в постели, а я дровосек, – рассмеялся Юрий Иванович вульгарно.

Лот подошел к миленькому, дубовому комоду-секретеру. Порывшись, достал розовые трусики, черную футболку с выцветшей красной надписью: бог ест любовь. – Это моей дочурки, должно подойти, а если не подойдет, мы с вами в другом месте поговорим, – дурашливо сказал он. Потом ушел вослед за супругой, попросив его не терять. Евгения Михайловна переоделась, до чего же она изящна, вылитый амазонский дельфин. Барышня прошлась по ковру, вышла в коридор, юркнула в соседнюю комнатушку, любопытства было ей не занимать. Дверцы буро-малинового шкафа Хельга приоткрыты. Салатовое кресло-кровать разложено. Цветастые домотканые половики. Красная высокая ваза, напоминающая песочные часы на подоконнике, в ней сухие цветочки, лаванда, тысячелистник, ирисы. Женька, как бы фривольно это ни звучало, прелестный

маятник истории. Она исполненная достоинства река, глубокая, глубокая, не шумит, не матерится понапрасну, не проклинает месячные. Девушка провела рукою по шершавой стене, стена подобна щеке Токарева. Синей, как изолента, стене, подобной Токареву. Который в последнее время чудом не пристрастился к бутирату, так называемому буратино. Будучи незнакомыми, они успели парадоксальным образом породниться, словно дюшес и водочка.

Вернулась к шкафу Хельга. Сколь удивительное имя, богиня навьега мира, ёк, ёк, Рагнарек. На верхней полке газетные вырезки. *Семейная пара Лот, обвиненная в причинении тяжкого вреда соседу, оказалась права.* Женечка читает, по-детски высунув язык. *Проповедник, состоящий на учете у психиатра, и его жена, страдающая острой формой солевого диатеза, напали на своего знакомого, Игоря Аврааловича Гофмана. Металлическое семечко, гладкое, с округлыми краями, извлеченное из предплечья Игоря кухонным ножом, не имеет научного обоснования, неясен характер материала, с какой целью данный предмет был внедрен в организм.* Евгения Михайловна цыкает и улыбается этому откровенному детскому саду. Иная статья озаглавлена: *и кандидат однажды станет доцентом, как обыкновенный Юрий Иванович смог приручить гуманоида.* Далее приведен комментарий Лота в соответствии с авторской орфографией и пунктуацией: *расположение глаз на территории его головы удивляло, в момент контакта с детенышем инопланетянин я испытал удовлетворение, наши с женой догадки оказались верны, семьдесят два метра это только гениталии. Они называют себя свидетелями, как семья превратилась в тоталитарную секту, поклонение черной дыре, что это, блажь или мы чего-то не знаем.*

В читальный зал неслышно вошел хозяин дома. – Я бы с радостью пристрелил вас, но портить такой замечательный экземпляр кощунство, – Юрий Иванович почтительно не пристрелил, к тому же карабина в его руках замечено не было. Мужчина стоял на пороге, нервировал. Нацепил очки с желтыми стеклами, расстегнул рубашку до пупа. На груди родимое пятнышко, формами напоминающее сердитого ребятенка. Голову гражданина венчала шапочка из фольги. Женечка искусно считывала биополе, падлой Лот не являлся. Впрочем, от него исходили пугающие вибрации. По всей видимости, у него свистела фляга. К тому же мужчина казался человеком, который простил всех своих врагов, хотя на всякий случай запомнил, его что-то тяготило. – О чем ведется базар? – наивно спросила Женечка. И так у нее обаятельно получилось спросить, Миша в это самое время там, на заводе, невольно улыбнулся чему-то. И строчки вспомнились ему: погасли свечи, ночь в окно твоё войдет в тот лунный вечер ты знаешь, что она придет, промчались годы безумия, радости и вот погасли свечи, теперь пришел и твой черед, холодным взглядом глядит она в твои глаза, она здесь рядом, а ты лежишь и ждешь, дрожа.

– Давайте пройдем на кухню, жена разогрела картофель в мундирах, отужинаем, – предложил мужчина. – Я не голодна, – высказалась Женя. Он буравил своим взглядом. Кажется, тут не было жертв, оба охотники. Правда, Евгения Михайловна охотник иного рода, она вовсе не беззащитна, как неуклюжие панды. В комнатке пахло, как после дождика, озоном, патиссонами. – Не надо противиться гостеприимству, мы не едим колбасу с антибиотиками, детка, – проговорил Юрий. – Сам ты детка, сейчас я тебе покажу паркур, костей не соберешь, – храбро высказалась девушка. Общение переставало быть легким, словно легкое дыхание И. Бунина. Костяшки черных деревянных счетов, счеты валялись у кресла-кровати, сами собой эти костяшки шелк-шелк. – Не огорчайся, в театре юного зрителя поразительно быстро взрослеешь, иного варианта для себя не видишь, – разоткровенничался Иванович. Это совсем не телепередача «Окна», обнажать душу не надо, спокойно, Женя. Девушка проговорила: ладно, пойдем, отужинаем, а то я даже не знаю, плакать или смеяться или вас порешить.

Чистая, словно генофонд в цыганском таборе, кухня. Хозяйка сосредоточенна. В руках у нее длинная гофрированная трубка, на конце трубки металлический серебряный микрофон. Оливковый ящик с тумблерами, экраном стоит на полу. Приблуда напоминала полевой дозиметрический прибор ДП-1-А, в этом даже не было сомнений. На круглом столе черная скатерть с фиолетовыми космонавтами. Яства, кровавая колбаса, салатик, зелень, вишневый пирог, картофель в мундирах. Ситуация комична, словно анекдот, рассказанный на арамейском в компании армейских

дружочков, которые ни в зуб ногой по-немецки. – Да, она, может быть, сзади пионерка, а спереди пенсионерка, но баба она мировая, – неожиданно сказал Юрий Иванович, хлопнув писюрик водки. – Давайте вас проверим, а потом откушаем, – смущенно произнесла жена Лота. Паноптикум, подумалось весело Женьке. Логика как у хлебного мякиша, у этих двоих. Еще подумалось отчего-то, в голове должно быть пусто, чтобы разбираться в современном искусстве. Искусство ли происходило кругом, кругом происходил очаровательный детсад. И все мы без исключения так и остались куковать со сторожем зимней ночью, позабытые предками.

Гражданин взял Женечку за плечи. И в следующее мгновение по-бабьи заголосил: айяйяй! Его хорошенько долбануло электричеством током. Иванович удовлетворенно сказал: до чего замечательная электрическая дуга, вы само совершенство. Жена хихикнула невпопад. А потом попросила Евгению присесть на табурет. И стала водить над гостьей микрофоном. Приборчик пренебрежительно попискивал, извещающая о чем-то таинственном. Полагаю, если бы читатели услышали тот писк, ощутили бы неприятное покалывание в области своих копчиков. Юрий воскликнул, поглядывая на экран: какова экспрессия, дорогая, только посмотри, сто миллизвертов! На полке лежали черные, пористые осколки метеоритов, от них исходило зеленоватое свечение, они напоминали яйца птички казуары. Женька, по-детски высунув язык, следила за возбужденными супругами, они щебетали. Наконец, Евгения сказала строго: хватит этого шапито, господин Ержанский, вы перегибаете палку, палка далеко не резиновая, не полицейская, вам будет очень больно.

Присутствующие обомлели. С Жениных уст слетали слова, которые совершенно не порадовали супругов. Ержанский подлинная фамилия Лота. О его проделках известно Женечке, хоть и видит она его впервые. Будучи проповедником, Ержанский руководил сектой под Рабочеостровском. Являлся талантливым руководителем, руководил руками, ногами, но чаще голосом, наломал дров. А ты всегда будь готов, читатель. Юрий Иванович не успел подготовиться к задержанию. Когда группа захвата штурмовала его коттедж. Он с бакенбардами, в золотой мастерке, с прической, как у Элвиса. Попивал на веранде мартини. Гражданин одно время редактировал журнал «Трезвость и культура» на излете восьмидесятых. Где подробно рассказывал о своих чудаковатых теориях о дальних планетах. Идеях симбиоза с грибами, которые привезли с орбиты. В нулевых организовал собственное учение, просил адептов не путать героизм и героин. Сам перепутал, за что поплатился. Сбежал в глушь, окончательно слетел с катушек. Заключил договор с Невадским институтом инопланетных контактов. Именно господин Ержанский передал им для изучения Жанну Агузарову.

Женька еще не догадывалась о том, что владела множеством языков, языком насилия, китайским, латынью, языком зверей. Неординарная девчонка Евгения Михайловна пока не осознала, какими силами обладала. Меж тем слова пытались пробиться сквозь пелену губ жены Лота, сказала бы нейронная сеть и была бы права. Хозяйка по-рыбьи пускала пузыри, хотела было возмутиться. Вместо этого посматривала на Лота, ожидая дальнейших инструкций. – Я говорю, детство ушло в молоко, но кому-то ставят прогулы на погосте, а вы блюдете, смотрю, приличия, прошу и впредь их блюсти, – с опасением высказался Юрий, едва заметно кивая своей супруге. Та неуловимым движением извлекла из духового шкафа электрическую мухобойку. Желтую, теннисную ракетку, переделанную Юрием Ивановичем в оружие ближнего боя. Именно такой ракеткой он смог обезвредить Жанну Агузарову, чтобы в дальнейшем передать для опытов Невадскому институту. То же самое они предполагали сотворить с Евгенией Михайловной. Погорели, погорелый театр больше не выдает шубы, актеры носят имя и фамилию Сергея Дружко.

В кухне моргнул свет, киноактер Евгений Моргунов в старости похож на режиссера Хичкока. Семейная пара подверглась невиданной ранее атаке. Иррациональное порою увлекательно, но лучше бы мы изучали алгебру, а не лезли и не искали карачун, запоздало подумалось Юрию Ивановичу. И началось представление, от которого души супругов ушли в пятки. Едва слышно зазвучала тема мечты Алексея Рыбникова из советского приключенческого фильма «Полет с космонавтом». И Женечка открыла собственное лицо, словно ставню, преспокойно это сделала, с некоторой грациозностью. И в глубине головы Лоты увидели дождь из коров, кислотные,

космические пейзажи, не предназначенные для проживания девятого Бэ класса. Супруги познакомились именно в девятом классе. Их дразнили жених и жених, супруга Лота носила короткую причёску, предпочла косноязычным пацанам болтливую Юрия Иванова. Расхаживала такая независимая, как Сигурни Уивер в кинофильме «Чужой» по школе с зонтиком, спасаясь от слюны. Спасаясь от слюны, что текла у ребятшек, стоило им заметить ее, независимую, как Сигурни Уивер. Юрий и его женушка испытали эсхатологический ужас, ведь в детстве не надевали по заветам родителей шапки. А зимы бытовали суровые, мозги застудили себе оба. Стиль превыше всего, неформалы не носят ушанок и подштанников, скажет читатель и будет прав.

Женя продемонстрировала семейке Лотов, что мы живем в стеклянном шарике. И вместо снега тут падают буренки. А потом показала: наш стеклянный шар находится в еще одном шаре. И этих шаров очень много, очень. От подобной информации Юрий с женой были вынуждены окаменеть. Слово Зоя Карнаухова в Куйбышеве в пятидесятых. Милашка хмыкнула, глядя на остолбеневших граждан. Вышла в коридор. Покинула жилище. На улице до безобразия стемнело. Пахло еловыми шишками, черные росинки на траве словно остекленевшие глаза оленей. Капли света уличного фонаря, кап-кап. Освежающий воздух прильнул к Жениному лицу. И напоминал тот воздух котенка, мальчишка его не утопил, послушался бабу. Не знаю, отчего этот образ с котенком и бабушкой сейчас припомнился автору данных строк, просто припомнился.

Где-то рядом приветливо залаял белый алабай. Под навесом стоял горчичный узик. Евгения Михайловна, осторожно ступая по хлебным крошкам на подъездной дорожке. Проговаривала вслух: оки-доки, подружка, ты обворожительна, но ты не казашка. Желтые собачьи глазенки сверкали во мгле. Животное было клонировано и подарено невадским институтом семье Лота. За определенные услуги, оказанные Юрием. Женя подошла к автомобилю, дверь не заперта. Ключ вставлен в замок зажигания. Джаз, исполняемый желудком барышни, вызвал смех читателей. Она чувствовала, надо ехать, впереди коммунизм и встреча. Что за встреча, Женя не знала, какое-то наитие. Буханка заводилась неохотно, двигатель за, за, за, заикался. На торпеде валялась бордовая пачка сигарет ора, желтая пластиковая зажигалка. Женечка закурила, закашлялась, по-дуспокоилась. Наконец, мотор взревел.

Дева ни разу не управляла тачкой, прав не получала, в одичалых очередях не стояла и в баночку не писала. Первый же милиционер был вправе пристегнуть ее наручниками к батарее, потребовать объяснений. Евгения Михайловна не боялась сотрудников мур-мур. Чего бояться врезной кратоске. Лобовое стекло хлестали ветки деревьев. Лилейные голоса ночных нимф сбивали с толку. По тонкой, фарфоровой руке Жени полз мотылек. Девушка притормозила, свернула на проселочную дорогу. Тонконогая птица неловко засемила прочь от машины. В канистре плескался бензин. Евгения обернулась. В салоне узика помимо канистры валялись старые журналы с полуголыми девками на обложках, лыжи, саквояж, резиновый красный мячик с двумя полосками. С важным видом Женя крутила баранку. Оставила позади полустанок, выехала на шоссе. Редкие автомобили проносились мимо. Все так же непослушных детей кормили стрихнином, все так же супруги изменяли мужьям. Пахнуло жженым сахаром. Желтая дорожная разметка. Справа и слева лес. Интересное расположение мыслей в гипоталамусе, отметила девушка, заглядывая в голову Токареву. Благодаря развитой телепатии.

Женя сбавила скорость на перекрестке. Заглянула в бардачок. Внутри лежал складной нож французской фирмы Opinel, бутерброд с паштетом из гусиной печени в фольге. Подвесной светофор горел зеленым. Дева укусила бутерброд. На балконе ближайшей хрущевки висел китель. В этой ночи все восхитительно, подумала Женя с набитым ртом. Метрах в двухстах, на парковке суетились граждане. Малышка решила попросить у них водички. Буханка отказалась заводиться, мотор заглох. Мотор, словно вредный мальчишка. Евгения покинула транспортное средство. Естественно, не забыв пожурить себя за то, что не заморочилась и надела первые попавшиеся бирюзовые кроссовки в доме Лота. Они были чудовищно малы. Женя, прихрамывая, перешла дорогу. Из джипа с наклейкой осьминогом на лобовом вылезла корпулентная тетенька с рыжими, кудрявыми волосами. Она могла быть Таней, а могла не быть. – Что же вы так опаздываете,

Евгения Михайловна, я вам сейчас доведу порядок выступлений, – бросилась к Женьке эта тетка в черном кимоно со значком зеленой чаши и змеей на груди. – Не смей ее доводить, – высказался парнишка, похожий на певца Витаса, воротник болотной водолазки скрывал его жабры. Он подбежал в своих коротеньких джинсах цвета кильки в томатном соусе, пожал руку.

Женьку приняли за Евгению Михайловну, пропавшего недавно ведущего психиатра области. Пошлость, конечно, простое совпадение. Девушке сообщил Витас, дескать, у них у всех одна группа крови, к чему этот пассаж, должно быть, он имел в виду медиков. У всех медиков одна группа крови. Из багажника высокие мужики достали коробки с медикаментами, они шутили, смеялись, экспериментальные препараты всегда смешно. Витаса звали Володей. Он галантно придержал стеклянную дверь. По всей видимости, Владимир был интересным, словно Альберт Хофман, человеком. Его красноречие и знание аптечных препаратов, да он почти академик. Сомнения в том, что наша Женья та самая Евгения Михайловна, чудесным образом растворившаяся в пятом измерении. Эти сомнения быстро развеялись. – Да, знаете ли, совсем потеряла счет времени, устроила для себя сабантуй, простите, – хихикнула будущая жена Токарева, – совершенно позабыла про конференцию. – Ее привели в нарядный актовый зал, зеленые шарики, столы, подносы с шампанским, ломтики огурцов, перцев, сыр.

Молодые специалисты попивали игристое. У кафедры стояла малышка, рассказывала сказки туманного Альбиона. И благосклонный мрак раскинул над ними тихий свой покров. Женечка присела в первый ряд. На покатых лбах коллег блестели капельки пота. Телевизионщики снимали выступающую дивчину. На ней джинсовый комбинезон, у нее стрижка каскад, ее розовые губы спасут науку. Она говорит об общей семиотике психических расстройств и методах обследования в психиатрии. Говорит: патогенез. Говорит: клиническая картина. Говорит: лечение и профилактика. Евгения Михайловна заинтересована. Критерии вменяемости, невменяемости, полагала Женька, необходимо знать каждому. Чрезвычайно милые люди окружали будущую супругу Токарева. Малышка с щербинкой, как у Николая Караченцова, у кафедры хороша. Малышка разошлась, ее фамилия Менделеевич. Сообщает присутствующим: таким образом, судебно-психиатрическую экспертизу необходимо проводить на месте, по горячим следам. Ей аплодируют, на нее приятно смотреть, как на японскую корову, иными словами, Вагю.

Рядышком с Женькой сидит Карина Ивановна, нарколог, и она поддата. Карина Ивановна похожа на маленькую Веру, ее страсть алпрозолам. У нее малиновый Nissan, она в разводе. Дома режет продукты на прабабкиной доске Уиджи. Ее забавляет, как синяя тушка курицы оживает. – Менделеевич такая дура набитая, вы не находите? – интересуется Карина у Женечки. Наша крошка пожимает плечами, ей претят кривотолки, ей претит крысиное поведение своей новой коллеги. С помощью дедукции, скорее, индукции Евгения могла вывести проходимку на чистую воду. Тем не менее, вечерок был изумительный, портить его выяснением отношений моветон. Будь ты хоть трижды Антигоной, а совесть надо иметь. Ушлые, лощеные парнишки пытались впиться клыками в шею. Посылали воздушные поцелуи, кланялись. Карина Ивановна посмеивалась. Ха-ха-ха, думала Карина Ивановна, надо быть решительным, словно Роскомнадзор, а иначе потерпите фиаско. Праздно болтать, что может быть скучнее, действия, нужны действия. Менделеевич тем временем читала выдержки из сочинения своей дочки, страдающей синдромом дефицита внимания, Таньки.

Евгения Михайловна попивала морковный сочок. А за кафедрой осанистый гражданин с фамилиями Корсаков, Бехтерев, Аспергер и Кашенко. Седоусый, искусный болтун, чешет о грехах отцов. Его лицо, что патиссон, его узловатые, длинные пальцы постукивают по банке с эмбрионом, неестественно двухголовым. Женечку ничем не удивишь, она уже встретила мысленно Мишу. А если его повстречаешь, то, как говорится, не забудешь, он, как студенты из Камеруна. Профессор говорит об эпилептических приступах своих студенток, говорит, шипы терновника в их грудных клетках, терновники туда посадили отцы, трагедия. Нить повествования ускользает. Женья слышит о Гиппократе, о священной болезни эпилепсии, о студентках. Девушка покидает конференц-зал. Впрочем, она знает, нельзя покидать горящий дом, чтобы

забыть о пожаре. Многословие, какой-то порожняк, фи, подумалось Женьке. И это называется психиатрия, гидры, химеры, гарпии поинтересней. Барышня смолит в туалете. Она видит чужие реминисценции, истинные воспоминания той Евгении Михайловны, растворившейся в черном вигваме.

Наша Женька видит иную шестнадцатилетнюю Женю в клозете медицинского училища. Мерзопакостный запах мочевины, запах, подобный Каспару Петрову, он уколошил тридцать восемь старушек. Лучшая подружка Надежда переехала в Набережные челны. Прощальный подарок Надежды, коробок с майскими жуками теперь уж не пел серенады, засохли жучки. А из Читы пришло письмо, матушка писала, дескать, гордится, дескать, Женька теперь станет настоящим психиатром. Сможет врачевать души брата эксгибициониста, прабабки Плюшкина, дяди Сережи с паническими, пуническими расстройствами. На двери кабинки кто-то изобразил шприц, сердечки, строчки Аннушки Горпенко. *Ты в сравнении с хлебом совсем не насыщенная, то ли хрупкий росток, то ли горный хрусталь, радость жизни моей, неизвестность зовущая, как удачный побег в предассветную даль.* Совсем недавно сдала сессию. Теперь мерещились абсцессы. Торчков осматривала в стационаре на практике. В многообразии галактическом не безобразничала. Тянула лямку психиатра, допоздна не гуляла, ни с кем не спала понапрасну. Не закладывала паспорт в ломбард, чтобы вымутить денюжку на энергетические напитки.

Евгения Михайловна, вынуждены уточнить, Евгения Михайловна, которая гражданская жена Токарева. Докурила. В туалет, деликатно постучавшись, вошла Карина Ивановна, успела где-то протрезветь. – Дорогуша, – говорит она, – там все тебя ждют, хотя послушать о взаимосвязи аутоагрессивного поведения и социально-психологической адаптации подростков. Прошлая, настоящая Женька помогала трудным подросткам, любителям селфхарма, это ее профиль. Нынешняя Джейн была способна вылечить шизофрению одним своим взглядом. Ее глазки, что снадобья, адамова голова, полынь и сон-трава. Лишь повстречав русского писателя, барышня с изумлением поняла, тут уж она бессильна. Русский писатель деловая колбаса, докторская колбаса. Когда девушка с ним сойдется, он будет грибами из Рязани. Он будет крайне нестабилен всю жизнь. Недаром Лев Лосев скажет в дальнейшем: земную жизнь пройдя до середины, я был доставлен в длинный коридор, в нелепом платье бледные мужчины вели какой-то смутный разговор, Миша, не повторяй моих ошибок, тебе еще детей рожать. Евгения Михайловна сказала Карине Ивановне: я сейчас подойду, любезная, вы пока ступайте, как говорится, людской молвы невелико значенье, и ничего сильнее правды нет. Новая коллега покинула сортир. Какая пленительная интригантка, помыслила Женька. Поигрывая багровым, элегантно щупальцем.

Глава 6

Так сказать свадьба, иного не сказать

Продолжая наш томный разговорчик, хотелось бы отметить, само собой, не касаясь подробностей, ибо рискуя скатиться в обстоятельные блаблабла. Дорогая, речь, кажется, шла о фенибуте. Любая недоросль вам безупречно ответит, ноотроп входит в аптечку космонавтов. А меня величают на заводе по-прежнему писателем, однако тут разногласий нисколько не наблюдается. Фенибут это творение господина Всеволода Васильевича Перкалина. Я к чему, всего-то гамма-аминофенилмасляная кислота гидрохлорида. Однако сколько пользы и блага. Извлекать из холодного космоса не по-щучьему велению, но по милости фармакологии. Извлекать из холодного космоса, как из погреба мешки с взнезменной картошкой. Может показаться, этот патентованный лошок, или попросту медведка, что неумоимо роет мерзлую землю предков. Может создаться впечатление, медведка дает волю фантазиям, излишне поэтизирует. И самое время освободить ту медведку по принципу Югославии от заблуждений. Дорогая, к той медведке однажды обратились химики, они выказали почтение, назвав самым главным потребителем фенибута в стране. Милостиво попросили поучаствовать в создании улучшенной версии аминокислоты.

– Миша, ты тяжело зависишь от аптеки, – сказала стыдливо супруга Джейн. А на ней бежевый полубух, добротные каштановые валенки. Кажется, слова Токарева ее печалят, еще бы. Помимо слов мужа поводов для волнения у девушки предостаточно, это она повесила Саддама Хусейна, это она придумала Рош ха-Шану. Меж тем шипела, как таблетка АЦЦ в стакане воды, какая-то гофрированная трубка в рейсовом автобусе. Видеокамера Марты трясется, тарантайку подбираывает, местность ухабиста. Тарантайку заносит на льду, чтоб тебя, водитель, ты везешь вовсе не картофель. В салоне душно и пахнет перезревшей рыбой, незрелым потом, тройным одеколоном, бензином. Кресла, обтянутые черным дерматином, хрустят под жопами. Журналистка подышала на заиндевевшее окно. За ним она почти увидела Гавайи, которые совсем уж скрылись под водой. Или то не Гавайи, просто Наталии в десяти подштанниках, но коротеньких кожаных юбочках дефилировали вдоль обочины. Поземка, гололед, сугробы, зато микробы не размножаются. Марта Глюк ехала с молодоженами на их свадьбу. Незамысловатый сюжет, вечная зима, хотя уж март, церемония бракосочетания в ебеньях. Где ж прятный дух марта, озадачилась фрау.

В автобусе немногочисленно, а кому-то жить без снега трудно, подумалось весело Глюк. Что русскому хорошо, немцу тоже ничего. Посматривала с подозрением на соседа, силуэт мужчины, состоящий из белого шума. Сосед в шляпе, держит портфель на коленях, кстати, портфель тоже мельтешил, как телевизор. Полы его шумной дубленки развевались, сквозняк. Силуэты старушки с внучкой в самом хвосте. Их наполнение профилактика. Белые, желтые, бирюзовые, салатовые, фиолетовые, красные, синие полосы. Фрау снимает иконки на приборной панели. Увеличение у камеры хорошее, оптика способна увеличить рубль до тысячи. Журналистка фокусируется на прорезиненном коврике на полу. – Бабушка, покажи свое пенсионное удостоверение, – просит, смеясь, деточка. Немка снимает родственниц. Профилактическая, пожилая дама приближает профилактическую внучку, говорит: когда тебе выдадут пенсионное удостоверение, ты поймешь, что значит быть женщиной, Матрена, повышенный интерес мальчишек тебе обеспечен. Марта задумалась, покой нам только снится, курица не птица, Крым не граница. Собственная пенсия не за горами. В Иране пенсионерки не читают куртуазную прозу. В Голландии пенсионерки разгадывают кроссворды голыми. Что делать на пенсии, хватит ли ума не путать pencil и penis. Да, вопрос на миллион вставных челюстей.

Они скакали, словно игральные кости, по кочкам. По кочкам, по маленьким лесочкам, в ямку бух, провалился Винни-Пух. Продолжит сообразительный читатель и будет прав. Камера Глюк была нацелена на молчаливого литератора. На нем праздничный ярко-желтый спортивный костюм, старомодный бежевый плащ, бордовый свитерок Миша снял, духота неописуемая. За окном выгуливали пуделя. Малышня, воспитанная искусственным интеллектом и Зошенко, везла на саночках захмелевшего деда мороза-отца. И жить было не поздно и не стыдно. Был только этот красный автобус ЛИАЗ-677, прозванный в народе луноходом, лупоглазым и божьей коровкой. Предстоящая свадьба, словно музыкант Lil Peep, вызывала противоречивые чувства. Сама Марта так и не оправилась от потери Клауса, это понятно. Глюк вспомнил вдруг иранец Аму Хаджи, не мывшийся шестьдесят лет, он дожил до девяносто пяти, а потом помылся и скончался. Казалось, стоит Мише помыться, как уйдет все обаяние, вся эта дикая литература. Марта знала, животные, которые проживают с нами, становятся ручными, а граждане, общаясь друг с дружкой, становятся первобытными мудаками.

Их луноход, словно Юкио Мисима, неумоимо приближался к харакири. Каким бы отморозком ни казался Миша, его художественное многоголосие могло сбить с толку авангардных ребяташек. Решивших познакомиться с трансгрессивной прозой маленького человека. Он далеко не сигмабой, поэтому зарыдал, словно дружки Кенни Маккормика по своему нерадивому однокласснику. Крупные слезы-виноградинки выступили на его глазах, покатались по щекам. Женя сохраняла змеиное спокойствие. Глюк снимала лицо литератора. Губы дрожат, из носа бегут неуклюжие ручейки. Что это с ним, должно быть, волнение перед свадьбой, хотя кто его знает, чужие уши потемки. На задней площадке автобуса силуэты парня и девчонки целовались. Белый шум их телес. Крепкие, интересные с точки зрения любви объятия. Миша всхлипнул. Немка обрати-

лась к Евгении: Женя, надо ли что-нибудь сделать? Супруга меланхолично улыбнулась, достала пузырек валокордина. Ее сумочка из крокодильей кожи отголоски буржуазной революции. Токарев скривился, наматывал на кулак сопли. Фрау сделала выводы, люди девяносто шестого года выпуска склонны к излишним сантиментам. Женька накапала валокордина в бутылочку с минеральной водой, напоила своего гражданского мужа. Фенобарбитал помог, а народу тутси в Руанде никто не помог.

Евгения Михайловна сказала смущенно на камеру: понимаете, его прадед поляк, полякам свойственно впадать в крайности, бывает, на него накатывает, понимаете, телячьи нежности, кого-то может напугать, но вы не пугайтесь. Глюк поглядела в окно, там шли кришнаиты в ярких, нелепых одеждах вдоль обочины. У журналистки пересохли губы, губы напоминали тельце мухи, прилипшее к полоске скотча. Марта вспомнила одного польского ухажера. Тучный, прожорливый юноша в киношном, любитель фильмов про Шаолинь. Настырный такой, постоянно шантажировал, дескать, бросится в реку. Если Глюк не пойдет с ним на свидание. Фрау оставила любителя немецких попок в прошлом. Эти потешные мемуары заслуживали экранизации, усмехнулась собственным мыслям она. – Сколько абзацев я еще напишу, – задумчиво сказал Миша, – мама дорогая. – Солнце слепило. Снег-не стерильную вату прикладывали к разбитым губам два полуголых мужика на остановке. Чего-то не поделили, бабу или проездой. Рядом валялись их шубы, рубашки, шарфы. От влажных, красных тел поднимался пар. – А расскажи, как это, фенибут, – попросила немчура героя своего фильма.

Мне пришлось идентифицировать их как прибалтов. Да, я поспешил с выводами, наших советских ученых среди них тоже хватало. Впрочем, консилиум, собранный по случаю тестирования нового препарата, был безупречен. Слово млечный путь или кроссовки New balance. Я прибыл в назначенное время в назначенное место. Естественно, возбужденный и нетерпеливый. В некоторой степени нервозный, как стая бродячих собак. Опыты проходили в некоем институте. Бытовал февраль. Явился туда в приталенном, серебристом пиджаке с выпускного. На вахте меня спросили, кто вы такой, вход строго по резолюции, а людей с поллюцией мы на дух не переносим, а мы видим вас насквозь. То есть я хочу сказать, обстановка была серьезная, мероприятие проходило по высшему разряду. Пока не явился куратор, некто Александр Всеволодович, пускать отказывались. Представьте себе, тогда была страшная параноя у людей. Шпионаж, свинина, накачанная антибиотиками, меченые кутюры. Курам на смех, а чего же поделаешь. Словом, Александр Всеволодович провел меня запутанными, как сутры, коридорами. В приемную, поразительно похожую на приемную моего диспансера. Приставленный куратор величаво постучал в дверь с табличкой: испытательный цех.

И мы вошли. И для меня померкли краски. В те достославные времена я до ужаса боялся врачей. Подозреваю, это было болезненное влечение. То есть, видя медсестричек, испытывал трепет. К тому же пространственные искривления целкал как семечки. По этому случаю мне даже грозились дать майора, не срослось. А медички падки на шоколадки, поэтому в карманах у меня постоянно водились Аленки. Медсестры мастерски отламывают горлышки ампул. Я всего лишь ампула в их руках. Куратор поприветствовал кудесниц Лиду и Розу. Серьезные дела делаются в тишине, подумалось мне. На столе великое множество пробирок, пузырьков. Кушетка в углу. Мне измерили давление, почечное повышенное, у нас это семейное. Потом решили сделать ЭЭГ, надели скафандр, облепили присосками. Вели разговоры между собою. – Верните остров Хоккайдо и не дурите, нет, мало проблем, надо начинать барагозить. – А я решительно не понимаю, все прутся в Карелию на каникулы, а можно переться от композиции Vangelis alpha. – Лидочка, у вас новые духи? – Зато грехи старые, ах, мне их подарили на четырнадцатое февраля! – Миша, – спросил Александр Всеволодович, – у тебя ведь четырнадцатого день рождения? – Так точно, – подтверждаю, облизывая сухие губы. – Ой, как здорово, – восхитилась Роза. Рыженькая, словно морковный пирог, девка. – Мозговая активность высокая, – заметила Лидка, у нее высокие скулы и прическа каре. Она следила за показаниями приборов. Куратор поцокал языком. Произнес: а то, мы кого попало не набираем. В кабинет вошли ученые, с интересом уставились на меня.

Их лунообразные, благодетные лица по-детски наивны. Однако я не заблуждаюсь на их счет. Они бывали в космосе, как Юлия Пересильд. Опытны, как пересидки из Воркуты. Участники консилиума напоминали мне поэта Рафаэля Воячека. Тот выбросился из окна, сказав медикам, дескать, торопился на свидание, не было времени, чтобы выйти через дверь. Азартны, жадны до впечатлений, экспериментаторы, вовсе не любовники Мельпомены. Скорее, миньоны. Их подтяжки говорили о многом, как минимум о том, что им наплевать на моду. – Как самочувствие? – поинтересовались. – Вполне, – говорю, – интрижки не волнуют. – Один представился Хулио Геннадьевичем. Остальные никак не представились. Думаю, им пальцы во рты можно ли класть или все-таки не рисковать. Лидка решила меня склеить. Присела на кушетку, поглаживает коленку вашего покорного. Строит планы на майские праздники, шашлычок, мангал, пиво, речка. О вечном тоже не забывает, фантазирует, какие детишки народятся. Вспоминает свою сестрицу. У той появилась дочь, сестрица сказала, ну это дичь, хотела мальчика. Лидочку попросили не волновать подопытного, иначе испытания нового препарата придется перенести.

Помнится, выразил сомнения касательно подлинности ксивы, которую показывал при встрече Александр Всеволодович. Презабавная паранойя, мать ее. Я уподобился композитору по имени MF Doom. Тот всегда носил металлическую маску, страхась быть опознанным любителями хип-хопа. Роза принесла грушевый компот в граненом стакане, я смочил горло, поблагодарил. Поставил крестик в документах о неразглашении, они обстоятельно подготовились. Нежность взгляда Лидки грозила мне новым предательством. – Вкусный компот, давайте повторим, – попросил я. Понимаешь, Марточка, в жизни каждого творческого человека наступает момент и нужно проиграть в битве экстрасенсов или пенсионерам в лото. Я бесконечно утрирую, моя дорогая, но в одном не утрирую, иногда проигрыши полезней выигрышей. Однажды хочется простого, страстного танго с Марьяной Романовой из битвы экстрасенсов. Я отвлекся, возвращаемся в испытательный цех. – Миша, – сказал обезображенный интеллектом доцент Княжицкий, – ты аптечный ковбой по зову сердца, твои рекреационные мероприятия довольно экстравагантны. У него свекольное личико, голос что серебристый ландыш, юношеский, седая борода клинышком. Сообщаю ему: за образ жизни не принято спрашивать.

Господа ученые лилейно улыбались, такие смешливые, кошмар. С некоторым опасением говорю им, дескать, вы уж поаккуратней. Мне третья реанимация ни к селу ни к городу. Тогда я еще не встретил на птичьем рынке Женечку, свою голубку. И любое чаепитие без должного контроля могло закончиться реанимашкой. Александр Всеволодович успокаивает, говорит, резервация моей души не пригодна для проживания индейцев, Миша, ты индеец. Посмеялся еще над моей красной повязкой на руке, назвав дружинником. Да, Марточка, я был в те времена контркультурный мальчик. Как сон Веры Павловны или последняя любовь соседки Ольги Марковны, пристрастившейся к опиуму на старости лет. Это не вендетта, это техника связывания людей веревками шибари, подумал я относительно ситуации. – Давайте уже начинайте свои эксперименты, – говорю, поскучнев. – А мы уже начали, сто миллиграмм в компоте, который вы выпили, – сообщил Хулио. Какие же вы марокканские апельсины, подумалось мне, обхитрили. Лидку попросили сопроводить меня в приемную. – Михаил, давайте я вас уведу из царства ученых степеней, – заигрывала девица. Не поверите, Марточка, накануне она приснилась, эта Лидия. Она была обнажена, просила растегнуть ширинку и насыкать на нее. Однако я не насыкал, сказав нет, дорогая, второй раз я не буду этого делать, потом еще постель стирать.

В приемной под пальмой уселся. На стеклянном журнальном столике россыпь книжек. Флегматично поглядел на лиловый абажур. Близкие люди видели меня кошечкой, которую кладут на грудь. Она мурлыкает и непостижимым образом высасывает переживания, слезы хозяина. Я не совсем понимал, когда начнет действовать препарат, каковы будут эффекты. Некоторые изменения в состоянии начал замечать совсем скоро. Должно быть, прошел февраль, наступил март. Легкое покалывание в кончиках пальцев. Здоровье нации в ту пору меня не особенно заботило. То есть я даже не посещал зубного или участкового педиатра. Страхась возможных диагнозов. Тебе доподлинно известно, Марта Глюк, о хронической ипохондрии, свойственной герою твоего фильма. Ежедневно

я находил у себя симптомы недугов. Деля неутешительные выводы, прощался с друзьями. В те периоды будто звучали слова Михаила Танича на музыку Шаинского. Ты, должно быть, милашка, не знаешь тех слов, тебе простиительно. На дальней станции сойду, трава по пояс, зайду в траву, и без меня обратный поезд растает в шуме городском.

И тут я нырнул щучкой в буйствующее фармацевтическое море. Действие, подмешанного в компот препарата напоминало поездку на престарелом осле. Марта Глюк, я сейчас размышляю, как бы получше описать то состояние. Пожалуй, чатланин под четвертым коктейлем северное сияние мог бы разыскать нужные слова. По всей видимости, я не чатланин. По всей видимости, время до безобразия сжалось. То есть, конечно, в окружающем мире за восьмой класс ничего не поменялось. Однако я ощутил перемены в себе. Сделался чрезвычайно медлительным, а мозг работал в ускоренном ритме, в темпе вальса. Тело не поспевало за ним, минута превратилась в час. Я поскучил, пока подносил руку ко лбу, чтобы почесать свой испещренный шрапнелью лоб. Прошло, быть может, около получаса. Организм действовал на пределе возможностей. И все равно не поспевал за мозгами. С грациозностью лани бежали мыслишки. Словом, времечко сжалось до размера любви к отпрыску, получающему эстетическое удовольствие от причинения боли котяткам. Чудовищно медленный полет зимней мухи, ее фасеточные глаза. Заторможенные голоса ученых за дверью.

Ожидание длилось не более десяти минут, но для меня прошло, быть может, часов десять. Я успел прочесть две книги. Прочел бы значительно больше, руки устали. Страницы бойко рвали, столь стремительно перелистывал. Где-то едва слышно звучал *sex pistols*, в переводе сексуальные пистолеты. Пахло лаком для волос. Опростоволосились господа доценты, оставив меня без присмотра. Одна из книженций была про зиготу, беременность и сопутствующие пердимонокли. Марта Глюк, я стал акушером-любителем, скажу тебе без ложной скромности. Должно быть, ты воскликнешь, что за анахронизм, дети, токсикоз и никаких дискотек. Фееричное путешествие ста миллионов сперматозоидов к яйцеклетке. Знакомо ли тебе понятие кунжутное семечко? А начинается все буднично, случайная овуляция с бывшим одноклассником. И ты на него смотришь и думаешь, если вы сейчас же не организуете ребеночка, страна погибнет. Первый триместр, сформировался головной и спинной мозг, руки, ноги, органы. Второй, третий триместр, ваш плод почти созрел. Но все-таки Акелла промахнулся, моя дорогая, ложная беременность.

Полагаю, орнитологический справочник, прочитанный сразу же после справочника по акушерству. Менее интересен тебе, как специалисту в области сердца и прочих органов Дэвида Линча. Забавно, сейчас рассказываю, а у самого перед глазами мелькают картинки. Гагары, жаворонок и дятел, додо, дрофа и дубонос, жулан, зегзица, мандаринка, лысуха, медосос. Не будет лишним заметить, птичьи повадки чрезвычайно любопытны. Быть может, мы похожи на них больше, чем на обезьян. Сообщу тебе без ложной скромности, орнитолог-любитель из меня получился посредственный. По прошествии десятиминутных десяти часов объявился Александр Всеволодович. Брел ко мне через всю приемную целый год. Казалось, куратор издевается, казалось, он участник шоу Бенни Хилла. Его шаги медлительны, за такие шаги по головке не погладят ни в одном нормальном заведении. Пока он шел ко мне через всю приемную, успел поразмышлять о магии околоплодных вод, глупости, разумеется.

Он был восторжен, словно ссыкуха во время вступления в запрещенную партию Лимонова. Как ты помнишь, дорогая, тогда еще не властвовала демократия. И апатия нас не одолела. Поэтому я воспринял нарушенную дикцию Александра с оптимизмом. Его речь точно записали на пленку, проиграла задом наперед, а потом эту звуковую дорожку воспроизвели как полагается. Гражданин общил, дескать, все чики бамбони, все идет по плану. – Какой же чики бамбони, вы черепаха! – воскликнул я. И с удивлением заметил, мой речевой аппарат изумительно деградировал. Зимняя муха продолжала лениво нарезать круги. Всеволодович нахмурился, потом разулыбался, прищурился, стал похож на бурята. Мариночка, то есть, конечно, Марточка, происходящее казалось мне таким нелепым. Женька, она же евгеника, она же учение об улучшении человека при помощи селекции, не даст соврать. Именно тогда, в приемной осознал. Я своего рода Эдвард руки-ножницы, нежный до безобразия, эфемерный. И не всегда контролирую себя, хочу обнять, но причиняю боль. Свидетель-

ство неизлечимой пустоты, вот что такое моя литература. Потешно, моя дорогая, день за днем вспоминать, вспоминать о нереальности происходящего. Довспоминался, гутен морген, ептить.

Александр Всеволодович быстро сориентировался, спустя каких-то полчаса по моим ощущениям. Сказал, дескать, мозг слишком быстро обрабатывает информацию. С подобной скоростью кислотная кровушка ксеноморфа растворяет стены звездолета. Да, фантазия у нас, Марта Глюк, как у Миядзаки. Мы с тобою рождены врачевать души хулиганов, домохозяек. Футбольных фанов, татарина, что печет пироги в булочной. Врачевать души несчастных подростков, бостонских душителеей. Мы это фея Динь-динь, наши фильмы и книги волшебный порошок. Вернемся к тому февральскому дню, вернемся к испытаниям препарата. – Миша, – произнес куратор, – ты настоящий покемон в значении, ты меня понял, в общем. – Я его не особенно понял, но вида не подал. Иначе очко ушло бы в зрительный зал, как говорится. – Эй, морячок, – обратились ко мне Лидка и Роза, они тоже оказались в приемной, – как ты поживаешь? Девичьи квельные голоса показались особенно неприятными. Примерно тогда же я придумал повесть, посвященную Женечке, с которой нам только предстояло повстречаться. А название у повести такое: мы встретимся с тобою вновь на четырнадцатой странице моего паспорта. Сочинение начиналось следующим образом: я лук, выращенный на окне Джанни Родари, боюсь, ваше доверие ко мне, очаровательные близнецы, как и душа, не сможет вернуться в то место, которое оно покинула. – Боже мой, мы совсем забыли, он же пьет нейрорепттики, действие экспериментальной сыворотки двадцать четыре часа, боже мой, каждый час для него будет равен десятилетию! – неприятно порадовал меня Александр.

Рассказ литератора на самом интересном месте прервала Евгения Михайловна. – Дорогуша, мы приехали, ты, наверное, утомил нашу Марту. – Глюк захотелось горячего кофе, горячего, как чеченец. Она выключила камеру. Автобус притормозил, едва не завалился набок. Страшная гололедица могла стать причиной кончины выдающегося немецкого кинематографиста. Молодые люди и фрау осторожно, как пингвины, шли к выходу. Водитель уморительно рассмеялся. Он глядел на телефоне видео с пандами в китайском зоопарке. Животные нелепо падали с деревьев, падали с качелей, они самозабвенно пытались себя укокошить. Двери открылись, Марточка ступила на заснеженный берег. Метрах в двухстах деревянные, почерневшие избушки, крошечные птеродактили кружились, каркали. Послушать меня, так одна безнадега. Было кое-что позитивное. Журналистку и героев ее фильма встречали граждане на остановке. Делегация молодости нашей, делегация, без которой нам не жить. Косматый, бородатый мужчинка в лазоревом, блестящем пуховике, стильных, пурпурных кроссовках и темно-голубых школьных брюках привлек внимание моментально.

Это был Псой Короленко. Он пел на мотив «Под небом голубым есть город золотой». Пел, сопровождая себя на синтезаторе: под сыром голубым, на рисе овощном лосось норвежской выделки соседствует с тунцом, а рядом с ним лежит огромная свинья, и это все распробуем сегодня ты и я! Наша фрейлина сражена наповал. Словно малярийный комар, застреленный из дедовского ТОЗа. Глядя на незнакомого певца, хочется одновременно плакать и смеяться. Как это говорится, берет за душу. Токарев театрально рассмеялся. Вычурно произнес: друзья, прекрасен, что называется, наш союз. Граждане стали обниматься, как это, брататься с Женечкой и литератором. Глюк рассматривает лица, они весьма благостны. Никакой организованной преступности на их лицах немка не наблюдала. Элементарная логика подсказывала. Данные тетеньки в кислотных леггинсах, ярко-желтых детских куртках. Джентльмены в каракулевых шапках Гоголь, с торчащими из-под брюк премилыми кальсонами. Милые чудики. – Клара, что за чудесная мутоновая шубка! – воскликнула Женька. Дама с болезненным обликом, дама, похожая на поэтессу Сапфо, да что там, дама, похожая на остров Лесбос. Ответствовала: это подарил Пабло, дарите женщинам цветы и мутоновые шубы. Поодаль Миша беседовал с тем самым Александром Робекой, статным лапчочкой в зеленом бушлате, героем своих романов. Служащим министерства усатых тел. Тем временем Короленко кончил играть.

Гости нестройной шеренгой направились в сторону лабаза. Вероятно, закупаться свадебными принадлежностями, курицей, алкоголем, сладеньким. Журналистка в очередной раз подумала, до

чего прелестные товарищи. Никаких понтов, они же не телефоны BlackBerry, в самом деле. Фрау намеренно поплелась позади, снимала процессию. – А ракетное топливо я пил в промышленных масштабах, поэтому мне не нравилось, когда она выгуливала свой пессимизм на моей заливной солнцем террасе, – шутливо рассказывал граф Олег, заточник с завода, друг жениха. – Как говаривал один энтомолог, в мире ни одного человека, говорящего на его языке, то есть ни одного человека, говорящего, то есть ни одного человека, – философски заметила барышня по имени Элизабет, подруга невесты, автор научной работы под названием наночеловек и его наношинель. Она неоднократно получала мировые признания, орации. Консультировала сотрудников МУР, была такой же пронизательной, как леди пенициллин, Зинаида Ермольева. Кинематографистка снимала сухой борщевик, высокий, как телеграфные столбы. Окоченного аиста с лысенкой головой, правда, черный пушок все-таки присутствует. Птичка под ногами, во льду, видно, читала Дерриду и дочиталась. Залюбовавшись очаровательной пасторалью, журналистка впендюрилась в представительного Александра Робеку. Он кому-то рассказывал, шутя: вообще, он Коля, но иногда вынужден быть Олей. Внезапный телесный контакт вызвал нешуточный интерес, у Робекы возник нешуточный интерес к немке.

Марточка поглядела в его сложносочиненные глаза и поплыла. Невзначай ей вспомнился недавний сон. Березовая роща, Глюк вглядывается в черно-белые деревья. Рябит, repeat please, i am sorry, вы задали другой параграф. Звучит какой-то сумеречный эмбиент. Гнетущее чувство, вот-вот должно произойти нечто захватывающее. И происходит. Сотни глаз, глаза прямо на деревьях, деревья с глазами, китайскими, хитрыми. Фрау во сне думает, дискриминация, каков дискриминант. Отчего нет глазок африканцев, а поляки чем хуже. Кажется, китайцы-березы чего-то замысливают, перешептываются. – Ах, оставьте! – кричит немецкая подданная. И просыпается в окружении Мишиных кошек на раскладушке. В приоткрытую форточку намело снега. У плиты сидит серый заяц. У зайца не все ладно с головой. Длинные клыки, как у вампира, рога, как у оленя, и птичьи крылышки. Батюшки, это же вольпертингер, но ведь он обитает в альпийских лесах Баварии, поразила Марта. Чего же он тут забыл, явился, а ведь является он молодым девчонкам, у которых молоко на губах не обсохло. Которые верят в гороскопы, натальные карты и программу двенадцати шагов.

– Голуба, вы какое вино предпочитаете, у нас тут, к сожалению, одна Изабелла? – вернул фрау из мира сновидений притягательный Сашка. Она покраснела пред ним алтайской земляничкой. А ведь любая привязанность может стать уликой, рычагом давления. Глюк это безупречно знала. Робекка и остальные стояли на крыльце сельпо. Куражились, словно школяры. Ходили на руках, показывали редким прохожим языки. Кто-то язвительно заметил: дефицит полнейший отстой. Марта ответила Александру: мне, как всем, Изабелла вполне ничего. Журналистка услышала далекий гудок сирены. Женечка поторопила присутствующих: шевелитесь, придурки, моя опостылевшая, незамужняя жизнь бесит меня чрезвычайно, уж замуж невтерпех. – А в моем городе Клин принято выходить замуж по истечении срока годности, – сказала Петра, она же чашечка петри, дама, похожая на ласковую корову и немного на советскую киноактрису Рину Зеленую. Марта усмехнулась, в Дрездене в баре Золотой горшок ее шутиливый Клаус предложил выйти за него. Их еще бомбардировали опездолы тем вечером. Они смеялись, как идиоты, и были, кажется, счастливы. Ведь птички какают на голову исключительно на счастье. Тем временем Евгения Михайловна проводила инструктаж. Каждому выдала по авоське. – Входя по одному, каждому я дала список, например, ананасы отпускают не больше двух в одни руки, так, что еще, Миша, ты с нами? – ворковала Женечка. Токарев раскис, он казался каким-то Битлджусом. Откровенно говоря, литератор довольствуется положением испуганного кролика. Бракосочетание способно смутить даже самого отъявленного паяца.

Внезапно Глюк уподобилась кассационной жалобе. Почувствовала себя важным участником событий, но повлиять на исход была не способна. Ребята купили продуктов. Журналистка снимала реликтовые сосны, собачий череп на синем заборе. В ипихондрии ничего предосудительного. Фрау предалась ипихондрии. Еще этот Саша Робекка всячески оказывал знаки внимания. Неда-

ром леди Гага посвятила песню другу Токарева: Алехандро, Алехандро. – Кажется, у него на тебя особые планы, будете вместе лечить душевные раны, – высказалась пигалица Ника, урвавшая единственный кокос. У нее брусничные румянец. – Ты пойми, я не хочу показаться любопытной задницей, просто мы, девочки, видим такие вещи, наше зрение рентген, – разглагольствовала Николь. Когда они подошли к алому деревянному дому Франкенштейна в конце улицы. Причудливые пристройки выглядели неуместно. Три дополнительных этажа казались чужеродными наростами. Безымянный архитектор сотворил несусветную чушь. Впрочем, в этом страшилище присутствовали черты волшебной сказки, черты Владимира Проппа. Уехал царь на войну, не ходи со двора, побежала Аленушка с подружками гулять, ведьма выспрашивала, но царевна все же милее, ведьма стала сердобольной старушкой, подражает голосу матери, царевна ест отравленное яблоко.

На улице свирепствовал ветер. В свидетели пригласили славных людей, подумала немка. Они обсуждали домашних питомцев. Автор теории о наночеловеке Элизабет поведала о дрожжах. – Ой, кошечка, слишком хлопотно, я ращу дрожжи, они не требуют ухода и не гадят, всего-то мука и вода. Гражданин по фамилии Дюбуа успел заложить за воротник. Ника все приставала: скажите, а немецкие мужчины способны на подвиг? Женечка отперла дверь. Пропуская гостей, пояснила Марте: дом принадлежит подруге нашей семьи, художнице Веронике Полонской. Внутри жилища пахло подгнившими яблоками, отсыревшими книгами. На цветастом половике, полустеллевшие листья. На стеллажах справочники, альбомы, голландская живопись, Ренессанс, картины аутсайдеров. На сложенном блекло-розовом диване кровати коробка карандашей. Женя премило давала указания подданным: Саш, натопи печь, девочки, маринуйте курицу, режьте салаттики. Она говорила что-то еще. Немка, влекомая любовью к кинематографу, шаталась по таинственному жилищу. Снимала статное чучело волка под лестницей, там же обнаружилась потайная комната. Вошла без приглашения.

Там пахло мокрой шерстью. Картина у трюмо показалась любопытной, словно первое слово младенца. На картине сексуальная, как брекеты, девчушка в красном платье обнимает березку. На босых ногах венки-ручейки. Неподалеку обнаженный по пояс месье колет дрова. Небо пурпурное, там на небе летят истребители. От полотна веет чем-то солоноватым. Глюк приблизилась к образцу изобразительного искусства, принялась. И впрямь разит сушеной воблой. Фрау прищурилась, припоминая ложную беременность. – Совсем скоро мне предстоит отправиться за ленточку, пообещайте, что дождетесь невольника чести, – напугал Саша Робека. Ах, сколь удивительный тембр. Эталонный военный был способен растопить лед в сердце бывшей подруги Эльзы, надзирательницы в лагере для военнопленных. Однако наша Марта сдержанна и чопорна в амурных вопросах. – Знаете, – именно так сказала она напористому молодому человеку, – ваши преследования похожи на манию, если хотите, болезнь. – В среду я проходил диспансеризацию, кроме готовности умереть за Родину, врачи ничего такого не выявили, – признался лукаво Александр.

Немецкая подданная фыркнула, ей претили подобные фриivolности. К тому же, лицо кавалера, перепачканное гуталином на манер афроамериканца, вызывало лишь раздражение. – Зачем вы измазались гуталином? – спросила она холодно. Саша горячо заверил, дескать, он измазался исключительно просто так. Потому что человек веселый. И протокольная действительность порою невыносима, а ему, между прочим, скоро за ленточку. В соседних комнатах гости нестройно напевали о старом клене, который стучится в стекло, таким образом, приглашая на прогулку, а затем лирический герой задается вопросом, отчего ему так светло, лирический герой сам находит ответ, все от того, что любимая идет по переулку, соответственно, любимая в добром здравии. Глюк снимала руки Александра, они напоминали кинематографистке о руках Клауса, впрочем, любые мужские руки напомнили бы ей о руках Клауса. В свою очередь, Марта напоминала Робекке двенадцатую главу из книги Откровение Иоанна Богослова. Служащий министерства усатых дел увидел в журналистке женщину, под ногами которой луна, а на голове звездный венец, а в животе у нее когда-нибудь окажется ребенок, его ребенок. – Скажите, Шурик, при каких обстоятельствах

вы познакомились с Токаревым? – поинтересовалась дамочка.

В комнату под лестницы вошла Евгения Михайловна. Она встревожена и не способна расписать пульку с ребятами. У нее такое лицо, будто потеряла сберкнижку. Она по-брежневски доброжелательна, но крайне обеспокоена. Интересуется, когда в последний раз Марта видела литератора, жених пропал. Пропал внепланово. По обыкновению, он оставляет знаки, тайные символы, по которым его можно отыскать в ближайшей библиотеке, на капище или на группах анонимных наркоманов. В тайную комнату заходят все новые граждане. Дышать нечем. Речь у всех сбивчивая. – Смотрите, я килька в томате! – А что ты подаришь молодым? – Давайте обойдем дом и ближайшие окрестности. – Кажется, необходимо позвонить моему дружку. – Николь, а кто твой друг? – Ой, как тебе сказать, он детектив. – Ребята, прекратите наступать мне на ноги! – А помнишь, вы в прошлую пятницу ходили на парное свидание, нормально прошло, ты не рассказала? – Думаю, его исчезновение это своего рода оммаж на янтарную комнату, она же тоже исчезла, я все верно говорю? – Элизабет, не пори чушь, ты со своими нанюлюдьми и наношинелями совсем помешалась. – Что это за бомбардировки союзными государствами? – Господа! – крикнула Евгения Михайловна. И гости притихли. Потом кто-то несмело попросил: дайте его словесный портрет, особые приметы, и мы найдем жениха в два счета, правда, товарищи?

Камера Глюк упиралась в чью-то поясницу, снимала чью-то поясницу. Ворсинки на черном шерстяном платье. Саша Робека неловко пошутил: мы найдем его, а что касается особых примет, он сияет, вы точно не ошибетесь, сияние синего разума видно даже из Ангарска. Толпа вынесла немку в коридор, точно околплодные воды, будь они неладны. Фрау чувствовала себя вареным окуном. Цокали большие настенные часы с ходиками-еловыми шишками. – Мне бы нравились пышки, если бы вы были пышкой, но так как мне скоро за ленточку, я бы хотел прояснить вот какой момент, – пленительный Александр вновь брал инициативу в свои руки. – Вы такой абстрактный и в то же самое время, как это, похожи на генерала, – сказала фрау загадочно. Барочное поведение Саши определенно импонировало немке. – Я нашла, нашла этого гремлина! – закричали за пределами дома. Гости, как вы помните, активно разыскивали поэта. – Николь, дорогая, ты поспешила, это скунс, который окоченел тысячу лет назад!

У Глюк острый ум, подобную остроту имеет перец Каролина Рипер. Интуиция у нее бешеная. Интуиция подсказывает, Миша сейчас точно крокодил, который шел и трубку курил, а трубка упала и написала, шишли-мышли, сопли вышли. Иными словами, поэт нынче разводит сырость, сидит где-нибудь, ноет. Во всяком случае, он был русским, с желевой волей и глазами узкими, как некогда сам себя он охарактеризовал иронично. Марта поднялась на второй этаж, лестница чудовищно стонала. На улице кричала баба: вы посмотрели у реки, он же водолей! Журналистка едва не уронила бюст Ленина. Объектив кинокамеры, кажется, треснул от удара. Женщине стало невесело, словно она испила бобровой струи. Она заглянула в кладовую, там на складном стульчике восседал скелет из кабинета биологии, на голове шляпа котелок. Светильник чудно включался, цепочка, Глюк не могла вспомнить, как цепочка называется, сонетка называется. Судя по небольшому росточку, скелет мог быть подростком. В таком случае фрау годилась ему в матери. Дамочка усмехнулась шаловливым мыслишкам. Привет, сынок, а чего ты тут безобразничаешь, котелок еще нацепил. Я же вижу тебя насквозь, а ты посмел рисовать стекла на узорах, а ты посмел связаться с криминальными элементами и попробовать опиум, а ты продал всех за бульбегум, а ты попишешь кляузы на уважаемых евреев!

Щелкнул затвор немецкой винтовки Маузера. – Марта, уходи! – послышался скрипучий голос литератора. Журналистка вздрогнула от неожиданности. Из тени проступил, словно стихи Улюкаева на тетрадном листочке, из тени проступил Миша. В руках у него оружие, душа у него чистая, правда, он сумасшедший. На лице Токарева смятение, расстрельные списки известны, он входит в них, его фамилия где-то между Савицким и Улитыным. Его охватило смятение. Литеры в черепной коробчонке перемешались. – Хватит гнать дурочку, дрозд! – увещевает фрау, сохраняя удивительное спокойствие, понимает, иначе с такими беседовать нельзя, почувствуют слабость. Современный писатель, знакомый с аптечными ядами, решивший застрелиться из ружья, вызы-

вал горькую улыбку. – Свадьба это еще не конец, ты держи два в уме, твои проблемы с толуолом, которым ты дышал в юности, покажутся славным временем, семейная жизнь есть смертельное randevu с госпожой Белладонной, но поверь мне, в этом, как это сказать, драйв и джаз, – рассуждала Глюк.

Токарев изумился, немецкая речь по-прежнему вызывала опасения. Пожалуй, родовая память занятная вещь. Немецкая речь убаюкивала, немецкая речь не напоминала лай собаки. По привычке литератор приготовился молчать и отказываться рассекречивать местоположение знакомых партизанок. А тут эти невыразимые, понимающие глаза фрау. Мужчина поплыл. – Положи ружье, и мы спокойно посидим, успокоимся, а затем ты войдешь в новую жизнь с той достойнейшей женщиной, – сказала она. Миша бросил винтовку на пол, раздался выстрел, похожий на безобидный взрыв петарды. Кинематографистка истерично рассмеялась. Надо же, подумала, бутафорский маузер, едва сердце не выпрыгнуло из груди. Герой фильма и Глюк присели подле горы детских игрушек. Набора юного химика, коробки с железным конструктором, уродливой куклы, стереоскопа. – Кстати, ты ничего не рассказывал и не писал о детстве, как это, Ангарске, о своем проживании там, то есть о периоде, когда тебе было лет пять, у нас впереди целая ночь, расскажешь? – попросила Марта, ласково улыбаясь.

Глава 7

И вы такая сачком поймали гения, а потом оторвали ему крылышки

А ведь я был однажды взрослым, определенно, был. Ужель вчера, ужель сегодня. И только полдень в шесть часов, это почему-то я категорично знаю, в психиатрических учреждениях такой распорядок. Меж тем в имени моем содержалось трое согласных с постановлениями временного правительства. Впрочем, имена не выбирают, в них живут, а потом, словно мороженка на солнце, тают. Я позволил себе родиться в городе Ангарске на излете французской революции. Во времена, когда ласковый Мишка вернулся в свой сказочный лес, оставив нас наедине с психологическими травмами. Мы бодрились вопреки обстоятельствам, полагаю, потому что не играли, как современные дети в GTA. О, какие мы глядели торжественные сновидения. Я до сих пор вижу эти сны, нефтехимический завод, милиционера Попкова, улицу Александра Матросова, реку Китой, художественную школу, центральный рынок. Порой вот засыпаешь в Ангарске, а просыпаешься мистическим образом утром понедельника, и нужно идти на смену в свой цех обработки металлов. Меня по-прежнему зовут Генри Чинаски, Килгор Траут, Натан Цукерман. Хотя недурно, полагаю, носить имя палеоантрополога Станислава Дробышевского, подобное имя носить полезно для общего развития, знаете ли.

Что ж, восхитительные и вместительные девчонки носили короткие, как жизнь, юбочки. Майское цветение подкосило аллергиков. Поллиноз в том году особенно досаждал. *Кто-то сейчас кричит: Андрей Александрович Жданов, предъявите партийный билет, а потом цветите себе на здоровье.* Стоит заметить, поллиноз добрался и до вашего покорного слуги. Княгинь разжало-вали до продавщиц кваса. Душещипательно цвела сирень. Стекло яблочное варенье по усам прадедушки, ссыльного поляка Захара Трофимовича. Мне было года четыре, как я уже сказал, город моего детства по всем приметам напоминал Ангарск. В художке мы лепили из пластилина, который оказался и не пластилином вовсе, но взрывчаткой С4. Лепили животных, куниц, соболей, зайцев, шиншил. Понимаешь ли, глазастик, желали, чтобы прекратилось это безобразие, убийства ради шубок. Еще помнится, делал великолепные оригами, в дальнейшем женщины будут весьма удивлены, надо же, будут вопрошать, где ж ты так научился улаживать своим языком наши измощенные тела. А я делал виртуозно оригами, журавлики, там, лодочки, кое-чему обучился.

В тот год лондонский футбольный клуб Челси сцепился на поле с клубом Дерби Каунти. О футболе прекрасно написал однажды Лев Кассиль. А Набоков, кажется, сочинил: отрадная игра, широкая поляна, пестрят рубашки, мяч живой. Я же написал шесть романов о Сибири,

бабушке, фертильных возлюбленных, Чернобыле, службе фрезеровщиком, своих призрачных детях. Об Ангарске не написал еще. О том, как ротозеи бегали по улице Олега Кошевого. Укутавшись в старинные шторы, чтобы выглядеть значительней. Да, да, ты помнишь, мы не мыши, мы не пахи, мы ночные ахи-страхи, мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы! Акселераты среди нас водились, высоченные, словно несколько МРОТ, сложенных вместе. Мы были тем еще субстратом загадочной любви. Наша, если позволите, эйдетическая память ввергает в ужас родителей, учителей, жен и по сей день. Мы знали, после продолжительной жизни наступает еще большая жизнь. Нас не просили дать джазу, однако мы его давали. Впрочем, хотелось бы узнать, вам ближе многоголосие или полифония. Давайте выясним на берегу. И в следующих главах мои безнадежно категоричные выкрики не причинят вам особенного дискомфорта.

Дом детства двухэтажная желтая сталинка, двенадцать квартир, два подъезда, импозантные эркеры, овальное окошко во фронтоне. Медсестра Тонечка, соседка, ставила уколы на дому. А по ночам премило стонала и с потолка сыпалась побелка. А потолки высоченные, три метра. – Родные не предадут, – говорил сосед из квартиры слева, но его стабильно сдавали в наркологию, когда к нему приходила Белла Ахмадулина. А он вообще-то лапочка, учил делать дульный тормоз, учил управлять вертолетом, рассказывал о хитрых ловушках, говорил всякие афганские словечки. В поперечном сечении лягушка похожа на автомат по продаже цветных круглых жвачек. Эту лягушку притащил другой сосед, Ромка, он впоследствии проснулся биологом. Но тогда творил несусветную дичь. Помню также, мальчик на соседней улице Кирова вынес во двор заграничную приставку Game boy. А мы собрались и решали, что делать с мальчиком, ведь это совершеннейшая профанация и симулякры. Нет, конечно, наша семья была весьма зажиточна, мы могли позволить себе даже сыр. Но тому мальчику не следовало бросать камень в голову отвергнувшей его девочки в садике. Достаточно было отдать свою четвертинку яблока на полднике тому, кто нуждается больше.

Мудрость приходит с возрастом, мудрость дарует угрозыск. То есть я желаю сказать про четвертинку яблока. Милосердным я стал благодаря прадедусшке. Прадедусшка любил каламбуры, не любил гамбургеры. Что свойственно пожилым людям, испытавшим тяготы военного времени. Казалось, родственник отбрасывал две тени, одну обычную и другую, ироничную. В тот удивительный дом на улице Александра Матросова принесли вашего Мишу из места, где мальчики становятся мужчинами, из роддома. Мы все там были похожи на очаровательные пельмешки, явившиеся на этот свет из горячих утроб наших мамок. Роддом за номером один, по правде сказать, он был единственным и назывался перинатальный центр. Извините за мои сбивчивые показания, не могу вспомнить имена тех, с кем довелось лежать в палатах для новорожденных. Среди тех младенцев можно было встретить настоящих интеллигентов, доложу я вам, ни слезинки, ни пронзительного агу. Кажется, академик Лихачев, поправьте, если угодно. Определил интеллигентность как способность к восприятию и терпимое отношение к миру и гражданам. Таким образом, не всякий выпускник университета имени Баумана интеллигент. В нашем коте содержалось столько интеллигентности, тушите свет просто.

Я отвлекаюсь, а потом возвращаюсь к роддому. Я был тем еще ловеласом и прелестно подбивал клинья, боюсь, юные читатели не поймут это выражение, охмурил, в общем-то, нянечку с каре. Представьте, ни одного молочного зуба, но уже заглядывался на девчонок. И меня волновало, помимо тела отчества, тело девичье. Помнится, нянечка отвергла ухаживания, дескать, для нее скинхед излишне одиозен. А какой же скинхед, мы все там бритоголовые, хотя у кого-то имелся цыплячий пушок. В тот год ребятишек народилось великое множество, легион, в самом деле. Похожих друг на друга зябликов. А все началось с таинственного происшествия. В девяносто шестом году в наших широтах в июне все разом уснули. Пекло солнышко, болтливые бабочки бабулечки продавали шелковицу, жимолость и клубнику. Икали мужики, сбжавшие пораньше с завода, икали, пили пиво на лавках в парке. Наколотые узоры на копчике у пуган манили курсантов мореходного училища. У ДК Нефтехимик перебрал с винишком и бовсировал с тенью

старшеклассник в синем школьном костюме. Отчего-то у нас вино называли чернилами, прелестное воспоминание.

Так вот, полуденный сон овладел прохожими. Склонили головы даже дворовые кошки. Правда, одна старуха потом припоминала, она как раз возвращалась из дома для престарелых, куда сдала собственную мать. В общем, она якобы не сомлела. Конечно же, Сальвии Константиновне никто не поверил. Она такая всегда пафосная, просто красная и подментованная. Впрочем, лично у меня поводов ставить под сомнение показания Сальвии попросту нет. Она возвращалась из дома для престарелых и увидела, как все брякнулись и уснули. Тетенька была несколько ошеломлена, в тот момент Константиновна кушала жареных кузнечиков. И один у нее застрял в горле, чуть не отдала богу душу. Происходящие события вызвали у нее нешуточные опасения. Еще бы, она была почетным информатором города. Мало ли, внуки и правнуки репрессированных устроили для нее диснейленд. Как вы понимаете, опасения оказались напрасны. Она услышала в своей голове пьянящий, словно ромовая баба, мужской голос. – Вы слушаете мой голос, это голос отца на шанхайском рынке, вы потерянное дите, а голос отца слышите, мой голос, идите на него, идите.

Мы с ребятами доверяли Сальвии Константиновне, недаром она купала Ивана и все такое прочее. В общем, уснули жители Ангарска. И жизнь была как будто бы прекрасна. Причудлива, как аппараты NASA. Таинственна, как баклажан. И вот, когда все проснулись, женщины оказались беременны. В дальнейшем Элен Гроссман опишет в своей «Деревне проклятых» весьма талантливо данный случай. А пока Элена Гроссман не описала данный случай, мы довольствуемся тем, что было. И я вам доложу так. Оплодотворенные тетеньки вызвали справедливое негодование общественности. Еще бы, самец, по чьей вине случился конфуз, неизвестен. Соответственно, озабоченность наследственностью, болячками и т.д. и т.п. казалась вполне обоснованной. Однако, доложу я вам, все сложилось замечательным образом. Детишки получились блестящими, можно сказать, с чудинкой. Один мальчик собрал впоследствии радиоприемник из маринованных огурцов. Другой собрал малиновую девятку из собственной кошки. Я же в свою очередь, вы прекрасно знаете, стал недурным поэтом, чьи опусы не брезговали печатать областные газеты.

Боже ты мой, у меня создалось впечатление, что мы с вами не чужие люди. Что мы с вами некогда сидели орлами над очком деревенского сортира. То есть я хочу сказать, чувство родства, оно посетило меня сейчас. Поэтому буду обращаться с вами как с родственниками. Мы должны серьезно поговорить, дорогие читатели. Вас подменили в глубочайшем детстве. Следовательно, вы приемные дети. Следовательно, имейте это в виду. How do you do, дорогие читатели, после столь противоречивой информации? Замечу, мы, как и вы, новородились. И совершенно не представляли, чем же дальше заняться. Ребятишки, должно быть, размышляли, куда применимы их таланты изобретателей, сочинителей и т.д. и т.п. Краснощекие и романтичные. Романтичные, словно песнь Марии Блиновой из группы «Ритуальные услуги». Она пела вдохновенно: этой зимой у нас все случится, ооо, я влюбилась в декабре, ооо, это правда, но не верь мне! Вот такие романтичные мы там возлежали в этих палатах, умора, право слово.

Полагаю, вам любопытно узнать, а что же было до роддома. Тут будет рифма, большая рифма, таблетки пикамилаона. Но знание вам нужно конкретное, как майорские погоны. Понятное дело, слушать, как новорожденные обращаются исключительно на вы, по имени-отчеству даже к знакомым. Потому что видят в подобном жесте залог возрождения русской культуры. Слушать выканье грудничков, милейшие читатели, малоинтересно. Совсем недавно имела место быть встреча с двумя куртуазными цыганками. Они мне повстречались у станции Химки. Я перекрестил бедняжек. И на их эмоциональные рассказы о моей судьбе, любви всей жизни, некой женщине в черном, снисходительно улыбался. А потом разоткровенничался до безобразия. Поведав о жизни до роддома, о мнимых, фантомных воспоминаниях. Ты словно видишь собственными глазами голодные сороковые, разгульные шестидесятые, чумное средневековье. Свой халат фельдшера на стуле, блестящие доспехи на маленьком сыне. И прочее видишь. Я люблю ностальгировать по тем временам, особенно после третьей баночки напитка Noosh.

Цыгане сочли меня чудесным и крайне опасным. Должно быть, подумали, этот паяц засмеется у стены плача. И отчего-то боялись повернуться ко мне спиной. Цыганочки стремительно обросли, словно котенок шерсткой, они обросли другими цыганами. Ромалы зыркали на меня куропатками. – Аполлинарии, – да, да, я называл их Аполлинариями, – вы услышите нечто чрезвычайно постыдное, кстати, лесбиянки у нас в стране запрещены, поэтому я надеюсь на вашу сознательность. Цыгане настороженно перешептывались. А затем наконец-то меня поняли, поняли, что я имею в виду. Я буквально кричал у станции Химки: кафир феноменально похож на кефир, роддом еще не конец, вспомните прогулки по парку юрского периода, например! *Прогулки по парку юрского периода нередко оканчиваются буржуазной революцией, гильотиной, насильственным переходом к капиталистическому строю и другими нелепостями. То знание, то удивительное дородовое знание способно смутить кого угодно, лучезарный читатель.*

Это еще что, всякое таинственное случается в жизни. Мой коллега, шестидесятивосьмилетний Раис однажды спросил, который час. Я говорю ему, дескать, половина шестого, смена кончается. Тот не унимается, а число, а месяц. Восьмое марта двадцать четвертого года, отвечаю. Токарь схватился за сердце. Воскликнул, не может быть. Еще утром стая Карлсонов порхала не небе, разгоняла тучки, еще утром же был семьдесят четвертый год. Как это, восьмое марта семьдесят четвертого превратилось в двадцать четвертый. В самом деле, Раис, будучи восемнадцатилетним выпускником училища, переступил порог проходной. Радостный, в предвкушении встречи с девушкой Лидой, они договорились увидеться вечером. Пойти в кино, поужинать в ресторане. День первой зарплаты волнителен. Токарь встал за станок, а потом куда-то подевались пятьдесят лет. Лида успела выскочить замуж, развестись, эмигрировать в Болгарию. Всякое таинственное случается в жизни. Со следующего абзаца и до конца главы я буду милиционером. Именно его глазами я видел до своего рождения. Описанный случай – то последнее, что я помню перед тем, как покинул материнскую утробу. Если чего-нибудь вспомню еще, обязательно сообщу.

Пляж. Нестерпимо светит солнце. Часы «Ракета 3031», подарили за доблестную службу, показывают 11:00:13. Песок горячий-горячий. Ступни присыпаны песком. Глазу мохнатые колени. Мои руки исписаны вязью, выпуклые венки. Манерные, корпулентные женщины в цветастых купальниках бродят в зеленоватой воде. Перышки намочили, а нырнуть не решаются. Щеки зудят. Провожу тыльной стороной ладони по щеке, гладко выбрита. Чей-то длинный, волнистый волос во рту, выплевываю, улыбаюсь. Подумалось, будут чистые пруды и застенчивые ивы будут. Мальчонка лет четырех в полосатых трусах закапывает в песок плачущую девчонку. Садистская улыбка на его лице. Отчего-то я знаю, вырастет преступник. Профессиональное чутье милиционера, должно быть. Вымазанное зеленкой плечо сладостно пощипывало, свежие швы. Нападение оголтелых подростков. Малолетние бандиты предлагали сопливым школьникам колоть вены в Коломне во имя науки. Грабили таксистов. Носили стилеты. Отпуск по ранению проходил штатно. Времени на часах 11:05:00. Где-то воровали оптоволокно, плевать, у меня отпуск по ранению.

Перламутровый смех пузатых мужчин в темно-голубых плавках. Чайки спокойны, словно Акитагава, чайки запутались в жарком воздухе. И теперь породнились с этим выдающимся августом. Пикантная, как студень и хрен, барышня. На ней изумрудный купальник, она блондинка, прическа гарсон. Зовет сыночка жрать кукурузу. Тот избавился от несчастной девочки, закопал полностью. Строит пирамидки. С тоскою вспоминаю собственного сына, ему шестнадцать, крошечный бунтарь. Да, ему шестнадцать, но, случается, подростки совершенно теряют головы. Впрочем, винить, кроме родителей, пожалуй, некого. Да, ему шестнадцать, назло мне он повзрослел слишком рано. Теперь ему тридцать. Представьте, какая нелепость, отцу тридцать пять, а сыну тридцать. Ко всему прочему, отпрыск поэт-авангардист. Сочиняет изысканную галиматью. Все началось, когда этот пятилетний Пригов объявил мне, дескать, глаза костер, туда надобно бросать аккумуляторы, трофейные снаряды, карбид. Между тем на часах 11:09:20.

Я неспешно надеваю оранжевые шорты в цветочек, иссиня-черную футболку, сандалии. Миную пустующий домик спасателей. Иду по лесопарку, птицы поют. Тутовый шелкопряд ползет по моей руке, медная кожа. Сейчас выйду к остановке, сяду в автобус. Дома сварю пельмени. Ли-

лейных разговоров не будет, не с кем. Сын воюет в бедной провинции. Примкнул к партизанам. Пустынный конфликт. Сражаются те, кто за соблюдение правил и норм русского языка с теми, кто наотрез отказывается ставить запятые и пишет все с маленькой буквы. Угадайте, какую сторону выбрал мой мальчик.

В автобусе страшная духота. Математически выверенные движения пассажиров. Бабка чудовищно медленно поворачивает голову на триста шестьдесят градусов, чтобы посмотреть на меня. Одурев от зноя, не понимаю, мерещится ли волшебная гимнастика бабки, не мерещится. Хруст ее позвонков не слышен, звуки приглушены, размыты. Бреду сквозь кисель в самый конец автобуса. В салоне открыты все окна, едва ощутимый сквозняк напоминает дыхание бывшей жены Вики. Обстоятельства сложились паршиво. Виктория дочка творческих родителей, интеллигенция. Девушка свободная от предрассудков, легкая на подъем, хохотушка. Сейчас проживает на Ялте с коммуной хиппи. Они верят, что смогут родить Лобачевского. А мне кажется, лоботомия по ним плачет. Крайний раз наводил о ней справки, когда она вышла из дурдома полгода назад. Ее родители сдали туда, ужаснувшись, прогрессирующему бреду и компании хиппарей. Все-таки не чужой человек, пришлось поспособствовать, написали. Теперь живет дикарем, желая родить Лобачевского. На часах 11:39:00, выхожу на остановке Художественная школа.

Захожу в нормальный подъезд. Нормальная прохлада. Нормальные, зеленые стены. Нормальные соседские двери. Моя служебная квартира нормальна. Нормальный, упитанный кот дрыхнет на подоконнике. В общем-то, все нормально. Мы в этих подъездах чего только не делали. Ждали, пока вынесут попить, спасались от зноя, знакомились, расставались, плакали, курили, целовались. Никуда не спешили, только так побеждают в бостонском марафоне. Этажом выше слышится голоса, это Зинаида, старший лейтенант, роковая женщина. Она говорит: да не в обиду, по неизведанным причинам так получилось, птенчик, просто ты не мой человек, ты слишком хороший. Мужские всхлипывания отчего-то меня веселят. Да, Павла Анатольевича Судаплатова среди ухажеров Зинаиды не встречалось, одни хлюпики.

Времени 12:15:00. В прихожей шелк выключателем и включателем. Голубоватое свечение люстры. Тысячи рыб взмывают к ней. Машут жабрами-крыльями. Я перегрелся на солнце, таков удельный вес моего мнения. Комарики жужжат. Поджарый пес, его силуэт, мираж на кухне. Собака потерялась много месяцев назад. Мой Бенедикт удрал. Я бы написал с заглавной буквы помимо Родины что-нибудь еще. Боюсь, дрогнет рука. Велика вероятность расплакаться. Милиционеры, случается, плачут. Соberись, старая кляча. Умываюсь, мыло с ароматом лаванды. Тюбики с кремами она принесла. Запах парфюма Валентины, следователя, любовницы. На нее посмотришь, присвистнешь. Большевик, мастер спорта по тяжелой атлетике. Запах ее парфюма не успел выветриться. Венецианский тушканчик, говорила она, встретится на следующих выходных, говорила она. Наливаю в кастрюлю воду, зажигаю огонь. Включаю вентилятор, лопасти взбивают податливый, липкий воздух. Соседка сверху нервозно двигает стулья. Покрикивает на мужа по фамилии Лужин. Его не надо защищать, гуляка и бабник, агент внешней разведки. Частые командировки в капиталистические страны. При его участии свергли итальянского тирана Бомбардиرو Крокодило.

Домашние пельмешки летят в кипящую воду. Болезненно морщусь, брызги, ожоги. Во дворе дети стреляют из водяных пистолетов на опережение в случайных прохожих. Дяденьки, тетеньки раздосадовано улюлюкают, идут со своими портфелями, спортивными сумками. Черный чай со слоном рассыпался по столу. Бросаю два кубика сахара в граненый стакан в железном подстаканнике. Из крана капает вода. На детской площадке мужчины играют в домино, их силуэты, миражи. Ноет сердце, опять вспоминаю о сыне. На часах 13:14:08. Пельмени всплыли, соль закончилась. Ученые, говорят, изменили поле земли, наверное, поэтому так жарко. Пропал аппетит. Зенитная установка внутри головы дала залп. На лакированный обеденный стол кап-кап, капельки пота. Мой сынок вступил в тайный орден, они там своими стишками меняли структуру воды. Нейролингвистическое программирование, знаете ли.

Позвонила Маргарита Петровна, криминалист. Из красной эбонитовой трубки доносился ее томный голос. – Когда я потрошила тело волка, я думала о тебе, таксидермия то небольшое, что делает меня живой, сейчас я на даче, сижу на веранде обнаженная, гнус атакует, насекомые терзают грудь, плечи, живот, я подумала, насекомые похожи на сексотов, ты там? – Я принимаю правила игры, впрочем, в такую погоду думаешь об одном, холодном душе. Сексуальные желания чистой воды блажь. – Маргарита, я здесь, – говорю, снимая бордовые трусы с ласточками. Стою в коридоре голенький, наматываю на палец телефонный провод. Ноги приливают к паркету, хоть бы какой сквознячок. Рита блондинка, поэтому предпочитает пупупиду, а я сейчас не могу. – А ты можешь приехать? – спрашивает она. В подъезде Зинаида хлопнула дверь. Заплакал ее ухажер, довели человека. Наверное, курсантик, майор на прошлой неделе плакал солидней. Отвечаю: приеду завтра. – Понятно, – произносят на том конце провода, – тогда до завтра. – Короткие гудки. Цитаты Иезекииля вытатуированы на моем теле. То была работа под прикрытием в секте, пришлось вживаться в роль.

Мысли о сыне Коле терзают мой сумеречный разум. Курьезно, тогда тоже пришлось вживаться в роль. Знакомиться с поэтами Игорем Холиным, Евгением Кропивницким, Генрихом Сапгиром, ходить в Южинский кружок. Операция всесоюзного масштаба. Литераторы у нас проходили по разряду гипнотизеров. Случай один вспомнился. Открытие дворца пионеров, первые лица государства. Девочка-припевочка выходит на сцену, читает парус одинокий. Только слова не в том порядке, какие-то неправильные слова. Первых лиц государства запрограммировала, итог вы прекрасно знаете. Собрали из нас группу. Встретились на конспиративной квартире в Орехово-Зуево. Ввели в курс дела, обозначили примерные сроки завершения операции, как раз прибилжалась олимпиада. Ребята из иностранной разведки докладывали о разных ужасах. Дескать, готовятся провокации, пакистанцы везут отравленные жвачки, американцы везут радиоактивные джинсы. Коллеги из внутренней разведки бегали в мыле, стали обмылками. Нам была поставлена задача, выйти на руководство, узнать, кто отдает приказы, какова структура поэтического мира нашей страны. Преступления на политической почве участились, вспомните перестройку.

Я совсем заболтался. Чувствую себя каким-то Григорием Остером, хотя никаких советов и не даю. Хочу лишь сказать, не суйте ложку в рот человеку при приступе эпилепсии. Вхожу в комнату, как танки в Прагу. Пражский сервиз в серванте. Книги Сервантеса, Стругацких, Алексея Толстого, Беляева на книжных полках. Зеленая бутылка шартреза, синяя бутылка кюрасао в мини-баре, привезла одна дамочка-интуристка. Паркет исчерчен когтями моего пропавшего пса, его пришлось усыпить. Я прикрываю глаза. Совершенно дурею от духоты. Сушеные хризантемы, герберы, ромашки в банке на окне. Зеленеет угловая несовершеннолетняя соседка, курит в затыл у подъезда. Я живу на первом этаже, мне все видно. Я валентный электрон. И хватит словарного запаса, чтобы описать свой блаженный смех. Вижу личико неизвестного младенца под самым потолком. Лицо крайне сосредоточенно и презабавно. Наваждение, мираж. Встаю из кресла, ставлю пластинку. Патефонная мембрана слегка дребезжит. А песня такая: вчера все мои беды казались такими далекими, теперь все выглядит так, как будто они здесь надолго, о, я верю во вчерашний день. Хочется спать, да здравствует полуденный сон. Прилег на кровать. Патефон продолжал: внезапно я и вполонину не тот мужчина, каким был раньше, надо мной нависла тень, о, вчерашний день наступил внезапно.

Сентябрьским промозглым утром я проснулся от лягушачьей какофонии. К моему удивлению, на кухне обнаружили десятки квакушек. Они восседали на столе, стульях, плите. Ого, подумал я, должно быть, это хороший знак. Сварил калмыцкий чай, пожарил хлеб с яйцами. Позвонил куратор Мальцев, подтвердил встречу у памятника Заболоцкому. Предстоящее задержание предполагаемого главаря поэтической ячейки нашего города вызывало вопросы. Я, кадровый офицер, опасался этих семнадцатилетних юношей, барышень. Я, человек, прошедший советскую школу КГБ, имевший дело с отъявленными преступниками, испытывал священный ужас. Глаза слезились от едкого дыма сигареты. Я скушал маленькую луковицу, чтобы взбодриться, проверил миниатюрный пистолет Вальтер. Позвонил Игорь по прозвищу Эгрегор, еще один куратор,

попросил оставить огнестрельное оружие дома. Жаль, подумал я, в этой жизни склонен доверять лишь вороному стволу.

На улице моросило. Дождевые черви причудливо сложились в длинное слово. Едва не опоздал, пытаюсь прочесть, во что же они там сложились. Взобрался на горку во дворе, читал по слогам, но смысл предательски ускользал. Плюнул и низвергнулся в грязь. Джинсовый костюм и бежевый плащ стали напоминать одяние Натали. Натали поэтесса, которую посетил делирий. Мы ее завербовали в качестве консультанта, а также информатора. Охотно пошла на контакт эта ведомая, двадцатилетняя девушка. Затаившая обиду на более удачливых сочинителей, Буковско-го, Войновича, безусловно, Синявского и Даниэля, чьи произведения активно перепечатавали наши сограждане, передавали друг другу. И с придыханием обсуждали прочитанное. Именно барышня посоветовала надеть джинсовый комбинезон, сказала, дескать, писк моды. Эта Натали была отчислена из литературного вуза за прогулы. Мы предложили ей чехословацкую пудру, тем самым расположили к себе. Я сквернословлю на детской площадке, называет конфликт интересов. Погода нелетная. Азростаты моего спокойствия один за другим стремительно падают в кукурузное поле и горят.

Дождь усилился. Решено было взять мотор у булочной. – Выручай, шеф, – сказал водителю, щекастому господину в клетчатой малиновой рубашке. Его зеленые воспаленные глаза вызвали у меня подозрения. Поэтому я отменил поездку и поймал другой мотор. За рулем сидела блондинка в коричневой замшевой куртке. Она курила всю дорогу, причитала: зачем он меня репрессировал, я же нормальная, Володя, Володька. Речь предположительно шла о ее муже. Мадам спросила, какой проигрыватель виниловых пластинок лучше приобрести. Она склонялась к проигрывателю Орфей. Я сохранял молчание. Водительница посетовала, дескать, мужики нынче ни рыба ни мясо, мужики нынче какие-то утконосы. Гражданка сбивала весь настрой. – Я вас игнорирую, – оповестил я. Барышня охнула и замолчала, обиженка. Выжимала педаль газа, дразнила, зади-рала свое синее ситцевое платье. Кремовые труселя, длинный, зарубцевавшийся шрам на бедре. Вспомнился отчего-то космонавт, распятый стариками в деревне. Шестидесятые годы, я гостил у бабушки-язычницы. Неудачное приземление капсулы, космонавтика выловили местные, да рас-пяли прямо в поле. Дамочка-водитель окликнула: вам к самому памятнику, просто там людей вон сколько, я высажу вас у винно-водочного.

У памятника Заболоцкому я увидел небывалое количество ненадежных элементов. Отроки задорно читали вслух стихи Ахматовой. Повсюду сновали сотрудники в штатском. Лопухий, ры-жий смельчак скандировал: оторвем от сталинского мундира пуговицы идей и тем! Я приметил знакомую Сашу. Она работала официанткой на небе, имела дочку, муж их бросил. Глаза стеклян-ные, руки дрожат. Попала под влияние этой поэтической гидры. Другая девушка, Лида-манекен-щица, обнажилась. У нее соски цвета жимолости. Она разочаровалась в иностранцах, ни один из них так и не женился. Люди образовали круг. Отчетливо понимаю, порочный круг. Медленно бреду сквозь толпу к самому эпицентру. Какой-то глазастый сержантик передернул затворную раму своего Макарова. Его лицо побагровело, зловещая улыбка. На ухо ему что-то нашептывал юноша. У юноши медная кожа, в ухе сережка, знак мира, куриная лапка. Велюровая желтая кур-точка, очки с большими розовыми стеклами.

Эмоции самого паршивого толка овладели мною, рука потянулась за Вальтером. В наплеч-ной кобуре пусто, черная дыра. Подумалось отрешенно, засада. Рядом дворник Фархат шептал строчки Леонида Губанова. Сержант поднес пистолет к виску. Позволить совершить неправопи-мое я попросту не могу. А ГПУ по-прежнему наш вдумчивый биограф. Хотя и демография хуже некуда. Сержантику лет двадцать семь, ну, зачем вышибать себе мозги, глупышка. Хватаю за пле-чи юношу в розовых очках, бью с пыра, тот крикает, оседает на землю. Запахло сероводородом. Вскрикнула девчонка в сетчатых колготках, кожаной куртке, с признаками простуды. Красный, сопливый нос, кашель. Ей на всякий случай зарядил в ухо агент Парщенко. Я в сердцах выру-гался, подумав, зря, ой, зря, сейчас такое начнется. И началось. Чувствую, кто-то бесцеремонно вцепился мне в шею зубами. Схватили за волосы. Оттеснили, оттенили от эпицентра этой оргии

беллетристов. Отчизна горела, а глупые мальчишки подкидывали в кострище свои дыр бул щыл. И не было, в общем, причин для расставания с нашим родимым соцреализмом. Не было.

К вящему неудовольствию своих инструкторов по рукопашному бою оказываюсь на асфальте. Тысячечное поэтическое существо топчется по моему телу. Греческие, римские, кельтские, египетские и германские ноженьки культурно и не очень топчутся. В лакированных туфельках, кроссовках, сандалиях. Ножками прошлись по моим телесам, подобно тому, как электричество некогда прошло через тело электрика Петрова. Падлы разгулялись. Кто-то потерял водительское удостоверение, кто-то пенсионное. Гитарная струнка в черепашке вот-вот лопнет. Бабушка называла наше поколение лохами. Однако, лежа там, на асфальте, я подумал иронично, вот они, лохи, а мы ого-го. Вдруг послышался голос моего сыночка. Люди расступались пред ним, замолкали. А он подошел ко мне, вылитый Джон Леннон. Длинные волосы, борода, простынь какая-то. Его любимым писателем был Сэлинджер, стоит заметить. Мне горестно, что сыночек отбился от рук или это я отбился от его рук, поди разбери. Мой обожаемый отпрыск шагал такой значимый, величаво шагал. А вот эти молодые люди смотрели на него, как на барбариску, с обожанием. Он протянул мне руку и сказал: не ссы, папа, я это ты. А у меня ангелочки кружатся над головою, колокольчики звенят.

Расплакался, дня три беспрерывно рыдал и попал в больницу для душевнобольных сотрудников КГБ. Вы уже поняли, мой сынок у них был самым главным. Тут ведь вопрос гордости и принятия. Тут вот по соседству со мной лечится татарин Ренат, мужику пятьдесят лет, он во Вьетнаме сражался в составе расчета зенитно-ракетного комплекса. В Лаосе в гражданской войне тоже успел отметиться. Разминировал Алжир. Словом, человек повидал разное нетривиальное. Но стоило психологам заговорить о его отце, о их непростых отношениях, не выдержал, побежал в туалет, чтобы вздернуться. Непросто это все, мальчишки. Хотя крепкая связь между сыном и матерью, она встречается, на мой взгляд, чаще. Вспомните Нормана Бэйтса и Норму Бэйтс, их мотель. Связь между мальчиком и отцом удивительна, словно весенняя, утиная охота, самок не трогают, охотятся исключительно на селезней. Не знаю, что можно тут добавить. Жалею лишь об упущенном времени. Хотелся сказать родителям детишек-выдумщиков, бросьте ругать их, пусть себе выдумывают. Пусть машут крылышками, порхают.

Глава 8

Целую ваш пупок и откланиваюсь

Заливной смех тысячи Питер Пенос разносился по палатам роддома. Мы жаждали козьего молока, испанцы метко прозвали нас чупакабрами. Они правы, мы одного корня стебли, одного ручья струи с этими чупакабрами. Я вам сейчас поведал о милиционере, дело вовсе не в милиционере, то есть он один из немногих, чьими глазами я глядел на мир до роддома. Чьими только глазами мы не глядели на равнины Неверленда, скалу Черепа, крокодиловый ручей, грот русалок, бухту каннибалов. Полагаю, именно поэтому мы сберегли свои рогатки в задних карманах брюк, носим их и поныне, задорные и проворные. Все эти воспоминания вызывают печаль. Скрытая от глаз, словно горно-химический комбинат в Железногорске, моя печаль. Однако еще рано примерять сосновый тулуп, но уже пора писать завещание, права на мои произведения достаются плюшевому медведю. Простите мне мою увлеченность восьмидесятьюми. Краткость не моя сестра, она исключительно ваша сестра, вы ей позволили обожраться седативными препаратами. Потому ваша сестрица, ее сладострастные губы целуют меня в пупок. А я, как вы понимаете, вспоминаю о детстве в Ангарске накануне собственной свадьбы.

Так вот, мы, словно мультперсонажи Южного парка, донельзя обаятельны. Детки, рожденные в девяносто шестом году. Предстательные железы у нас работают великолепно, слезные железы тоже. Словом, с физиологией у нас все в порядке. Только девчонка Маша, помнится, у нее было два сердца, это говорит об исключительном милосердии. Машенька напоминала Хельгу из мультфильма «Эй, Арнольд». Хельга была не в силах выразить свою любовь к чудакотому одно-

класснику. Мария была не в силах выразить любовь к чудаковатому миру. Хмурилась и жалобно всхлипывала, лежа в своей неонатальной кроватке. Нынче у детей эмоции липовые, а у нее были настоящие. Словом, нас раздали нашим родителям, восхитительно придурковатым. И каждого унесли в неизвестном направлении.

Меня, как вы прекрасно знаете, унесли в квартиру на улице Александра Матросова. Шел снег, февраль месяц. Из ларьков и салонов машин доносились экстравагантные песни. А именно, тучи, как люди, ясный мой свет, ворона, утекай. Снег похрустывал, словно лангусты в пастях рифовых акул. В общественном транспорте давка. Хозяйка медного троллейбуса, она же кондуктор, попросила пассажиров не материться и держать себя в руках. – С нами едет наше будущее, – сказала она и ласково улыбнулась моим родителям. В свою очередь, родители смущенно пожали плечами. – Скажете тоже, это не ваше будущее, уважаемая, это результат селекции, – усмехнулся отец. Пассажиры засмеялись и стали поздравлять моих родственников. Хлопнула пробка шампанского, водитель стремительно наклонился. И мы были вынуждены идти три остановки до дома пешком.

Отец разместил будущего литератора в манеже. Я напоминал интеграл, то есть являлся совершенно непонятным существом. Тем не менее, существом, без которого теряется цельность любой семьи. Помню светские, пустые беседы граждан в подъезде. Помню собственное любопытство. Чужая речь изобиловала эпитетами, метафорами, гиперболами. Мне было непривычно слышать тридцать три буквы алфавита. Буквы напоминали таблетки. Таблетки стремительно таяли во ртах, горчили, дарили покой. Соседи вышли на меня посмотреть. Мужчина, похожий одновременно на Вольку и старика Хоттабыча, предостерег: этот младенец есть оружие массового поражения, важно, в чьих руках это оружие окажется, а так, весьма милый мальчуган. Значительно позже я узнал, Хоттабыч испытывал сексуальное удовольствие от прокалывания ножичком шин чужих авто. Наконец, матушка додумалась закрыть входную дверь, и стало потише. Симпатичный черный плед с джунглями и леопардом привлек мое внимание. Я услышал зов предков, дерзновенные обезьяньи крики, класанье крокодилий пасти, шуршание папоротника. Папка включил телевизор.

По телевизору дядька при усах и тетенька в изумрудном, блестящем платье, напоминающем рыбу чешую. Расхваливали миниатюрный пылесос, красненький такой. Он предназначался для слез. Ведущий удрученно перечислял: инфляция, чудовищная экологическая обстановка, Чечня, рост насилия на улицах. Его напарница излишне жизнерадостно подхватила: именно, Константин, а что же делать простому Ивану Петровичу, который пришел после двенадцатичасовой смены и хочет простого, человеческого пожать, а в холодильнике пусто, есть решение, новая разработка наших ученых, аннигилятор слез! Картинка в телике сменилась. Показывали новостной сюжет. Житель Читы разорился, влез в долги, скупил весь телемагазин. Крупная тетка в темно-синем пуховике, галошах. По всей видимости, жена того мужика. Слезливо причитала: он спятил окончательно, вон, полюбуйте, купил слона! Супруга стояла во дворе своего деревянного дома, рядом с ней слоненок пил водичку из корыта.

Я одновременно полз в манеже на север, запад, восток, юг. Пресыщенный новостями, боюсь куда-то опоздать. Отец предлагает связать меня ремнем. Он в самом деле опасается, неугомонный сын голове не хозяин. Мать сцеживает молоко в бутылочку. Посматривает на кошечку. Кошечка пестрая, корпулентная. Мурлыкает, лежа у батареи, щурится. Внезапно начинает шипеть. А квартиру наводнили тени. У меня проявляются первые симптомы неврастении, перехватило дыхание. Где же логические продолжения теней, думаю, где же тела. А вслух говорю: уважаемые, а вам не кажется странным данное явление? – Смотри, наш маленький Лобачевский пытается сказать свое первое слово, нонсенс, – обрадовался папка. Матушка сцедила молоко, время ужинать. Отец продолжает: да, таким Лобачевским, к сожалению, попадают одни биссектрисы, потом приходится платить алименты и выпрашивать детей на выходные. – Ты неисправимый пессимист, – возражает мать. Я с жадностью сосу молочко, сетую, что оно не козье. Тем не менее, молоко и в Африке молоко. За окном, а мы жили на первом этаже, спуют косматые незнакомцы, завывает вьюга. Сюрреализма хоть жопой ешь. Позвонили в дверь, кого-то принесло на ночь глядя. Не возмущаюсь, наверное, тут так принято.

Пришла тетенька, ее отчего-то называли за глаза Понедельником, на английский манер Monday. Она участковый педиатр. Кудрявые, золотистые волосы, белый халатик поверх серого свитера. Когда она говорит, видны ее зубы, два верхних клыка серебряные, очень красиво, эстетично. Я погрозил педиатру пальчиком. Совершенно не помню, по какому поводу. Впрочем, я всю жизнь так делаю, особенности характера. – Желудочно-кишечный тракт в норме, – говорит Понедельник, щупая животик. – Вздутый не наблюдаю. – А сибирский тракт в норме? – спрашиваю у нее иронично. Участковая хохочет: а этот ребенок не робеет на крутых поворотах, всю меня обсикал. Предки сконфузились, многозначительно переглянулись, словно солдаты в окопе. Мама спросила: вы будете чай с рябиной и травами, таежный? Педиатр отнекивается: нет, нет, я на диете, совсем запустила организм, пью только кефир. – А как у него вообще с признаками жизни? – поинтересовался шутивно отец, беря меня на руки. – Без патологий, чрезвычайная подвижность, красноречие, он вылитый Уинстон Черчилль, такой же щекастый, все это говорит нам о том, что малыш живет как бы в будущем и прошлом одновременно. Матушка, гордая своим изданием, понесла меня купаться, поэтому дальнейшие выяснения обстоятельств моего естества неведомы.

В глубоком, словно печаль волхвов, зеленом тазике, где плавали две желтые резиновые уточки. Мне намыливали шампунем с зайчиком гениталии и остальные детали. Шампунь попал в глаза, помню чудовищную резь в глазах. Я говорю заезженные фразы. – Аккуратней, милочка, пожалуйста, поменьше экспрессии. – Мои жалобные завывания веселят маму. Она напевает: шел и насвистывал ежик резиновый с дырочкой в правом боку. Я закашлялся, точно подавился микстурой, в горле запершило. Красное полотенце с многоорукой Шивой, висящее на гвозде, показалось курьезным. Из моих десен еще не пробивались зубки, но я уже был ворчливым, как Томас Торквемада, требовал признательных показаний и трибуналы. Мать разарзительно смеется, но это не палочка Коха. Она говорит, дескать, я кукушонок. Полагаю, родственница называла меня подобным образом, ведь в вопросе ономотопеи, звукоподражании, если угодно, мне не было равных. В женских руках я обмяк, точно камбала в кошачьей пасти. – Какой бегемотик, – приговаривала родственница, вытирая меня полотенцем. Должно быть, сходство с бегемотиком добавляли складки на теле и серо-фиолетовая кожа. Ох, уж эти вопросы телесности.

Французская писательница Анни Эрно тоже кое-чего смыслила в телесности. Примерно в это же время она закончила повесть под названием «Стыд». А мне было нисколько не стыдно за свое тело, оно в самом деле не число Пи, когда-нибудь закончится, чего же переживать. Меж тем в мире многое заканчивалось в момент, когда маман меня купала. Окончилась осада Сараево, окончилась жизнь Джохара Дудаева. После купания мне было так хорошо, будто я надышался морилкой. Припомнил, пока мамка вытирала полотенцем сон. Он приснится в будущем, педиатр Monday права про будущее и прошлое. Пингвиненок на нашем окне, мне всего месяц, а я понимаю, что для него тут излишне тепло, как в Гвинее. И так мне его жалко стало, просто ужас. И в этом сновидении мама сшила ему желтую подушечку, одеяло. Мы кормили его анчоусами, мойвой, колюшкой. Даже иногда давали желток. Поили теплым молочком. Однажды к нам пришли журналисты и зоозащитники. Они снимали на фотоаппараты, вспышки пугали нашего Понго. Я заперся с пингвиненком в ванной. Вроде бы история на этом закончилась. Я проснулся в слезах, а сейчас родственница вытерла меня насухо. Да, обстановка, как в эротических фильмах Тинто Брасса. Тем не менее, тем не менее.

Явилась мамина сестра, моя тетка Инга Кауфман. Педиатр к тому времени ретировался. Оставив несколько склянок с рыбьим жиром, чтобы я не расслаблялся. Кауфман была женщиной роковой, на мой скромный взгляд. В ней неплохо было развито дионисийское начало. Волосы цвета гренадина, Августина второе имя. От нее частенько пахло апельсинами, хлоркой, формальдегидом и прочими диковинными ароматами. Она носила кожаные брюки. Я пока не доверяю тетке, мы знакомы всего ничего. В ней наличествует, как мне кажется, неумная жажда приключений. Тетя из актерской среды. Гримировал граждан перед самым важным спектаклем в их жизни. Попросту дать дуба звучит совершенно не изящно. Инга в моем понимании синоним слова изящество. Стоит заметить, Кауфман фамилия первого мужа моей тетки. В роду у нас евреев, кажется,

нету. Существенно позже мы с нею станем настоящими друзьями. Благодаря одному волнительному происшествию сблизимся. И каждый раз, когда я буду собираться на свидание с Ингой. Мать будет вопрошать, а куда это ты надушился моими духами. А я неизменно буду отвечать, на деловую встречу, теперь я деловой человек, знаешь ли.

Осмелюсь не согласиться с матушкой. Никаких сексуальных желаний относительно тетки я не испытывал. Мы были родственными душами, словно Покахонтас и английский поселенец Джон Смит. Мы общались с Ингой, и нам не требовались титры, как, скажем, в кинофильме «Ребенок Розмари». Все началось с того, что я захотел собачку. А родители заупрямились. Дескать, у тебя дальновзоркость. Ты и так путаешь гранатовый сок и режиссера Параджанова. У тебя, Мишенька, говорила мать, перемешались жанры, я не всегда понимаю, с кем говорю, с подлинно трагичной Медеей или с шепотливой лягушкой Аристофана. Тем не менее она вот не понимала, но это не отменяло того, что собака была жизненно необходима. У художественной школы проживала одна рыженькая дворняжка. Я уговорил однажды матушку ее покормить. Мы после занятий лепкой кушали буузы в кулинарии, когда я заметил в окно эту очаровательную собачонку. Закричал как полоумный, смутив детишек с родителями. Которые тоже после занятий трапезничали в кулинарии.

Стеснительностью рыжуха не отличалась. Дала себя погладить. Я гладил иступленно, пока мой новый дружок поедал супчик с необычным названием кудрявый, в него входит куриная лапша со взбитым яйцом. Собака ела суп из пластикового контейнера. Мать просила перестать оказывать столь нетривиальные знаки внимания животному. Должно быть, ревновала. Помню, была середина осени. Багровые листочки под ногами. Разлитое пиво Оболонь пахло крайне невкусно, кисловато. Я упрашивал забрать собаку домой. Матушка пообещала ближе к зиме чего-нибудь придумать. Она вообще у меня выдумщица и сугубая изобретательница. Именно ей принадлежит фраза о моей чрезвычайной сентиментальности. В общем-то, мамка ничего не успела придумать к зиме. Собачку кто-то траванул мышьяком, свинцом, полонием. Я названивал в милицию и требовал покарать причастных. Родители достали где-то ананас, чтобы меня отвлечь. Однако вашего безумного Токарева волновали лишь имена преступников. Каждое утро по дороге в художественную школу я опрашивал свидетелей. Маме приходилось извиняться перед прохожими.

Однажды мы возвращались после очередных бесплодных поисков. Матушка купила медовик и земляничный шампунь Дракоша. В гости зашла наша удивительная тетя по фамилии Кауфман. Властью, данной ей Анубисом и прочими специалистами загробного мира, она восстановила целостность той дворняжки. Озорной лай, оливковые глазки, правда, остекленевшие. Но это все частности. Главное, мой дружок бегал по квартире, виляя хвостом. Лизнул мою руку. Все походило на сон. Мама сразу же запротестовала, дескать, от собаки воняет формальдегидом, просто кошмар, как воняет. Потребовала немедленно избавиться от животного. Тетка возразила, попросила не лишать радости. Подобрала нужные слова. Кауфман умеет искусно чесать языком. Полагаю, именно она привила мне любовь к литературе. – Ты отберешь у него друга, а потом он станет фут-фетишистом или свяжется с дурной компанией, ведь будет опустошен и растерян! – прозорливо сказала тетка. Впрочем, женские ступни я полюбил и без этого. А вот с дурными компаниями пронесло, членом Аненербе не стал.

Я вам рассказал о случае, после которого мы сблизились с Ингой. С дворняжкой, конечно, пришлось попрощаться. Ее отдали девчонке, чья болонка провалилась в открытый люк. Вернемся к тому вечеру, когда участковый педиатр покинул наше жилище. Матушка искупала своего бегемотика. Инга закурила гвоздичную сигаретку. Трескала хлеб с маслом, посыпанный сахаром, запивала клубничным киселем. На кухне матушка скривилась, как будто скушала клецки. Они, как вы помните, такие склизкие, просто кошмар. Маме не нравилось, когда у нее дома курят. Отец хихикал со мною, подкидывал до потолка. К счастью, обошлось без эксцессов. Диатез не в счет, диатез появился несколько позже. Кауфман уговаривала мать запечь меня. Дело в том, что традиция запекать малышей, она, в общем-то, чудная. Обмазали сырым тестом, как маленький пирожок, нос один торчит, чтобы дышать можно было. На лопату, да в печь с тлеющими угольками. Для профилактики целого ряда заболеваний.

Папа засомневался, промямлил: а что, хорошая затея, можно еще попробовать горчичники, что-то мне не нравится его кашель. Мой отец работал в тридцать восьмом квартале, в здании номер шесть. Там суперсекретно. Подвал на семь этажей, лаборатория по изучению изотопов, там же отдел, где исследуют воздействие радиации на живые ткани. Впрочем, это не мешает ему быть доверчивым джентльменом. Порою я прихожу в замешательство, у человека вторая форма допуска, а он верит предсказаниям Джуны. Мама была категорична, никакого запекания ребенка. Кстати сказать, это касалось и вопросов закаливания. Мамуля укорила свою сестру, дескать, у нее в трусах постоянно пожар, из-за этого она так и не может построить свою личную жизнь. Инга грустно рассмеялась. И произнесла такое: что же мне теперь, обособиться и не жить. Кауфман обладала недюжинным умом. Умище у нее был размером с Аляску. Она тосковала по восьмидесятым, по эпохе аэробики, кислотным лосинам, гетрам, неоновым огням, джинсам Монтана, Санта-Барбаре. А еще она видела в ракетах фаллическую форму, связывала ракеты и сексуальные неврозы.

Тетя попросила взять меня на руки. Отмечу, очень мягкие руки, они такие благодаря крему. Пока вывели рецептуру крема, уничтожили тысячи зайчиков. Ладно, довольно посыпать голову пеплом и отвлекаться от описания того вечера. Кауфман заглянула мне в глаза. Я, словно эклер, подтаял. Столь нежный взгляд, от столь нежного взгляда смутится даже тот, кто любит скрываться в деталях. – Тебе опять негде переночевать? – поинтересовалась мать. Тетка промолчала. Тогда вмешался отец: не будь такой хладнокровной, ламантин, давай прикроем твою сестренку. На улице пилюли мигалки, карета скорой помощи мчалась куда-то. Кружился снег. В среду должна была приехать бабушка по папиной линии. Я с радостью о ней расскажу. Однако не сейчас, а то я совершенно запутаю вас. Вы уже поняли, мамулька безбожно критиковала сестренку, мамулька у меня Белинский. – Ты вечно хотела любви, любовь тебе нужна любой ценой, но желательно бесплатно, – именно так частенько она говорила своей сестре.

Инга гримасничала, я хохотал, как Артур Конан Дойль, который отправил своим знакомым телеграмму, где написал: все раскрыто, немедленно бегите. И те в самом деле удрали за границу. Помню, обратил внимание на чугунную ручную мясорубку, лежавшую в раковине. Она была созвучна Верденской мясорубке. Я болтал ножками в своих удобных вязаных пинетках. Тетка, словно контрразведка, знала о многом. Ветер успел рассказать ей все секреты. К примеру, раньше родителей она поняла, я был рожден, чтобы доставлять гражданам удовольствие своей энигматической литературой. – Твой биполярный мир отпугивает добрую энергию, но у нас на работе, я вообще-то не могу об этом говорить, появился облучатель, – говорил отец Кауфман, должно быть, имея в виду неудачи тетки в личной жизни. А матушка его перебила: причем здесь это, моя непутевая сестрица заперла свои чувства в мавзолее, все нормальные мужики ее боятся. Инга сказала, возвращая меня папе: спасибо за чай, я пойду. До чего же она мила, словно женские трусики неделька, подумалось мне.

В жестяных таллинских банках на кухонном столе какао, крахмал, сода, изюм. Но в банке с лавровым листом нет лаврового листа, там проживает сверчок в синем цилиндре, черном пиджачке. Впрочем, я забегаю вперед. – Куда ты пойдешь на ночь глядя, не будь идиоткой, – сдалась матушка. И разрешила переночевать тетке. И вот взрослые готовятся ко сну. Меня разместили в манеже. Конечно, было непривычно засыпать в новом доме, все-таки ничего комфортабельней материнской утробы еще не изобретено. Отец искал подушку для гостей, матушка искала новую постель в платяном шкафу. – А я считаю, война и доступная порнография стали причиной роста серийных преступников, – высказалась мама. Не помню, зачем она так высказалась. Клонило в сон. Манила кого-то Аризонская мечта. Меня ничего не манило, вся моя дальнейшая жизнь с легкостью уместится на игровом картридже Sega. Поэтому я там в манеже размышлял, а существует ли повелитель мух вне моего сознания. Не существует.

Я так сомлел, что меня не разбудили бы даже декабристы. – Смотри, как образцово-показательно уснул наш ребенок, – умилилась матушка. – Я постелил тебе в маленькой комнате, до рогуша, – сказал папа. Кауфман, кашляя, поблагодарила. Отец выразил опасения: что-то мне не

нравится твой кашель, может быть, поставим горчичник, у нас в лаборатории есть туберкулезная Анжелика. – Пожалуйста, не надо этих сумрачных историй, – попросила мать. – Ох, наш маленький пилигрим куда-то спешит, – произнесла Инга. В самом деле, я бежал во сне, перебирая всеми своими восьмью лапками. Словно желтая собачка Плуто из мультфильма. Вероятно, ухлестывал за очередной Софьей Палеолог, это так на меня похоже. Так вот, я за кем-то ухлестывал, а родственники торжествовали, кажется, они излишне романтизировали. Романтизировали мою эгоистическую натуру. Дурашки, это трагедия, а не повод говорить ути-пути, до чего несносный ребенок, вылитый Скрудж Макдак. О, достопочтенные родственники, вы даровали мне столько любви, я до сих пор с этой любовью кукую, половозрелый почему-то.

Помню, снились лилипуты в пышных платьях, черных костюмах-тройках. Они упоенно танцевали в каком-то доме культуры. Дискотечный музыкальный ансамбль напоминал глаз циклопа. А еще звучал dark ambient jazz. Лилипуты поглядывали на меня с некоторым сожалением. Впрочем, от своего коллективного танца не отвлекались. Я стоял у входа, и мне приглянулась чувиха с перламутровыми волосами. Вокруг нее вились эти маленькие хищники. Она была холодна к ним. Зыркала на меня, дескать, давай, малыш, сделай первый шаг. Покажи, на что способен. Мне важно понять, ты пасхальный чувак или панихидный. Я смущаюсь, вопрос крайне интимного характера. Вообще, я интроверт, который не боится показать на главной площади города свой экстерьер. Соответственно, с тобою, детка с родинкой на щеке, я готов быть каким угодно. Дарить тебе красные гвоздики, водить по кафе. Однако давай проясним кое-что, я не готов облобызывать все мощи святых в мире, чтобы быть с тобой. Давай ограничимся банановыми пирожными, киношкой, последним рядом. Белой лошадей, крушащей яблочко в молочном тумане. Я готов стать для тебя закланением сим-салабим. Прощу, моя камышовая кошка, правильно истолкуй наши тет-а-тет.

Потом приснилась эта квартира. Приснилось, как отец привел домой буренку. И эта буренка чудом, конечно, поместилась, едва не застряла в дверном проеме. Мама как будто не возражала против нового домашнего животного. Должно быть, не смогла устоять перед иссиня-черными, интеллигентными глазами-каплями. В этом втором сновидении приближался Новый год. Мы принарядили елочку. Она у нас получилась такая, дух захватывает, загляденье, мать его. Сготовили два килограмма оливье. – Мамуля, куда столько? – спрашиваю. Говорит, у нас теперь коровка Жульен, ей надо хорошо питаться. Логично, соглашаюсь. Вместо «Иронии судьбы» показывают «Маску» с Джимом Керри. Я оцениваю по достоинству экспрессию актера. Однако мне не хватает жизненности. Да, предлагаемые обстоятельства, сверхзадача, сквозное действие вполне ничего. Еще эта Кэмерон Диас, женщина, что называется, ведомая. Ладно, не суть. Вы уже поняли, каким я ворчливым и всем недовольным ребенком получился.

В том сновидении родители позвали меня на кухню. Там же стояла наша Жульен, она лизнула мою руку, а я засмеялся. Мамочка протянула кухонный ножик. Рукоятка пластмассовая, с насечками. Да вы свихнулись, пишу я. Вы хоть понимаете, вы делаете со мной то же, что делал Клинтон с Моникой Левински. У отца глаза на мокром месте. В холодильнике Брест, кажется, холодец и мясная нарезка. Зачем они предлагают мне нарезать своего нового друга. Сынок, говорит мама, будь сильным и прикончи Жульен, это необходимо сделать. Отец рыдает, он просит свою жену одуматься. – Говядина, нам нужна говядина! – кричит родственница, выхватывая у меня нож. Она провела лезвием по горлу буренке. Мне кажется, даже на улицах Бронкса не знали о подобной жестокости. У меня помутился рассудок. Следующий кадр, бегу по улице в клетчатых тапочках. Бегу в неизвестном направлении, неясно целеполагание, никого не поставил в известность, к тому же в ненадлежащем виде пребываю на улке.

Мы живы, пока жива Россия, а что же тогда коровка не жива, размышляю в том сне. Ушлые лолиты на детской площадке попивают из банок коктейль отвертка. Одна из них вылитая Натали Портман из киноленты «Марс атакует». О такой мечтает мальчишка, стоя в карауле в Ямало-Немецком округе, например. О такой мечтает мальчишка во втором бараке в Карелии, он засыпает с улыбкой, его командировка подходит к концу. Девчонки такие недоступные, они напоминают акрополь. Смеркается, бегу прочь от своего дома и зарезанной Жульен. Приближается Новый

год. И отчего-то елки, принаряженные к празднику, совершенно слетели с катушек. Сновидение становится излишне гротескным. Древки учинили варфоломеевскую ночь семьям. Из окна вылетел мужчина, вот он сидит в сугробе. Держится за разбитую голову. Улицу наводнили зеленые красавицы. Они величественно шагают, позвякивая игрушками. Тех, кто попадает им под руку, душат гирляндами, режут осколками стеклянных шаров. А я отчетливо понимаю, что это сон, что никакой Жюльен и в помине не было. И рассмеялся своим заразительным, как называли его воспитательницы, инфекционным смехом.

Чувствую, щеки горят. Надо мною склонились три лица, они кажутся комичными, словно под увеличительным стеклом. Губы матери что арбузные дольки. Я хочу сказать, ее губы напоминали две половинки арбуза Каролина, чей вес достигает ста килограмм. Папины глазки огромны, как две луны в кинокартине Мельеса. Нос Кауфман, пожалуй, тут не будет сравнений. – Смотрите, смотрите, – восторженно приговаривала тетка. Ее восторженность вполне понятна. Из моего рта медленно, медленно вылезла пчелка. – Что-то мне это не нравится, – сказал отец, – подобное я уже видел у своего коллеги Якоба, он по пьяной лавочке залез в трансформаторную будку, его долбануло, потом Якоб начал видеть сквозь стены. – Дорогой, хватит рассказывать ужасы, – попросила мама. Тем временем пчелка устремилась под потолок. – Я нарекаю Феклой эту пчелу, эта пчела крестница, – говорит шутиливо папа. Тетка предлагает поглядеть фильм «Блейд», отец недавно взял эту кассету в прокате. Лица взрослых уплыли по принципу облаков, белогривых лошадок.

А дальше я не сплю, зырю киношку о чернокожем вампире, который изничтожает иных вампиров, типа плохих. У него наличествуют серебряный бумеранг, меч из титанового сплава. Из огнестрельного оружия он шмалает по нехорошим ребятишкам, при этом звучит песня «Полковнику никто не пишет». При этом видок у Блейда чрезвычайно важный, словно он проводит литургию. Отец закрывает руками глаза, впечатлительный он у меня. А еще папка такой доверчивый, такой доверчивый. Несколько позже, на заре двухтысячных, когда с финансированием в его институте стало совсем не ice. С ним связались китайцы и предложили денежки, а это, извините меня, государственная измена. Поехал он в длительную командировку по этому случаю. А у мамы начались трудности, поэтому я отправился на постой к бабушке. Вообще, вы знаете, мы с мамой очень близки, будто слова спорт и спирт. Ладно, не суть.

Блейд не боится света, а еще не боится чеснока. На его шее кулон, желтая капсула киндер-сюрприза, в ней, собственно говоря, чеснок. В определенном смысле он законодатель моды. В детском садике каждый второй ребенок носил подобный кулон. Тем временем я глядел на ночной город, в котором юркие кровопийцы опустошали прохожих. Да, ситуация нестандартна, думалось мне. Тетя Инга произнесла: *Oderint, dum metuant*. Мама на нее цыкнула. Латынь кого угодно способна напугать и довести до белого каления. Особенно если человек произносит фразочки на латыни весьма экспрессивно. У него изо рта летит слюна и все такое. Я наблюдал, как угловатая тень Влада Цепеша бродила по нашим стенам. Или то разыгралось воображение. Соседка стерва стучала по батарее. Кауфман ей постучала в ответ. Папа протестовал: давайте выключим эту дрянь, это несерьезно. Тетка опять сказанула на латыни. А окна покрылись черным инеем. А мой первый день в этом дивном жилище на улице Александра Матросова оканчивался.

Хочется отметить, Кауфман знала, силу коллектива определяет ее слабое звено. Поэтому старалась не привязываться к живым людям. Существенно позже мне довелось узнать о ее неофициальной работе. Инга позволила победить мраку, чтобы пробился свет, если можно так выразиться. Выдающийся танатопрактик, о, как мало знали о ней мои родители. Временами она подчищала места преступлений. Ее звали чистильщик в юбке, однако это несусветная глупость, женщина предпочитала кожаные брюки. Милочка посещала все эти кафе Дюймовочка, Ландыш или Ключик. Именно там члены ОПГ любили устраивать боины, отчего-то четырнадцатого февраля. Должно быть, копируя расправу итальянских мафиози из группировки Капоне над своими оппонентами. Мне доподлинно известны случаи, когда тетка убирала места бытовых убийств. Случается, жена застает мужа с любовницей. А муж лопочет, и речь его непонятна, он будто

японец. А жена вовсе не японка, она уроженка российской империи, к тому же у нее при себе револьвер системы Нагана. И она звонит Кауфман из телефона-автомата. И Кауфман помогает прибраться. Помогает обставить все хитрым образом.

Я ни в коем случае не осуждаю свою тетю. Ведь заниматься лингвистикой или заниматься музистикой, да чем угодно, не зазорно. У нас демократия. И какая-то всепоглощающая апатия. Граждане чрезмерно грустят, потому как им хочется любви. Впрочем, речь идет о детстве, тогда все было изумительно и не было насильственных действий сексуального характера против Чипа и Дейла, Черного плаща, дятла Вуди и Скуби-Ду. Однажды Инга взяла меня на дело. Безусловно, я забегаю вперед, поэтам свойственно заглядывать в старость, также им свойственно заглядывать в окна женской бани. Вспомнился вот случай, там тоже фигурировала любовь. Четырехэтажный дом на улице Саянской. Он и она восьмидесятилетние пенсионеры. В прошлом успешные химики, идейные коммунисты. Не смогли справиться с развалом союза. Женщина приготовила любовный торт супруга, Прагу. Накрыла празднично стол, шампанское, салатики. Слушали допоздна Чака Берри, джаз, Окуджаву. Потом приняли химикатов и отправились в долину тысячи огней.

Их внучка вызвала мою тетку. А мне было лет пять, полагаю, замечательный возраст для того, чтобы полюбить манку и прекратить наконец-то себя жалеть. Внучка была расстроена, представьте, какие расходы ожидали. К тому же пенсий теперь не выдать. Дед с бабкой финансировали свою родственницу-художницу. Мы приехали, в квартире пахло аммиаком. Помню, повсюду цветы, герань, фикусы, лимонное дерево, несколько пальм. Стены увиты плющом. Много стеллажей с книгами. На балконе лаборатория, колбы, вытяжной шкаф, весы, реактивы. А внучка расстроена не на шутку, просит Ингу чего-нибудь придумать. Кауфман была выдумщицей полхлебе Елены Блаватской. Нарядила супругов, подвенечное платье, костюм, уложила на кровать. Засыпала шелочью. Потом опечатала спальню. Собственно, получился домашний мавзолей, куда внучка может прийти в любой момент и поговорить со своими стариками. С нами расплатились фамильным серебром. И я предложил Кауфман выковать серебряную пульку. Я бы носил ее в кармашке на случай нападения вампиров.

Инга, подобно скандинавской пророчице Вёльве, верила, в конце всех времен людей ожидает великая зима. Тем вечером, когда меня принесли в квартиру на улице Александра Матросова, она поберегла нервы отца. И сказала: какие мы неженки, ладно, вырубай. Матушка фыркнула, но последовала совету сестры, щелкнула пультом. Кауфман ушла в душ. Там долго бежала вода, упали тапки. Потом хлопнула дверь в маленькую комнату. Родители едва слышно обсуждали мое будущее. Мать предположила, что в телепередаче «Умники и умницы» сыну найдется местечко. Папа пунктуально промолчал. Он у меня пунктуальный, регулярно сверяет биологические часы, боится куда-то опоздать. У меня заурчало в животике. Захотелось испить молочка. Я принялся настойчиво выпрашивать титьку. Цветаева однажды заметила, грудь женская, души застывший вздох, суть женская, волна, всегда врасплох. И была абсолютно права. Волна всегда врасплох, дорогие мои.

Глава 9 Странный бойфренд

Весной я уподобился гепарду. Зеленая крапинка по всему телу. Ветрянкой я болел впервые, можно сказать, дебют. Жутко температурил, а еще сквернословил, а еще бредил Марсом. Гадая, можно ли туда добраться в плацкартном вагоне, желательно не у туалета, желательно не в компании очаровательных дембелей. Полагаю, навязчивые мысли о космической одиссее были вызваны недавним просмотром фильма «Марс атакует». Маман принесла эту кассету из проката, желая порадовать своего Эдгара Аллана, как она в шутку меня называла. Еще принесла хурму, хурма вязала, подобным образом свяжут в будущем террориста Кулаева. Что до всего прочего, я валялся в постели, наслаждаясь чтением книжек. Изредка глядел видеомэгнитофон. Изрядно

критиковал детский садик. С прошлой главы минуло пять лет. Я возмужал, напрочь потерял связь с потусторонним, стал каким-то посюсторонним. Видите ли, детки в первые сутки после рождения не успели закрыть третий глаз. Ах, оставим эту тему. Не хотелось бы пускаться в рассуждения о парапсихологии, тонких мирах, экстрасенсорике.

Помнится, матушка отправилась в гастроном, купить килограмм свиных крылышек для супчика и чего-нибудь к чаю. А я изучал статейку в детской энциклопедии. Там говорилось о стародавних временах, не знаю, о каком веке. Когда вот мальчик и девочка грешили, необязательно на сеновале, хотя и там тоже. А все были набожные, что ты. А коитус у них до свадьбы, дело-то молодое. Они жутко стеснялись. Колется и хочется, ну так говорят. Они снимали свои крестики. Но слушай дальше, там вообще интересно. Археологи поэтому сейчас находят парные крестики. Помню, меня чрезвычайно удивила данная информация. В детсаду были девчонки, которые мне нравились. И я живо представил себе, а вот мы с ними, с Раисой или Галиной, окажись на сеновале, постыдились бы. Или предались разврату, не обращая внимание на возмущенные окрики собравшихся крестьян с факелами. Пожалуй, не постыдились бы, ведь являлись теми еще апологетами свободной любви.

Меня одолела нестерпимая духота. Я был готов распотрошить, как матрас, в котором лежит заначка, готов был распотрошить плюшевого зайца в жертву Персефоне. Лишь бы стало менее душливо. Напевая какую-то нелепую песенку, поплелся на кухню. Засунул голову в морозилку. Потом расплакался от переизбытка чувств. Представил, что моя голова, как голова профессора Дууэля, утратила связь с телом. Она так и останется лежать в морозилке веки вечные. А котелок у меня ничего, вместительный, словно библиотека имени Ленина, тут же подумалось. В морозилке обнаружился пакет с облепихой и клюквой, пачка рыбных палочек, большущий кусок сала, коричневая бутылка, брикет маргарина. Интересно, озадачился я, безумный танец маленьких утят, который мы наблюдаем. Он когда-нибудь окончится? То есть перестанут ли детишки просыпаться тетками и дядьками значительных лет? Мой дружок по детсаду очень любил розетки, однажды он превратился в электрический импульс и скрылся в неизвестном направлении. Полагаю, в знак протеста, ему не хотелось проснуться каким-нибудь продавцом в гастрономе или зоотехником.

Еще я размышлял о взаимосвязи бичей, то есть пляжей и бичей, то есть неопрятных граждан. А потом в этой морозилке я совершенно сомлел. В спальном районе спят очень крепко, так спят, что ни поцелуй принца, ни клизма с кофе не разбудят. Мне привиделась девка в мутоновой шубке и красном платке. Метель, лесной массив. Будто я бегу за нею, желая раскулачить. Она вопит чего-то, удирает. А меня такой смех разбавляет. Валуясь прямо в сугроб. Черное небо со звездочками близко-близко. Поначалу мне в сугробе не очень-то и понравилось. Сугроб не гостеприимен, словно Аль-Каида. В пальцах покалывало, щеки горели. Я бы вам показал на котятках, каким образом происходит угасание зимней ночью, когда ты один-одинешенек. Однако впечатлительных читателей придется потом откачивать. В определенный момент ситуация существенно переменилась. Мне стало тепло и уютно, словно в материнской утробе. Перед глазами мельтешили яркие образы. Будто я проезжал, сидя в электричке, на большой скорости полустанки, деревни, заснеженные поля. Мое астральное тело устремилось в полет. Я кружился над своим детским садиком. Посмеивался, глядя, как одгруппники пресмыкаются перед воспитательницей.

И тут слышу материнский крик: сука, ты совсем, Мишенька! Родственница извлекла меня из морозилки. Потащила в ванную, говорила всякие приятные вещи. Называла органическим чудом свой жизни, бифидобактериями нежности. Купала меня в горячей воде. Сетовала, что задержалась. Соседка пристала, потому задержалась. Просила не пугать ее больше. Намывивала шею. Мне пришлось вскрикнуть, губка больно цапнула кожу. Мама растерянно улыбнулась. Сказала, дескать, какой я у нее смешной, такой жеманный. Должно быть, ее повеселила моя борода из пены, вылитый Линкольн. Мать рассказывала, пока мыла мне уши, как один мальчик долго-долго не уделял внимание своей гигиене. А потом все-таки решил почистить ушки ватной палочкой. Да так хорошо почистил, что обнаружил в ушной раковине целую Атлантиду. – Согрелся, моя булочка с маком? – спросила она. Я закивал, согрелся, согрелся.

А затем случилось нечто совершенно невероятное. В ванную влетел наш стационарный телефон. Он левитировал и звонил. От его трели заныли зубы. Матушка раздосадовано сказала: начинается. Струя из-под крана, вопреки здравому смыслу, стала бежать вверх. Чудом не долетая до потолка, все-таки сталинка, потолки высоченные. Цирк продолжался недолго, мама при помощи ПВО уgomонила наш дисковый красный телефон. А я задумался над словами одноклассника по прозвищу Кучерявый. Ирония в том, что голова Кучерявого была лысой, а сам он походил на африканского слона. Так вот, он обещал отправиться со мною на Марс. Его дядька-геолог предоставил бы нам свою многоместную палатку. Полагаю, мы бы жарили марсианскую картошку, пели бардовские песни и довольно-таки хорошо проводили время. Меж тем маман включила фен и принялась меня высушивать. – А как ты думаешь, на Марсе живут гиппопотамы? – поинтересовался у нее. Фен чудовищно шумел, она ничего не услышала. Тогда я закричал: а как ты думаешь, на Марсе соблюдается кодекс чести? Мама была задумчива и немногословна. Она поцеловала меня в макушку. Выдернула шнур из розетки, спросила, хочу ли я кислородный коктейль. Да, она умеет растопить сердце любого пирата, доложу я вам.

Кислородный коктейль подают в аптеке за углом. Поэтому мы спешно собираемся. Отчего-то мать складывает мои вещи в рюкзак с Винни-Пухом, туда же кладет свидетельство о рождении, справки о прививках. Поражаюсь, неужели для получения кислородного коктейля теперь нужно столько документов. И когда же мы свернули не туда? Рассказываю маман о своих намерениях жениться в среду на Раисе Константиновне. Она хмурится, словно кушает лук в супе. Внезапно наш пленочный фотоаппарат, лежащий на тумбочке. Естественно, сам собой, я подчеркиваю этот момент, сделал снимок. Матушка перекрестилась. И плюнула трижды через левое плечо. Дважды попала в меня. Для пущей уверенности харкнула еще разок, мимо. Я говорю ей: мамочка, вот, как ты считаешь, на нашем веку нам доведется посетить Марс? – Я была в Чехословакии с классом, а еще хотела бы побывать в Будапеште, – ответила невпопад она. – Ну какой Будапешт, – возмутился я. Маман взяла в руки мыльницу, потом с отвращением отбросила ее на диван. Потасила меня на выход. А я все вопрошал и вопрошал о космической программе расселения сирот, о доступных кредитах на звездолеты, о вкусе молока внеземных коров.

Значит, вышли с нею на улицу, там благолепие какое-то, птицы щебечут. Девки в подвенечных платьях бесцельно шатаются. Им нельзя смотреть в глаза. У нас эпидемия среди барышень. Становятся неуправляемые, бормочут чушь, на пацанов кидаются, вылитые зомби. Вероятно, дело в обмене веществ и проблемах с щитовидной железой. Кстати сказать, у нас есть одна девочка в детсаде по фамилии Железнова. Такая любвеобильная особа, доложу я вам. Каждую неделю в прогулочном дворике за кого-то замуж выходит. В песочнице Пашка, сын священника проводит свое таинство, жуки и дождевые червяки у них в качестве свидетелей. А марш Мендельсона воспиталки включают на магнитофоне. Ладно, это все лирика. Зашли мы с мамой в аптеку, она взяла земляничный кислородный коктейль и гематоген. Отпросилась у меня отойти к телефону автомату. Сама нервная такая, озирается, прядь волос изо рта не выпускает, вылитая жук-стригун.

А я призадумался о неуместном тополином пухе. Стоял и чихал, как распоследняя падла, рожденная для любви. Мамочка задерживалась. Коктейль допит. Мужчина-пляж, мужчина-бич в сине-розовом пуховике и джинсах клеш выпил залпом фунтырик боярышника и понохал апельсин. Потом его стошнило прямо на пол. Аптекаря взвилась черным вороном и сравнила его с Конаном Варваром. А в аптеку прибежал чрезвычайно взволнованный отец, за ним le tatap. Папа крепко меня обнял. Приговаривал: мой мирный атом, мой наукоград Обнинск. О, мой бесхребетный папочка, до чего ты на меня похож. Мать частенько смеялась над папой, у него в детстве была золотая рыбка. Он ее перекормил, и она сдохла, так и не исполнив желания. Отец на этот счет очень переживал. Потому что, когда мы тоже того, вы понимаете, я не буду использовать эвфемизмы. Так вот, когда мы окажемся там, нам предстоит пройти мост, а встретят и решат, пустить нас или нет, животные, которые повстречались в жизни. И папка очень переживал, золотая рыбка могла и не простить.

Parents долго шептались. Аптекарьша отмывала шваброй блевонтину. А дядька оказался джентльменом, джентльмены нынче вымирающий вид, они, словно ламантины. Он извинялся и порывался помочь аптекарше. У него из карманов пуховика выпали две картошины. Крахмал препятствует возникновению дурных запахов, догадался я. А гражданин похож на итальянского водопроводчика Марио. Вельветовая красная кепка, усы. Фармацевт отправляет его проспать. А мой отец, слышу, говорит матери: ну пришел и пришел, это же твой дед, он ребенку не причинит вреда. Маман театрално закатывает глаза, она у меня драматическая актрисулька. Возражает: я не буду рисковать своим сыном, сейчас мы отвезем его на ПМЖ к моей сестре! Будучи аутичным ребенком, начинаю кое-чего соображать. Великолепно связываю домашние происшествия с телефоном и фотоаппаратом и собственным прадедушкой, ссылным поляком. Сейчас вспоминаю себя юного и неволью улыбаюсь, в те времена я отменно играл в психологические игры. И глядел недоуменно на приятелей, предпочитающих лапту.

Странности у нас, конечно, случались и до первого визита моего призрачного родственника. Например, там, где росла железнодорожная ветка, там еще красный лес и деревья причудливо изогнуты. По слухам, в том лесу имеется портал в изнаночный мир. Парнишки постарше во дворе рассказывали. Если идти вдоль заросшей узкоколейки, можно выйти к свалке на поляне. Среди мусора ты увидишь старенький холодильник. Правда, я не помню подробностей, какая марка, цвет и все такое. Ко всему прочему, холодильников несколько. То есть надо не ошибиться. Среди малознакомых мальчишек был один, кто добрался до нужного холодильника. Правда, он сейчас пребывает в учреждении закрытого типа для одаренных детей. Полагаю, такова расплата. Словом, этот пацан описывал изнаночный мир следующим образом.

Те же дома, памятники, ларьки, проспекты. Только цвета очень уж тусклые. А еще людей почти нет. Во всяком случае, пока он гулял там, ему попалась всего лишь одна старушка. Она подозрительно клала зубами и преследовала нашего малознакомого, зазывала того на именины. Мальчишка узнал в ней свою почившую бабушку и незамедлительно скрылся. При жизни бабушки у них были натянутые отношения. Парень чувствовал себя неважнецки в том городке. Совершенно не знал, что предпринять для своего дальнейшего увеселения. Его стало подташнивать, в глазах двоилось. Бабка стала мерещиться ему повсюду. В какую бы сторону ни пошел, везде она. В общем, пристающая и липкая, как ливанский гашиш, особа попалась. Он побежал вдоль трамвайных путей, а вокруг все знакомое такое. Ремесленное училище, депо, памятник чернобыльцам. И дымка желтоватая, вонючая-вонючая.

Заглянул в кинотеатр Космос. Внутри шаром покати, народу никого. Лишь в окошке, где продают билеты, тускло горит настольная лампа. И мужской силуэт. Подошел, попросил билетик на ближайший сеанс. Ему как раз рублей десять выдала мама на кефир и картошку. Тишина в ответ, кассир оказался молчуном. Тогда парнишка, а место-то непростое, волшебное, попросил себе крылья. Незнакомец произнес одно лишь словечко: ногти. Ребенок долго тупил, затем просунул руки в окошко. Чик, на пальцах исчезли ногти. Там, где раньше были полумесяцы, теперь розовенькая кожа. Впрочем, боли отрок не почувствовал. А самое главное, он ощутил приятное покалывание в области лопаток. Снял рубашку, подошел к зеркалу, а на спине два крылышка, как у белого лебедя. Этот чудик напрочь слетел с катушек. Еще раз обратился к товарищу, сказал, хочу знать все на свете, химию, биологию, божье слово. Ему в ответ беспристрастно: волосы. Он плечами пожал, голову в окошко засунул. Трах-тибидох, лысым сделался, ни бровей, ни ресниц, ни шевелюры. А еще посерел как-то, зато все на свете знает. И так ему смешно стало, прямо в фойе кинотеатра сам с собою разговаривает: не может быть, ого, поразительно!

Ой, вспомнил, как зовут этого ребенка, его зовут Эдуард. В общем, Эдуард с крыльями и новыми знаниями вернулся домой, то есть в наш мир. А его схватили под белы ручки и отправили в специальное учреждение, потому как знал слишком уж много. Временами мы с ребятами приходим его навестить, только нас никогда не пускают. Поэтому мы вынуждены стоять под окнами. И кричать Эду, дескать, он молоток, все будет хорошо и прочую лабуду, в которую никто не верит. Однажды он даже выглянул в форточку, наш серенький лебедь. И рассмеялся так, что у гражданки, проходящей с тяжелыми пакетами мимо, стало плохо с сердцем.

Но главная странность, пожалуй, не в этом. Помните, я говорил про железнодорожную ветку, мусорную поляну с холодильником и лесок? Их отделяют от остального города ЖД пути. Кроме Эдика, насколько мне известно, в изнаночный мир никто еще не попадал. Хотя желающих предостаточно. Диковинка в том, что стоит кому-либо приблизиться к тем путям, как начинает идти поезд, он идет, идет, идет. Неисчерпаемый поезд мешает подойти к лесочку. Снова отошел от рельсов метров так на тридцать, состава нет. В общем-то, бытовая магия какая-то. Или вот странность. Сосед Чагин. Он вытворял с песиком Айком невообразимые вещи. А пес Айк, вы знаете, есть такая порода, такса, весьма сообразительная псина, верная и все такое. Чагин мазал собственные ступни кормом для собак, а потом наслаждался, пока собачка слизывала с его ступней корм. С антропологической точки зрения этот процесс любопытен, однако Чагина, насколько я помню, потом посадили за непристойное поведение. Он терроризировал коллегу по работе, размахивал своей эбонитовой палочкой перед ее носом.

В общем-то, мамочка решила временно разместить меня в доме Кауфман. Кауфман, доложу я вам, в определенном значении ведьмочка. Она, как сейчас помню, всегда твердила: тестостерон ингибитор и преграждает путь к эфирному миру. Собственно, поэтому отношения с мужчинами у нее всегда были натянутыми. Впрочем, ко мне она относилась с особенной теплотой. Мы вышли из аптеки и направились к троллейбусной остановке. – Борис, не спеши так, – предостерегала мама. Маман хотела назвать меня Борисом, чтобы я боролся с несправедливостями мира. Мирись, мирись и больше не дерись, как говорят сраные хиппи. Кажется, отец приглашал маму в Тегеран, его хотели отправить туда на два месяца, командировка. Делиться опытом. Мы сели на пятый трали-вали. Я учинил скандал, захотелось в туалет. Некая бабка, лица и прочих подробностей не помню, сказала, протягивая зеленый эмалированный горшок: передайте этому юному антихристу. Отец неловко рассмеялся, вероятно, вспомнил одну любопытную цитату. Убей или будешь убит. А убивать незнакомых бабок папа был не приучен, воспитание не позволяло.

Стал накапывать, накаркивать дождь. Дождь не явился спасением от духоты. Казалось, воздух сделался таким густым, что впору его замешивать вместе с мукой, дрожжами, солью и водой. А затем печь пирожки со слезами. Слезами по миновавшей юности, слезами по тому-то, тому-то. До сих пор убежден, дождик это чьи-то слезы. Я задумался, пока мы ехали. Задумался о несправедливости. Вот почему на туалетах пишут лишь две буквы, М и Ж. Можно же использовать оставшиеся тридцать, чтобы никому не было обидно. Я рассказал матери о собственных соображениях на этот счет. Мамуля, что называется, игнорировала. Зато услышали другие пассажиры и, кажется, одобрили данную затею. Отец принялся меня тискать и говорить всем, дескать, сынок шутит. Он боялся скрытых агентов Моссада. Мне захотелось насолить ему, поэтому, едва сдерживая улыбку, я закричал на весь троллейбус: Леня Брежнев, слава богу, тоже бегал в си-нагогу! И папа начал оправдываться: это его в садике научили, это не его мысли, мысли у него хорошие, правильные, про покемонов, про Алису Селезневу. Маман устало проговорила: как вы меня достали оба.

Остаток пути все граждане провели в тягостных раздумьях. Нам оставалась одна остановка до жилища Кауфман. Когда на меня нашло вдохновение. Это так на меня похоже, быть взбалмошным, игривым. Предсказывать судьбу по тому, с какой интонацией тот или иной человек читает мороз и солнце день чудесный. Или знакомиться с дамочкой, делая комплимент ее шишковидной железе. Дескать, вы знаете, подобные железы я никогда не встречал. А ваше тело, о, боже, такое холодное и синее, боюсь, мне придется регистрировать вас как холодное оружие. Словом, остаток пути я радовал пассажиров своим рифмованным бредом. Папочка пытался меня перекричать, читая стихи не менее любопытные, однако какие-то садистские: дети в подвале играли в гестапо, зверски замучен сантехник Потапов!

Район, где проживала Инга, считался неблагополучным. Какие-то сукины дети населяли его. По крайней мере, матушка была не в восторге от интеллектуальных способностей жителей тех мест. Вероятно, близость атомной помойки тому виной. Мы вышли на остановке Лесная. Родители были сосредоточены и в разговоры не вступали. Из распахнутых окон серой коррекцион-

ной школы в форме подковы летели разные предметы, линейки, ластики, тетрадки, треугольные пакеты молока. Ребята балагурили, шум стоял такой, что мурашки бежали по спине, а ладошки вспотели. Слышалась незнакомая речь, вернее, даже не речь, а гортанные звуки. Маман повела нас дворами. Черные бараки казались хищными птицами. Вот-вот они начнут махать своими крышами-крыльями, вот-вот налетят, чтобы сожрать путников. Во дворе на веревках сушилась одежда, лазоревые трусы, белые рубашки, розовые платки, бежевые панталоны. Я спросил маму, до каких пор нам предстоит прятаться от собственного прадедушки. Она лишь хмыкнула и намекнула о своем недовольстве, преобильно сжав мою руку.

Папа с любопытством рассматривал местную жрицу любви, прозванную леди учебник. Жрицу любви в лакированных красных сапожках, горчичном пиджаке. Подслеповато щурясь, она считала мелочь, стоя на полустанке. Кудрявые волосы, сожженные гидроперитом, до плеч. Очки с чудовищно толстыми стеклами. Тонкие губы, зеленая помада. Существенно позже я познакомился с ней ближе. И мне стали известны обстоятельства жизни леди учебник. Дамочка являлась белой вороной, коллектив ее не принимал, коллеги посмеивались. Была у нее одна особенность, можно сказать, талант. Во время выполнения непосредственных трудовых обязанностей с ней случалось что-то похожее на состояние транса. Не знаю, как это происходило с технической точки зрения. Однако леди учебник могла передавать клиенту в момент близости знания. Ей было достаточно накануне прочитать целиком книжку. Надо ли говорить, клиенты у нее были сплошь студенты, ученые, доценты. Отец на нее плотоядно засмотрелся. Мама выразила недовольство, крепко сжав его руку. Он вскрикнул: больно, дорогая! Матушка произнесла: это некультурно, нельзя пилиться на людей.

Тем временем дождик усилился, черная земля превратилась в кашу. Наше семейство в составе трех человек могло показаться образцово-показательным, но это только на первый взгляд. Совсем скоро у маман случилась истерика. Грязюка комями прилипла к подошвам. С грязью у маменьки личные счеты, она ее на дух не переносит. Поэтому мама неистово закричала: уроды, уроды, довели! Мы с отцом отошли от нее на почтеннейшее расстояние. Мамочка оторвала от скамейки доску и теперь ожесточенно избивает кустарник. Папа показал на небо, там пролетал кукурузник. За кукурузником тянулся кислотно-зеленый след. Я спросил, с какой целью кислотно-зеленый след тянется за самолетом. Отец помрачнел и ответил, погладив меня по голове: это дурость, ничего хорошего из этого не выйдет. Наконец, матушка выпустила пар. Она нетерпеливо спросила: отчего господу изволили остановиться, господу давно не получали пощечин? И устремилась в сторону блошиного рынка.

Мы едва поспевали за ней. По пути нам встретился жуткий палисадник, его населяли плюшевые единороги. Сотни плюшевых единорогов повсюду, на заборе, в зарослях борщевика. Я спросил у папы про улицу Сезам, спросил, а правда ли такая улица существует в природе. Он пространно ответил, дескать, мы все на ней живем, и в этом, пожалуй, трагедия. *Le petit mamap* подгоняла нас. К счастью, она утихомирилась, поэтому казалась уравновешенным человеком, с которым можно вести дела. Впрочем, я понимал ее как никто другой, неврастения это семейное у нас. Отдавать меня, пусть и на время, на попечение тетки мама категорически не желала. К сожалению, через год обстоятельства сложатся таким образом, что ей предстоит расстаться со мной на три долгих года, и воспитанием литератора займется бабушка, известная любительница творчества Леонида Андреева, петушиных боев и семечек.

Инга Кауфман обитала в частном доме. Тетино жилище являлось ярким образцом эклектики, если я правильно понимаю это слово. Мы с превеликим трудом подошли к двухэтажной крепости. Повсюду росла высоченная крапива. Дом напоминал диковинное существо, населяющее остров Моро. Я как раз недавно прочел «Остров доктора Моро», так вот, на нем проживали люди-быки, человек-собака и прочие. Подобный дом вполне мог присниться в горячечном сне девке с психозом. Во дворе на деревьях были развешаны диско-шары. Подле чахлого колодца валялся череп козла. Мама трижды плюнула через левое плечо, застрелила отца. Тот лишь посмеялся. Капли дождя тарабанили по жестяной крыше. Мне отчего-то вспомнились слова соседа-афганца. Он

говорил, нельзя быть за все хорошее, против плохого, пока кыштымский карлик Алешенька не обрел счастье. Еще во дворе я заметил сокрытое от глаз кустарниками здание из красного кирпича. Огромная труба плевалась черным-черным дымом. Несколько позже мне стали известны пугающие обстоятельства. И про дым, что валил из трубы, я узнал.

Родители прочитали молитву и только тогда вошли в дом. Тетка встретила нас в сенях. На ней были старомодные коричневые брюки, бирюзовая полосатая рубашка. Она опрометчиво бросилась меня обнимать. Матушка недовольно спросила: дорогая моя, а ты помыла руки прежде, чем лобзать ребенка, ты его лобызаешь, а Миша недавно болел ветрянкой. Инга сказала: и тебе привет, злюка. Взрослые принялись обсуждать свои взрослые делишки. В тех обсуждениях не было места смешным коленкам одноклассницы Рогачевой. Они у нее похожи на китайских пьяниц. А сама Рогачева напоминает очаровательную водородную бомбу. Кауфман показала комнату, в которой мне предстояло жить. В комнате витал дух авантюризма.

Пробковая шляпа на подоконнике, такие носят археологи или те, кто собрался на сафари. Большая карта мира, она почему-то на потолке. Несколько ружей стоят в углу. Красный вымпел со значками пришпилен к настенному ковру. Диван являлся кроватью. Родители заглянули как раз, когда я построил из пыльных подушек свой маленький Освенцим. Не чужие для меня люди были до крайней степени расстроены, им не хотелось расставаться. Понятное дело, мне с собою тоже не хочется порой расставаться. На их глазах выступили слезы. Я расплакался в ответ, словно меня отлупили молотом ведьмы. Вспомнился этот молот ведьм в связи с передачей о третьем рейхе, которую я имел честь поглядеть last night. Надо было поддержать стариков, хотя бы не разводило сырость, хотя бы подмигнуть им. Не робейте, ребята, мы еще дадим бой космическим захватчикам. Однако слезинки предательски капали на деревянный пол. Из них прорастали видные поэты, такие как Хармс, Ходасевич и другие. – Глицерин или нитроглицерин кто-нибудь дайте! – закричал я. Страшное дело, все мы сердечники. А тут разлука, переживут ли родители. И тут же сам себя успокаиваю, сдюжат. Всхлипы маман слышатся в прихожей. Наконец они уходят.

А к нам является так называемый Олег. По всей видимости, тетка была профаном в сердечных делах. У нас есть одноклассник, зовут его Вениамин. Хороший, в сущности, малый. Но вот не везет парню с девчонками. Однажды, когда Вениамин вступил в пубертат. Когда гормоны бурлят, а ты хоть бурят, хоть нанаец, хоть индус, хоть испанец. А все-таки с гормонами не шути. В июне это случилось, Веня выносил елку на помойку, куцую такую, новогоднюю. И произошел контакт с деревом, опустим подробности. Так они и живут, насколько мне известно, по сей день. Семья, состоящая из человека, елки и двух престелных елочек, Кристинки и Сашки. Кауфман позвала меня на кухню, кивнула на тарелку со спагетти и фрикадельками. Я присел за стол, принялся трапезничать, на прищельца ноль внимания. Заводить новые знакомства, особенно близкие, не в моих интересах. Уже тогда я четко понимал, большая литература занятие для Грегора Замзы. Одинокое Замзы. Тикали настенные часы. Инга кокетничала: Миша, Олег, мальчики, вы такие загадочные, я так смущаюсь, так смущаюсь, сразу два кавалера за мною ухаживают. Олег щелкнул пальцами. В пустой вазе на окне волшебным образом появляется красная гвоздика. Родственница восторженна, дебильно хлопает в ладоши.

– Меня зовут Олег, а тебя? – спросил ухажер. – А меня Сигизмунд, – ответил ваз. Тетка хихикнула. Однако поправлять не стала. На улице продолжал идти дождь. Гражданин сдержанно покашлял. Я наматывал спагетти на вилку. Попивал брусничный морс. – А хочешь узнать, чем я занимаюсь? – продолжил занудствовать мужчина. Ради приличия спрашиваю этого костлявого дядьку: – И чем же вы занимаетесь, Олег? – На нем какая-то мантия, как на профессоре Снейпе, черная атласная рубашка, на шее серебряный кулон в виде клубка змей. Волосы у него белые, глаза зеленые. – Олег медиум, – загадочно произнесла родственница. Фу ты, ну ты, думаю, смотрите, какой важный нашелся. И тут он говорит самонадеянно: напиши на салфетке свое нелюбимое животное. Инга тоже пристала: напиши, напиши. Я и написал: биссектриса. Гражданин руками делает пасы, салфеточка сама собою взлетела, потом вспыхивает, обращается пеплом. Ухажер говорит: жираф. – Шах и мат, – сказал я, – не угадали. – Кауфман занервничала: Мишенька, в

твоим возрасте мата не надо. – Все в порядке, – медиум прикрыл глаза и по-пчелиному загудел. Я не выдержал и спросил: Олег, а что вы сейчас делаете? Мужчина не соизволил объясниться. Инга укоризненно сказала: он входит в резонанс, настраивается на нужные волны. Я пожал плечами, поблагодарил тетю за ужин. И уже было собрался возвратиться в свои покои. Однако гражданин заговорил женским голосом.

Пребывая в трансе, ухажер транслировал слова некой писательницы, жившей какое-то время назад. Откровенно говоря, мне было неловко глядеть на половозрелого мужика, занимающегося такими мерзостями. У Инги горели глаза, она была крайне возбуждена, ее трясло от нетерпения. Спрашивала и спрашивала: что вы хотите нам сообщить, как ваше имя, из какой вы страны? Визитерша через Олега ответила: я пришла посоветовать этому мальчику прислушаться к тому, как стрекочут сверчки в покрытой росой траве, яркие, маленькие светлячки мерцают, пролетая мимо. – Весьма оригинально, надо признать, – оценила Кауфман на твердую четверку сочинение гостя. Олег задумчиво произнес: я родилась в Бостоне, штат Массачусетс, мой отец был профессором энтомологии, его страсть пчелы, мне исполнилось десять, когда папы не стало, сейчас он переродился в пчелиную матку, а мне так одиноко тут, вы бы знали, как мне одиноко слоняться по этому дому, тут пахнет газом и некому прочесть стихов.

Я притомился, новый ухажер тети казался мне явным прохиндеем. Впрочем, все мы склонны ошибаться. Помнится, как-то влюбился в одноглазую девочку Фаину, она происходила из семьи циклопов. Я обжегся. Не стоило признаваться в своих чувствах тем утром, когда нас привели в садик. У шкафиков это произошло. В ответ она рассмеялась, единственный, изумрудный глаз хитро прищурился. Вдруг девка бросилась на меня с маленьким кухонным ножом. Позднее стало известно, Фаина собирала себе ожерелье из разбитых сердец. Чрезвычайное происшествие районного масштаба, были вызваны ее родители, пожарные, милиция. Не хотелось бы, чтобы ситуация повторилась и Кауфман разбили сердечко. Я сказал Олегу: Олег, возвращайтесь в свое тело, это попросту нелепо, к тому же я крайне утомился сегодня. Гражданин весь затрясся, изо рта пошла пена. Затем он рухнул. Инга недовольно скривилась. Пока мужчину била дрожь, она произнесла иронично: смотри, пирожок, он похож на овечку в тумане. Мне не хотелось полемизировать с нею, не хотелось ломать свой режим сна. Поэтому я ушел.

И долго не мог уснуть на новом диване, который являлся в то же время кроватью, ворочался. Воспоминания об одноглазой Фаине разбредили душу. К ней относились предвзято, к ее семье относились предвзято. Афроамериканцев у нас отчего-то не жаловали. Ой-вей, она виртуозно втерлась в доверие. Зная о моей страсти, зная о том, что я брежу космосом. Обезоружила своей улыбкой, сверкнули ее белые, как мякоть кокоса, зубы. И я во власти эмигрантки с Кубы. Почему же они переехали к нам, почему же променяли афро-кубинский джаз, Долину Виньялес, заповедный архипелаг на город Ангарск, не помню. Был у нас один блондинчик четырех лет, Коля. Он третировал Фаину, называл обезьянкой Чи-чи-чи, спрашивал, почему она продает кирпичи. Мне было досадно слышать подобные измышления. И я вызвал Николая Абрамовича на дуэль. Мы сошлись в неравном поединке в песочнице, девчонка по фамилии Железнова вышла замуж в очередной раз за какого-то несчастного. И они благополучно удалились в свадебное путешествие в заросли акации. Поэтому в песочнице нам никто не помешал, мы ели муравьев, кто больше съел, тот победил. Излишнее количество муравьиной кислоты в организме вызвало опьянение. Потешно, в дальнейшем мы с Колей подружились. И он перестал донимать Фаю. И стал человеком-муравьем, но это совершенно другая история.

Глава 10

Ты не спеши с выводами, дурачок

Посреди ночи я был разбужен беспрецедентным запахом костра. Мне как раз приснилось кое-что пугающее, что там пугающее, настолько гротескное, просто караул. Надо сказать, одно из

первых нецензурных слов, что я освоил. Было слово, чья коннотация известна любому дошкольнику. И слово это ничто иное, как женские причиндалы. Маман была несколько обеспокоена и сказала, дескать, будешь повторять данное словечко, оно явится. И тебе, дорогой мой дружок, совершенно не понравится данное зрелище. Пять букв, которые ты произносишь с таким упоением, есть имя самого настоящего бесформенного монстра, сочащегося липкой, дурно пахнущей влагой. Он возникнет внезапно, когда ты будешь не готов. Словом, перед тем, как проснуться от запаха костра. Тот орган женского размножения привиделся мне на стене. Он, словно большущий слизняк медленно-медленно приближался к вашему литературному. Я схватил плечики и вступил в неравную схватку с отвратительным порождением детских комплексов. Я слышал ужасающее хлюпанье, взопреп и совершенно отчаялся.

Обобщая вышесказанное, я проснулся в смятении, долго глядел на стенку, на которой висел бордовый ковер. Луна едва освещала комнату. Неохотно покинул постель. Нацепил рубашку и брюки. На цыпочках вышел в коридор и ощутил нестерпимый жар. Тарахтела вытяжка, где-то лаяла собака. Я пробрался в сени, потом очутился на улице. Серебристая роса на траве блестела. В окне небольшого дома горел свет, вытяжка тарахтела именно там. Я ступал осторожно, готовый в любой момент повзрослеть или ретироваться. Гнус облил мои щеки. Фальшивя, пели цикады. Воображение разыгралось, я представлял себя межгалактическим путешественником. За каждым кустом, казалось, притаились гуманоиды. Я выстрелил из палки, пиу-пиу. Энергетический луч испепелил биржевой рынок. Пиу-пиу, испепелил партию героина с ближнего востока. Дверь была приоткрыта. Мое любопытство не имело границ и загранпаспорта. Единственная лампочка освещала, просвещала дремучую темень. На крылечке стрекотал упитанный майский жук. Его черные, умные глазки и очаровательные реснички меня покорили.

Я вошел в таинственный домик. Внутри пекло, словно в утробе любимой женщины в минуту соития. Верещал магнитофон, песня Goodbye Horses, исполнитель Q Lazzarus. Три металлических прозекторских стола, на одном лежала одежда медиума Олега. Мантия, атласная рубашка, даже кулон в виде клубка змей. Кауфман стояла ко мне спиной, подпевала. – Прощайте, лошади, прощайте лошади! – На ней серый больничный халатик поверх василькового шерстяного платья. В шкафчике со стеклянной дверцей, точно такой же стоит у нас в медицинском кабинете в садике, стоит заметить. Там лоток с инструментами, всякие скальпели, зажимы, пинцеты. Кафельная плитка на полу и на стенах. Прозекторская нисколько не пугала юного Аллана По. Наоборот, я с любопытством хлебнул ядреный спирт из колбы. Это меня dokonало, из глаз прыснули слезы. Надсадно кашляя, выкрикнул слово, начинающееся на П и оканчивающееся на А.

Обнаружив ночного визитера, тетка бросилась ко мне. Ее жаркие губы целовали мое лицо. Женщина причитала: что ж такое, кто ж в таком возрасте пьет медицинский спирт. Я с трудом вырвался. И поинтересовался охрипшим голосом: ты совершенно не разбираешься в мужчинах? Кауфман подтвердила: не разбираюсь, мне незачем в них разбираться, у меня есть ты. Всякие придурки любят начинать истории со слов: откровенно говоря. Откровенно говоря, поведение Инги казалось подозрительным. Интуиция или опыт, называйте как хотите. По крайней мере, в школьные годы меня за такое поведение грозились сослать в ПНИ. Интуиция подсказывала, что надо быть начеку с этой роковой, словно Жиль де Монморанси-Лаваль, он же синяя борода, женщиной. По радио передали: орнитологами удалось спасти популяцию редкого вида дрозда. Услышав новость, тетя запела на манер Арлекино: орнитолог, орнитолог, ты для нас награда, всех. И выдала мне исконно славянскую конфету мишки на севере. Полагаю, в знак безграничной любви.

И все-таки улизнуть в свою комнатку мне долгое время не удавалось. Помнится, тетка делилась соображениями, приглашала в какое-то путешествие. – А как же мы поедем, родители пропадут без меня, они такие несамостоятельные, просто кошмар, устроят водевиль, сожгут суп на плите, затопят соседей? – наивно спрашивал я. – О, ты недооцениваешь своих предков, дорогой мой пирожок, чем раньше ты поверишь в них и примешь, что они вправе лететь на луну, тем будет лучше, – поучала Кауфман. Она возилась со своей промышленной печью. А я, кажется, задремал, сидя в пурпурном чехословацком кресле. Родственница чего-то рассказывала. Сквозь сновиден-

ческую плеву доносились обломки предложений. – Очаровательное место, Бурятия рядом, вкуснейшие вишневые пироги, потусторонние пироги, пироги за гранью добра и зла. Мне снились недавние события. Маман привязывает белую нитку к моему шатающемуся зубу, отчего-то зуб называется молочным. Другой конец нитки она привязывает к двери, чпок, зубик вылетает из пасти. Помнится, положил его по совету отца за тумбочку, на которой стоял телевизор. На следующий день зуб исчез, а вместо него там появился шоколадный батончик. Тогда я спешно оповестил детишек в садике. Дескать, все сдаем свои зубы, будем обменивать их на сладости. Воспиталки, придя будить нас после тихого часа, обомлели. Полагаю, окровавленные, улыбающиеся рты не забудутся им никогда.

Ощущая прикосновение к щеке. Тетина рука шершавая. Не помню, как очутился в постели. Совсем рядом пищит мышка. Едва слышно гудит электрощиток. Капли дождика стучат по подоконнику. Дождик идет в комнате. Накрываюсь с головой одеялом. Запоздало вспоминаю о гомункуле, которого вывожу из куриного яйца. Я оставил яйцо в питательной среде, в стеклянной банке. Банка стоит у батареи в маленькой комнате. Надеюсь, старики о нем позаботятся должным образом. Если, конечно, гомункул найдет в себе смелость явиться, а если явится, необходимо ли ему посещать детсад. Инга тянет одеяло, говорит: не кутайся так, взопреешь, а потом тебя продует ветром Норд-ост, а потом ты простудишься, слышишь, как он завывает? Я прислушиваюсь. И вправду, воет совсем рядышком, ууу. Низенько, под потолком луна, напоминающая ватрушку. Нам такую луну давали на полдник. В иллюзорной действительности угадывались черты советских сказок. И я полусонно затянул союз нерушимый республик свободных. Тетя умилилась, сказала: тише, тише. Я с готовностью спросил, язык заплетался: а тише это насколько громче? Кауфман ответила: это гораздо шире экватора, теперь спи, многоножка. Напоследок я совершенно серьезно уточнил: я злой и страшный серый волк, я в поросятах знаю толк? Инга была так же серьезна: несомненно, пирожок, несомненно.

Грядущим утром, то есть не грядущим, наступившим утром я проснулся квелым, словно клецка. Явственно пахло вареными сосисками, гречневой кашей и кофе. Чудовищно долго я плескался в ванной, готовился ко встрече с марсианскими девицами. Гигиена в нашей семье соблюдалась на высшем уровне. Хлопья пены шипели. Резиновая, полая внутри лягушка дрейфовала. Я стал перекачивать во рту, точно фундук, буквы в слове дрейфовала. И так увлекся, что не заметил, как вода перелилась через край ванны. А когда осознал масштаб, тогда советский союз уже развалился.

Внезапно вошла эффектная гражданка. Мне подурнело, но, присмотревшись, я узнал тетю Ингу. Она превратилась в блондинку с короткими волосами. Ее некогда кожаные брюки сменилась на другие брюки, обычные, белые. Ворот черной водолазки, бог ты мой, какая же у нее длинная шея, она же вылитый жираф, подумалось мне. Ее глаза, какого же они были цвета до столь необычного преображения, явно не цвета апельсиновой газировки. Непонятная природа ее новой красоты, непонятная, как почерк педиатра, пугала. Будем ли мы дружны с новой теткой, то есть тетка-то старая внутри, новая только снаружи. Будем ли мы с ней дружны, словно члены музыкальной семьи Овечкиных с улицы Детской. Подозреваю, такую красотку оценили даже жители Филиппин, всему миру было видно ее величие. По прошествии я посвятил ей поэму под названием «Кауфман великолепная».

Небо затянуло тучами. Дождь хлестал по заднице строптивую ученицу за то, что изгадила всю тетрадь чернилами. Мы с тетушкой бежали, как умалишенные, к малиновому микроавтобусу ниссан ларгус. Глазастенький микроавтобус напоминал марсоход. Ветер переломил салатовый зонтик Инги, она отбросила бесполезную вещицу в кусты шиповника. Крепко держала меня за руку. Прокричала что-то про газ, дескать, Миша, мы выключили газ. А у меня слабая память на имена. У нас один мальчик в детсадике постоянно икал, его вечно вспоминали. Просто до комичного доходило. Поет на утреннике в хоре, ик, ик. – Да что же ты, неугомонный, – бубнила воспиталка. Так его и вспоминают по сей день. – А вы помните, был такой-то, командовал конным полком, говорят, взяли в плен, теперь служит на вражеской стороне. – Ах, предатели плохо

кончают. – А этот, вроде, ничего. – Просто еще не пришло его время. – Вы так думаете, хо-хо? – Я глубоко убежден, строптивцы и предатели получают свое.

Автомобильная дверь едва не прищемила ногу. В салоне пахло персиками и чем-то затхлым. Кауфман включила кассету с рок-н-роллом. Завела свой ларгус. Тяжело дыша, глядела в окошко. Град с теннисный мяч стучал по крыше. Тетя врубила печку. Капли стекали по моему лбу, по спине бежали мурашки. Я продрог и больше не хотел ехать в путешествие. Инга предложила переодеться. Микроавтобус представлял из себя настоящий дом на колесах. Раковина, шкафчик, душевая кабина, широкая нара с матрасом. Тетушка оберла меня махровым полотенцем. Нацепила на своего обворожительного племянника флисовый серый комбинезон. Сама надела точно такой же. Я задумался о теле Кауфман. Пока она переодевалась, я невзначай взглянул на ее гладко выбритый лобок. Женщины, которые встречались мне, например, в бане, куда бабушка водила за компанию. И в качестве поощрения за хорошую учебу. Имели внизу живота черное море, у кого-то была квантовая запутанность, у кого-то березовая роща. Но эти походы случались в раннем детстве, поэтому я не в курсе, как сейчас принято.

Дворники скрипели, лобовое стекло стремительно покрывалось влагой. Я вообразил себя штурманом, повсю давал указания. Кауфман умилилась, ей слышалось, что я читаю стихи. – Какой ты у меня Ника Турбина все-таки, – говорила она. Тем временем автомобиль выехал на трассу. На встречной полосе случилась досада, грузовик стоял поперек дороги. За ним выстроилась колонна легковушек. Мы проехали памятник первым пришельцам, заглянувшим в наш город в шестидесятом году, пришельцам строителям, ведь такой внеземной город могли построить только они. Памятник был выполнен в виде летающей тарелки, поразительно напоминающей знак радиации. Инга набрала скорость. Тополя и березы, дубы и осины мерцали и голос Элвиса Пресли мерцал. Тетушка ему подпевала, словно пеночка-теньковка. Ниссан заносило. Я спросил, о чем она мечтает. – В глобальном смысле? – уточнила Кауфман. – В личном, в интимном смысле, – сказал я. Женщина долго размышляла. Мы успели проехать полигон, какой-то поселок. Наконец она произнесла: пожалуй, мне бы хотелось совершить идеальное преступление, знаешь, в Калифорнии лет двадцать назад был такой парень, его звали Зодиак, он подкарауливал влюбленные парочки, а потом...

Впереди показалась заправка и придорожное кафе. Инга предложила: давай-ка остановимся и подкрепимся, мне бы не помешал галлон кофе. Ларгус притормозил, под колесами захрустел песок. Вышли из нашего звездолета и вошли в кафешку. Мы были единственными посетителями, даже персонал куда-то запропастился. Присели за столик у окошка, рядом гудел обогреватель. У туалета стояло чучело волка. Его оскал был принят мною за улыбку. На бревенчатых каштановых стенах висели синие плакаты; еще чуть-чуть – и космос наш, покупайте участки на Венере уже сегодня, ваши внуки офигеют. К нам, покачивая бедрами, подошла официантка в красном хлопчатобумажном платье с белым воротником. В руках она держала блокнот. Инга произнесла, забавно морща лоб: я бы сейчас безоговорочно капитулировала перед мясным рулетом и литром американо. Я не был столь категоричен, поэтому заказал пюре с котлетой и вишневый сок. На бейджике официантки написано: Варвара. Варвара краса, только ум и душа, мысленно постановил я.

В кафешку вошел человек, промокший, как последняя падла. На нем буро-коричневое шерстяное пальто, черные брюки, на голове горчичная шляпа. Кожаный увесистый портфель. Он присел за соседний столик, поближе к обогревателю. – Ну и погодка, – сказал гражданин, расстегивая пальто. Наша Варвара обратилась к нему: уважаемый, давайте я возьму ваши вещи, у нас в комнате для персонала батареи жарят, как в Неваде, вещи высохнут в два счета. – Премного благодарен, надеюсь, в вашей комнате для персонала нет радиации, как на невадском полигоне, – усмехнулся незнакомец. Я пялился на девушку. Тонкие бордовые губы, сиреневые веки, желтоватые волосы забраны в хвост. Она унесла пальто и шляпу мужчины. Теперь я пялился на него. Гражданин достал из портфеля газету, положил перед собой, стал изучать. Ему около сорока, он сухощав, щеки выбриты до синевы, морщинки в уголках глаз, лысеет со лба. На груди фланелевой оранжевой рубашки пурпурный значок, пятьдесят лет КПСС. Гражданин слюнявит палец, чтобы

перелистнуть страницу. Кауфман гладит меня по голове, спрашивает, доводилось ли встречаться с прадедушкой раньше. Говорю, он приходил прошлым летом, тогда еще внезапно пошел снег.

Кажется, было первое июня, летом детсадик не работал. И в этот последний день перед каникулами нас отпускали пораньше. Родители приходили за детьми, а за мной долго никто не приходил. Прошло минут пять с тех пор, как последнего одноклассника увела сестра. И тут появляется высоченный, импозантный джентльмен в бежевой вельветовой куртке. Лицо его до крайности бледное, глаза не глаза, но Марианские впадины. И холодом от него веет. А в комнате у нас, где шкафчики, внезапно начинает идти снежок. Воспиталки нервничают, вы за кем пришли, вы за кем пришли! Он и говорит: ни за кем я не пришел, я принес вон ему подарок. Наклонился к моему уху и рассказал шепотом нечто настолько грандиозное, что я невольно напрудил в штаны. К сожалению, дорогая тетя, совершенно не могу вспомнить сведения, переданные родственником. Полагаю, дорогая тетя, мне легче рассказать тебе про покупки, про какие про покупки, про покупки, про покупки, про покупки мои, нежели воспроизвести речь прадеда.

Варвара, цокая каблучками, приносит салатный поднос, на нем тарелки с едой, два железных кофейника. Один из кофейников она ставит перед гражданином. Незнакомец отвлекается от газетенки, благодарит. Потом она занимается нами. Тетушка без промедления набрасывается на мясной рулет. Ее зубы вгрызаются в запеченную плоть. Плоть сочится ароматным жиром. Делаю глоточек вишневого сока. Тетушка хлещет кофе прямо из кофейника, говорит с набитым ртом. Я не стал ее перебивать, потому что знал, язык это живой организм. Подобно ребенку, он учится новому, переживает по поводу первой поллюции, стесняется пригласить девку на танец, курит украдкой в открытую форточку и все такое прочее. Также я знал, речь это выражение языка, речь и язык тесно связаны. Кауфман рассуждала о корреляции либидо и активной гражданской позиции. – Возьмем то же феминистское движение в Америке, сдастся мне, какими бы они ни были фригидными, по их собственным утверждениям, – вещала тетушка. Тут же уточнила: пирожок, тебе знакомо понятие фригидности? Я возмутился: дорогая тетя, мне знакомо это понятие и даже больше. Она примирительно сказала: all right, ковбой, all right.

Пюрешка оказалась сущим кошмаром, пересоленная и водянистая. Варвара принесла вафельные трубочки с кремовой начинкой. – Милочка, – произнес я учтиво, – мы не заказывали вафли. Официантка горестно вздохнула: это подарок заведения, наш повар приготовил их в таком количестве, их девать некуда, хватит до самой пасхи. А затем Варя удалилась. Инга тут же спросила, где бы мне хотелось переночевать. Сообщила, что на хрустальном озере, куда мы направляемся, имеется недурной мотель. – Или тебе больше нравится идея заночевать в машине? – А почему мы, собственно, едем на хрустальное озеро, я слыхивал, там высоченный уровень химического заражения, – высказал я свои опасения. Тетя допила остатки американо. Задумчиво сказала: мне кажется, у страха глаза две реки, мне видится неправильным идти на поводу слухов, а в этой жизни осталось так мало поводов для радости, приличной даме с племянником не пристало менять свои планы в угоду химическим заражениям. В общем-то, я принял доводы тетушки и стал пожирать вафли. Они оказались просто несносными, сухой крем скрипел на зубах. На столе, я заметил, кто-то нацарапал: фашизм не пройдет.

– О, это извечно, если не навечно, – вклинился в нашу беседу незнакомец. Он покинул свое посадочное место и теперь стоял подле нашего столика. Излишне близко, самое подходящее расстояние для пенделя, подумалось мне. Кауфман недобро улыбнулась, с такой улыбкой топят котят, подумалось мне. – Прошу простить, прошу понять, я краем уха услышал, вы направляетесь на хрустальное озеро, дело в том, что я торговый представитель одной фармацевтической компании, которая совершенно не заботится об интересах своих торговых представителей, – зататорил гражданин. – Ближе к телу, – прекратила его тираду Инга. – К делу, – поправил мужчина. – Для кого к делу, а для кого и к телу, – сказала беспристрастно Кауфман. Итак, ваш следующий ход, подумал я, глядя на торгового представителя фармацевтической компании. – Меня зовут Василий Васильевич Райкин, пожалуйста, моя визитка, и мне в самом деле очень неловко, но я прошу вас подбросить меня до хрустального озера, расходы за бензин и прочее беру на себя, – представился

Райкин. Повисла чеховская пауза, не имею ни малейшего понятия, отчего пауза чеховская, отчего пауза, например, не брежневская, просто так говорят.

Официантка принесла пальто и шляпу Василия. Внезапно Варвара обратилась к нам с тетей: ой, правда, возьмите этого господина с собой, во внутреннем кармане пальто я нашла у него несколько крестиков и маленькую библию, мне кажется, это хороший человек, если вы ему поможете, вам обязательно зачтется. Тетушка прицелилась из пальца в девушку, едва заметно кивнула. – Какое же это достойное решение, – воскликнула официантка. – Отстойное решение, – поправила Инга. Разу уж фармацевт в нашей лодке, я решил огреть его веслом, образно выражаясь. – Вы верите в дружбу между женщиной и гуманоидом, а северное сияние почему северное, меня зовут Миша, а хотели назвать Борисом, вы не находите очаровательной дочку маминой подруги, она родилась седьмого ноль седьмого девятого седьмого? Кауфман достает кожаный бумажник медового цвета. Рассчитываясь, говорит: а еще ты забыл спросить, дорогой, чем дяденька зарабатывает на жизнь на самом деле. Райкин всплеснул руками, вкрадчиво стал объяснять: да я же вам объясняю, я торговый представитель фармацевтической компании, которая производит рецептурные препараты, которые лечат людей, которые страдают дефицитом внимания. Тетушка ему говорит: мы пока поверим, пока поверим. Затем она смотрит на меня, спрашивая: поверим? Я подтверждаю: пока поверим, но время покажет, дорогая тетя.

Дождь перестал терроризировать граждан. Мы вышли на улицу и не смогли ступить ни шага. Глубина луж измерялась в фаренгейтах, омах и в чем-то еще. Со всех четырех сторон путников обступил туман. Василий Васильевич, закуривая, проговорил: у вас хороший племянник, смысленый такой. – Только не надо засматриваться на чужих племянников, – парировала Инга, – лучше подумайте, как добраться до нашей машины. – А наш микроавтобус находился метрах в ста, на пригорке. Тетушка знала, я не умею плавать, особенности воспитания. Кафе было как будто тоже на пригорке. Таким образом, нас и ниссан разделяла целая река Ганг. На крыльцо вышла официантка, она притащила желтую надувную лодку. И сказала добросердечно: пользуйтесь вот, я к ней привязала веревочку, доберетесь до автомобиля, дерните за нее, пожалуйста. Тетушка произнесла: мерси, дорогуша. Взяла меня на руки, усадила в лодку. – Пошевеливайся, хромоножка, – обратилась она к торговому представителю фармацевтической компании. Официантка убежденно сказала: вам зачтется этот миссионерский поступок, вот увидите. – А чувство такое, что нас поймали в миссионерской позе, – неоднозначно пошутила Инга.

Василий Васильевич оттолкнулся веслом от верхней ступени. На колкость родственницы он отреагировал равнодушно, заметив: ах, взрослый человек, а нисходите ко уровню инфузории-туфельки. – Инфузория у тебя в штанах, мистер, – хамила тетка. Ниссан становился все ближе и ближе. А ко мне внезапно пришла мысль, однажды я стану фрезеровщиком. Глупость, конечно, простое детское озарение.

Мы разместились в нашем лагусе. Кауфман и Райкин спереди. – А почему вы хромаете? – подметил я. Мне хотелось побольше узнать о гражданине. Писательское любопытство, которое с возрастом никуда не ушло. Я упоенно исследовал граждан. Казалось, еще чуть-чуть, и удастся вывести формулу, благодаря которой у человечества будет шанс. Человечество научится вычислять гастролеров иных планет. Навязчивая идея не давала покоя, вывести такую формулу. Моим кумиром был Чезаре Ломброзо. Я читал ревностно его книжки. Учился определять по лицу, жестам и мимике скрытых инопланетян. Слово инопланетяне такое детское и наивное, однако лучшего я подобрать не могу. – Понимаешь ли, в прошлом году я неудачно упал на даче в яму, алкогольную яму, – объяснился Василий. – Что у вас в портфеле? – перебила его Инга, мягко выжимая педаль газа. Машина, подпрыгивая на кочках, скатилась с пригорка. Вода доходила до самых окошек. – Для обычной попутчицы вы излишне любопытны, – сказал он. Его переменившийся тон мне не понравился. Куда-то улетучилась поспешная манера речи, Райкин говорил вкрадчиво, вполголоса, быть может, дерзновенно. – Любопытной Варваре, впрочем, пусть ваш племянник заглянет в портфель, если его тетя так переживает. – Я поглядел с надеждой на Кауфман. Та едва заметно кивнула головой.

Микроавтобус двигался крайне медленно, можно сказать, мы плыли, а можно сказать, мы существовали сразу в нескольких измерениях. Я долго возился с замком, он открывался причудливым образом, сначала надо было надавить, а затем потянуть язычок вверх и вбок. Меж тем Константин рассказывал о своих знакомых. – Вы напомнили мне одну семейную пару, вместо ночей любви они читали эротические романы вслух, им было этого достаточно, как же там, вот, отрывок, он любил входить в нее, оставлять контактные данные на стойке регистрации, подниматься в свой номер, валяться на постели в обуви, попивая джин из мини-бара, она, пока он пребывал в ней, испытывала что-то вроде сладостного стыда, молодость давно прошла, совсем скоро строители пригонят сюда технику, начнут ее сносить, а этот нечаянный постоялец подарил ей... – Тетя, – произнес озадаченно я, – у него в портфеле папки с документами, банка вазелина, несколько кухонных ножей и веревка, еще маленькая шахматная доска.

Транспортное средство ехало наугад в мистическом тумане. Тут и там сверкали глаза лужианских аллигаторов, леших и прочих существ, порожденных детской фантазией. Райкин прикрыл свое лицо шляпой. Он монотонно рассказывал: по малолетству я любил шахматы, сиживал допоздна, обдумывал возможные ходы, одна партия, представьте, длилась пять месяцев, мне было десять, и я просто переписывался с одним серийным убийцей-шахматистом, он топил девиц в солнечной ванне, фетиш такой. – Зачем тебе ножи, веревка и вазелин? – спросила Кауфман. Я невольно усмехнулся, вспомнив про опасную бритву, с которой тетушка никогда не расставалась, должно быть, тоже своего рода фетиш. Василий засмеялся, его смех напоминал скрипы, издаваемые кроватью с панцирной сеткой. Родители моего друга резвились на такой, когда я приходил в гости. Наконец, Райкин соизволил объясниться: допустим, вазелином я пользуюсь в связи с чувствительной кожей, смазываю после бритья, веревка для хозяйственных нужд, как и ножи, ваша внимательность это скрытое желание все контролировать, расслабьтесь.

Ларгус начало клонить вбок, вероятно, наехали на бордюр. Как я заметил ранее, наводнение лишило нас возможности нормально ориентироваться в пространстве. Бледный свет наших фар был не в силах пробиться сквозь толщу воды. Поэтому мы не располагали сведениями о происходящих на глубине событиях. Я прислонился к стеклу, пытался разглядеть лунные пейзажи. Однако темные, острые силуэты домов походили скорее на силуэты готических замков. Никакой луной там и не пахло. На ум пришла недавняя книга, которую мать читала мне вслух, она называлась «Ужас Данвича». Мы ехали настолько медленно, что в мире успели наступить нулевые, а также изобрели социальные сети. Рядом с автомобилем проплыла рыба-фонаричок. И тут наш попутчик подал голос: в мотеле мы можем взять для экономии один семейный номер. Кауфман зловеще улыбнулась, ее лицо освещал красный свет приборной панели. Константин продолжал размышлять вслух: интересно, почему мотель называется влажная мечта пионерки, мне кажется, сегодняшняя ночь особенная, влажные мечты, такого потопа не было с петровских времен, и наша неслучайная встреча особенная. Инга остановила ниссан, произнесла: остановка по требованию, я требую справить нужду. – А ваш туалет? – уточнил Райкин. – Засорился, – прошептала тетка.

Кауфман и чудного коммивояжера впитал в себя туман, они стали частью тумана. Нестройно квакали лягушки, ухали совы. Мы очутились на болотах. Я перелез на передние сиденья. Константин оставил свое пальто. Снедаемый любопытством, обшмонал карманы, в левом оказалась длинная лента презервативов цвета банановой кожуры. У одnogруппника Илюши Сдобы, у того самого, чьи родители скрипели панцирной сеткой, я видел такие в их доме на тумбочке. Внезапно дверь с водительской стороны открылась, я вскрикнул. Это пришла тетушка. Райкин отсутствовал. У Кауфман пунцовые щеки, волосы растрепанные. Я спрашиваю, а где этот? – У этого изменились планы, – ответствовала она. Родственница взяла портфель Константина, портфель валялся в салоне. Поставила на землю, сверху положила пальто. Завела наш ларгус, и мы отчалили в неизвестном направлении.

Тетка была неразговорчива, то и дело рассеянно улыбалась. Имела полное право, ведь только что выкинула человека за борт парохода современности. Мы вошли в крутой поворот, из

кармана брюк Инги что-то выпало. Я наклонился и поднял ее любимую опасную бритву. Нежно-каштановая рукоять, буро-малиновые пятна. Лезвие блестящее от влаги, кажется, им недавно пользовались. – Осторожней, дорогой, – воскликнула испуганно Кауфман. – А куда на самом деле запропастился Райкин? – поинтересовался у нее. – Дорогой, я же сказала, Константин решил продолжить свой земной путь в одиночестве, – проговорила загадочно тетушка. – Кстати, мы уже приехали, вон мотель. По лобовому стеклу барабанили капли дождя. Мне вспомнилось, какой сегодня день, четверг. Существует такое поверье, что после дождичка в четверг должно произойти нечто особенное. – Малыш, – прервала мои размышления Инга, – взгляни, как здорово выглядит место, где мы проведем ночь. – И вышла из машины. Я тоже вышел из машины. Во рту отчего-то возник металлический привкус, голова закружилась, а глаза начало нестерпимо резать. Тем не менее, приятно пахло разреженным воздухом и чем-то химическим.

Рассказать вам о мотеле, что ли. Десяток номеров под одной крышей, номера в ряд. Мы направились к одноэтажному домику из потемневшего бруса, в нем предположительно располагался портье. Дверь с окошком взвизгнула, зазвенел колокольчик. На стенах висели фотографии выдающихся людей, некогда останавливающихся во влажных мечтах пионерки. Певец Шура, режиссер, чью фамилию я постоянно забываю. Танцевальная группа, вон они в кокошниках. Тетка ударила по звоночку, кажется, звоночек назывался, сонетка. Динь, динь. Я увидел деревянную табличку, на которой готическими буквами было написано Норман Бантиков. Пока мы ожидали портье, я разглядывал убранство домика. В углу автомат с газировкой, на полу большой зеленый ковер с оленями, лампы с абажурами, россыпь ключей на гвоздиках. Из другой комнаты вышел молодой человек в кардигане с красными ромбиками, светлых брюках. Круглое, фарфоровое лицо, серые глазки, смольные волосы зализаны набок. Он улыбнулся и спросил: вам номер на двоих, добрый вечерок?

Тетушка шумно принюхалась, ответила: hello, нам номер на двоих, вы правы. Бантиков не плотно прикрыл дверь в комнатку, из которой вышел. Я увидел телевизор, по телевизору шла викторина, мне стало забавно. Взрослые люди обожают глядеть викторины по вечерам, после работы. И отвечать на вопросы ведущего вслух. По крайней мере, отец отвечает. – Пожалуйста, ключ от двенадцатого номера, замечательный номер для женщины с ребенком, вообще-то, после двенадцатого идет номер тринадцать, как нетрудно догадаться, в тринадцатом водятся призраки, однако за двенадцатый номер я ручаюсь, – рассказывал Норман. Инга заметила: приятно видеть человека, любящего свою работу. Гражданин смущенно улыбнулся, на его щеках образовались оркестровые ямы. Он произнес гордо: а как по-другому, это наше семейное дело, как говорится, было бы тело, дело всегда найдется. Кауфман оценила шутку: мне нравится ваш подход, ведь по большому счету все мы просто тела, которым необходимо где-то спать, что-то есть, тела, которые нам предоставили в аренду. По кремовому телефону ползла глазастая жужелица. А эти двое нашли общий язык, подумалось мне. У домика притормозила машина, хлопнули двери. Послышалось хлоппанье шагов.

Вошли девушка и мужчина, оба в желтых дождевиках. У нее лицо камбалы, впрочем, по-своему обаятельное. В дремучей бороде джентльмена застряли крошки печенья. Толстые стекла очков премило увеличивали его голубые глаза. Они попросили номер, но только не тринадцатый. – У меня слабое сердце, – пискнула девица, расстегивая дождевичок. Под ним старомодное шерстяное платье в крапинку, жемчужное ожерелье. На кавалере бордовый джемпер, синие джинсы. Он вылитый преподаватель физики Игорь Васильевич Курчатов. – Что вы преподаете? – прозорливо задал вопрос я. Камбала крайне ошеломлена, она восклицает: ой, до чего мальчик Эркуль Пуаро, мой муж, или, если угодно, husband, читает курс лекций по теософии, чтобы послушать Казимира люди приезжают даже из деревень на кривых собаках. – Ты преувеличиваешь, Лариса, – наигранно рассмеялся Казимир. На улице раздался гром, ударила молния, вспышка была такой яркой. Что на мгновение я потерял способность видеть до безобразия жизнерадостные лица супругов. И вновь послышалось хлоппанье шагов. К мотелю кто-то приближался.

Вошли трое, юноши лет восемнадцати и девица постарше. Поначалу они показались мне совершенно невменяемыми. Посудите сами, лица гостей утыканы булавками, губы этих прохо-

димцев покрашены черной помадой. Мальчишки похожи, вероятно, братья. Блестят капельки дождя на их кучерявых головах. Тетенька лысая, пухлая, у нее три белесых шрама на щеке. Будто пантера нанесла увечья, желая показать, мы с тобой одной крови, малышка. На всех кожаные плащи, тяжелые ботинки. Казимир дал оценку внешности отроков: неплохо, неплохо, очень даже хорошо. – Good evening, мои дорогие радушно поприветствовал Норман. Я глядел на чудных ребят, как на альбиносов из африканской семьи. Они казались мне такими непостижимыми и таинственными, будто слюна доисторических людей. – Запишите свои данные в гостевую книгу, – попросил портье. Гости, побухтев для порядка, вписали имена и фамилии. Они сверялись с паспортами, паспорта у них были в черных кожаных обложках с любопытными узорами. Не то пентаграммами, не то пантомимами.

– Какие у вас интересные имена, Ильдар и Айнур, моя бабушка была татаркой, она водила меня по пенсионному удостоверению в кино и театры, что за чудесная пора, – расцвел Бантиков, увидев имена неформалов. Затем, поскучев, прочитал: а, Зоя Черкасова, итак, для вас, уважаемые, у меня припасен четырнадцатый номер. Ильдар или Айнур возмутился: нам четырнадцатый номер не нужен, а нужен тринадцатый, мы вон ее будем приносить в жертву Левиафану. Ильдар или Айнур проговорил, словно пребывая в трансе, глаза полузакрыты, голос монотонный: только ветру под силу развеять ее сны, только морю под силу скрыть цвет ее крови. Девка жевала бублик-гум, надувала пузыри со скупающим видом.

Казимир дал оценку происходящему: прелестно, прелестно, а еще, конечно, неясны мотивы, во всяком случае, родственные связи налицо, а какая фактура, надо же. Один из братьев сообщил: это сестра милосердия, она жаждет примкнуть к нашему культу. Казимир возбужденно и радостно произнес: культу, культ это не детский сад, культ это уровень! Зоя Черкасова заметила: вообще-то, вас это не касается, как говорят в нашей шараге, шерше ля фам. Лариса расхохоталась: божечки, дорогой, какие они смешные. – Не смешные, а диалектически подкованные, – поправил супруг. Бантиков предупредил культистов: рассчитываю на ваше благоразумие, в прошлом году тринадцатую комнату сокрушили мужчины в цветных лосинах, они называли себя бетмантами, офисные служащие, решившие поиграть в супергероев на выходных, чудики. Ильдар или Айнур заметил: мы только принесем ее в жертву, и ничего такого не произойдет. – И еще кое-что на заметку, – не унимался портье, – оплата вперед во избежание эксцессов, а то недавно дервиши в счет проживания всучили мне половину коровы, представьте, каков абсурд.

И вот мы с тетушкой пошли к себе в номер. В номере пахло лавандовым освежителем. Две одинарные кровати, застеленные перламутровыми покрывалами, сдвинуты вместе. Алебастровые шторы плотно задернуты. Ванная комната, точно янтарная комната, стены, пол, потолок покрыты какой-то желтой субстанцией. Рассохшийся паркет поскрипывал. Я сделал шаг по направлению к допотопному, маленькому холодильнику. Внутри оказались мерзавчики с шампанским. Тетушка предупредила о недопустимости питья шампанского в столь раннем возрасте. – Мозговая кора только формируется, – сказала наставительно она, – дышать растворителем и хлестать пиво на солнышке как бы ни было заманчиво, чрезвычайно вредно, ящерка. Родственница тут же оккупировала ванную. Я залез в прикроватную тумбочку, обнаружил там «Франкенштейна» Мери Шелли. Хм, подумалось мне, вот существует направление южная готика. Почему нет направления северная готика, не дискриминация ли это. Впрочем, в те времена, а я напомину, речь идет о начале нулевых, конце девяностых, дискриминанты только входили в моду. Туалеты для черных, вроде как, отменили по причине нецелесообразности.

Итак, сибирская готика, по моим собственным наблюдениям, это жить с десятью кошками и котиками где-нибудь в Норильске. И вынужденно пить кровь граждан, которые снимают у тебя комнату. Пить кровушку, потому что страдаешь от вампиризма и одиночества. Сибирская готика – это перепутать Пушкина и Пичушкина, перепутать гусиное перо и молоток, перепутать Царскосельское село и Битцевский парк. Сибирская готика – это мальчик из деревни Кирпичики, читающий стихотворение на утреннике. Он картавил и перепутал звуки. И вызвал хтоническое божество. Теперь жители деревни Кирпичики имеют жабры и поклоняются бездне. Ничего но-

вого и революционного, но такие истории каждый раз особенно трогают. Вероятно, рассуждать можно бесконечно долго. Рассудите лучше, каким образом забрать триста тридцать мерзлых тел с горы Эверест. Я размышлял об особенностях жанра сибирской готики и пришел к неутешительным выводам. От южной готики она практически ничем не отличается. Те же отчужденные герои с поломанной психикой, тот же повышенный интерес к религии, обращение к социальным проблемам.

Между тем тетушка напевала Элвиса Пресли, а у меня в груди стало тесно. То есть отчетливо помню, как ощутил прилив нежности. Не знаю, какова природа той нежности. В те доисторические времена я себя идентифицировал с Джеком Николсоном в роли Джокера. Поэтому был крайне сентиментальным. Как и все молодые люди незаурядного склада ума, я жаждал отыскать свою Харли Квин, женщину-психиатра из Аркхема. Полагаю, склонность романтизировать совершенно бытовые и ни разу не поэтические шуточки оттуда, из тех доисторических времен. Я тяжело задышал, разволновался, словно взбежал по потемкинской лестнице. Кауфман позвала потереть спинку. Я вошел в ванную комнату, а существенно позже вошел в историю российской литературы аутсайдеров.

Родственница сидела ко мне вполоборота. Вода доходила до самых бортиков. Пена шипела, пахло польнейю, детским мылом. Тетушка показалась мне какой-то пасторальной. Волосы лебяжий пух, тело березка на заднем дворе фермы, такое же бледное, изящное. Зарубцевавшиеся шрамы на лопатках. – Дорогуша, откуда эти порезы? – спросил я, выдавливая зеленоватый гель на ладонку. – Эти юношеские глупости, сколь удивительно, старые раны зажили по-новому, – сказала пространно она. Однако я не стал уточнять, какие влюбленные школяры вырезали ножичком на ее теле-березке сердечко и собственные имена. – Ты голоден, – поинтересовалась тетя, – у меня была яблочная пастила, она в моей сумке? – Послушай, – сказала, намыливая шею, Кауфман, – а как ты думаешь, мамина подруга Нелли и наша с ней интрижка – не слишком ли это экстравагантно? – Ее шея под моими пальцами показалась мне яблочной пастилой. Я лизнул ее ухо, она премило рассмеялась.

Внезапно свет в ванной погас, лопнула лампочка. С улицы донесся женский истошный крик. Инга, сходя на берег, произнесла: милашка, посиди в номере, тетя разузнает, кто это посмел волновать моего мальчика. Густой мрак окутал наш мотель. На улочке царили тени великих древних, Ктулху, Дагона, Азатота. Я крепко сжал в руках книгу Мери Шелли, должно быть, рассчитывая пришить книженцией любого, кто посягнет на мою территориальную целостность. В соседнем номере взволнованно разговаривали супруги Лариса и Казимир. Их голоса были приглушенными, ничегошеньки не разобрать. Я отрешенно подумал, до чего хороша Деми Мур в фильме «Стриптиз». По всей видимости, Лариса напоминала мне Деми Мур. Тем временем хлопали двери комнат, кто-то куда-то выходил. Я бы обратился к этой Ларисе, безусловно, обратился с присущей мне деликатностью. Сказал бы ей: простите за нетактичность, но бюст ваш и торс и походка напомнили мне античность. Этим таинственным вечером моя фантазия не знала границ, ей не требовалось свидетельство о рождении и прочие бюрократические формальности.

Глава 11 Зов плоти

Малышка Кауфман все не возвращалась и не возвращалась. Я сидел в потемках на полу, такой загадочный, такой ужас ночи для кого-то, а для кого-то булочка с изюмом. В моих экзотических глазах звенели хрусталики. Апрель затянулся, и я никому не верил, кроме Кашпировского и Чумака, впрочем, этим людям тоже доверял в меру. На улице испуганно голосили граждане. За окном мельтешили лучики фонариков. Инга отсутствовала, должно быть, около полудня. Я успел поразмышлять о таком явлении, как сибирская готика. Ранее мною было замечено, сибирская готика это вам не это. Послышался, кажется, голос Нормана Бантикова: господа, господа, я

сейчас же вызову поллюцию и мы во всем разберемся, дело на особом контроле. Мне подумалось вдруг, однажды славянофилы сольются в страстном поцелуе с западниками. Так имеется ли смысл обижаться понапрасну на всякую ерунду, завидовать тому пареньку, который не облысел в двадцать. Или завидовать социально адаптированным ребятишкам, им-то не надо лежать раз в год в психоневрологическом диспансере, они-то нормальные. По-моему, самое время уподобиться круглолицему, лысому мужичку в оранжевом халате, уподобиться Будде, чья статуэтка стоит у нас дома на трельяже. По всей видимости, я был близок к такому спокойствию, потому что меня пичкали нейролептиками.

Я перебрался на кровать и стал размышлять о сибирской готике более предметно. В отличие от молодых людей, вскормленных молоком Лотмана Юрия Михайловича и Бахтина Михаила Михайловича. Я был, если можно так выразиться, самородком, не путать с отморозком, а то найдутся шутники. Порой мои собственные измышления о литературе заслуживали, по меньшей мере, интереса со стороны научного сообщества. Я накрылся одеялом с головой. Достал из нагрудного кармана своего комбинезона фигурку из киндер-сюрприза, премильную летучую мышь-вампира. Он улыбался, обнажив длинные клыки. В руках вампир держал подарок. Если наклонить его голову назад, крышка коробки, перетянутая бантиком, откроется. А в ней окажется чеснок. А у вампира глаза и клыки фосфорные, они светятся зеленым в темноте. И под одеялом светились. Я лежал, крутил в руках вампира и для разминки ума придумывал художественный рассказ. Содержащий элементы мистики. Раз уж мне предстояло лежать у истоков сибирской готики, неплохо было бы явить миру классический образец. Жаль только, не на чем было записать. Дома я любил записывать рассказы на бумаге, которая пахла аммиаком. Отец приносил ее для меня с работы. В номере отсутствовали даже элементарные салфетки. Как же работать в такой обстановке, посетовал я. И стал придумывать новеллу.

Ключья черных сельских домов, тыфу ты. Ключья липкого, серого снега кружились, влетали в приоткрытое окно желтой копеечки. Магнитола за, за, заикалась. Сквозь помехи едва проступал голос Алены Апиной. Едва проступало: он уехал в ночь на ночной электричке. На торпедке лежала пачка сигарет Космос, разводной гаечный ключ, одноухий Чебурашка. За рулем сидел Алексей Кыштымский. Человек тридцати лет, широкоплечий, на щеках трехдневная щетина, иголки праздничной елки. Он сидел за рулем с посеребренными висками, полуночными глазами, розовыми шрамами на подбородке. Именно его, Алексея, поганые журналисты называли в своих газетенках и по телевизору Кыштымским карликом. Когда был Пушкин маленький с кудрявой головой, когда был Брежнев маленький, в общем-то, давно они его так называли.

На Леше кожаная темно-песочная куртка, синий свитер, коричневые брюки. Он мягко выжищает сцепление. Заснеженное шоссе, вокруг ни души. Полный решимости волк перебегает дорогу. Он подволакивает лапку. Если бы не летящие в лицо ключья черных сельских домов и серого, липкого снега, вы бы смогли рассмотреть волка получше. Плешивый и двухголовый, тоскливое зрелище. Впрочем, сейчас не встретишь нормального зверя. Нормального зверя, думает Алексей. По левую руку поле, вдалеке заброшенное поселение, урановые шахты. По правую болото. Остекленевшие камыши. Кыштымский глядит на часы Montana, времени три пополудни, смеркается. Мужчина останавливается у обочины, достает из бардачка бутылку минеральной воды, оранжевый пузырек с таблетками, выпивает пилюлю, закуривает. На горизонте виднеется очертание автотолкача. Руки дрожат, гражданин кладет их на руль. Боковым зрением замечает движение на пассажирском сиденье. Не поворачивая головы, знает, кто там окажется. Доктор говорит, этого, на пассажирском сиденье, таблетки не прогонят. У обочины пластилиновая белая ворона терзает мышиную плоть. Алексей поворачивает ключ в замке зажигания. Птица каркает и взмывает к небу, затянутому кислотными облаками.

Гражданин отвлекается от дороги, лезет во внутренний карман куртки за КПК. Разблокирует экран, тычет пальцем в иконку с названием: дело Гаррисон. На экранчике помехи, надпись: битый файл, попробуйте скачать заново. Кыштымский настраивает коммутатор, звонит в отдел справок Диане. – Диана, это я, подъезжаю к заправке на Радищева, КПК барахлит, вышли снимки

пропавшей девушки. Бежевая трубка оживает: у меня обед, мерзавец. Немного погода дева на том конце провода говорит: ладно, сейчас вышло информацию, секунду потерпи. Девушка ропщет, она припоминает прошлое дело: послушай, Алеша, ты до сих пор не передал мне тех галлюциногенных жаб, изъятых у товарища Радова, куда они делись, скажи-ка на милость? Кыштымский не намерен отчитываться перед путаной, пардон, Дианой. Он говорит: я устал, я очень устал. Дамочка фыркает: вас таких у меня десять человек, и за каждым надо уследить, а ты понимаешь, что все вы обязаны отчитываться по форме...

Леша отключил коммутатор, подъехал к заправке. Две колонки, полагая крыша, стеклянные двери в изморози. На карманный компьютер пришло сообщение. Детектив поглядел фотоснимки, пропавшей Сары. Отец девушки, реставратор и коллекционер, владелец ломбарда Николай Гаррисон описывал свою дочурку, как валькирию, которую забыли забрать из детского сада. Поборница справедливости с обостренным чувством долга. Сыщик увеличил снимок, темно-голубые, короткие волосы, один глаз медовый, другой цвета голубики. Николай Гаррисон в особых приметах указывал одну особенность, рудиментарный хвостик. А еще рассказывал о способностях дочери воскрешать мелкую дичь. Ее руки накаляются, словно батарея, она ими водит над каким-нибудь сбитым опоссумом, а потом он оживает. Природа ее дара, делился соображениями Николай, infernalна. Посмотрим, усмехнулся Алексей. Он вышел из машины, хлопнул дверью и направился к дверям заправки. Похрустывал, словно тараканы тела, снег.

Внутри меланхолично гудели два обогревателя. На кассе читал журнальчик о спорте астеничный юноша. На нем брусничный спортивный костюм, очки в роговой черепаховой оправе, передние резцы, как у зайца, усики мерзавчики. На прилавке открытая пачка луковичных чипсов. Алексей проходит мимо полок со сладостями, мимо холодильника с напитками. Берет из холодильника две банки пива Навигатор, одну открывает на ходу, делает глоток. Плакат с бесплатной психологической помощью ветеранам привлекает его внимание. Кыштымский вернулся с войны, он отстаивал два года правила и нормы русского языка. Страна послала их защитить русский язык. А малышка Гертруда Стайн обозвала их потерянным поколением. Прогрессивные поэтессы и феминистки, альтушки и прочие писки считали их крошечными ретроградами. И поборниками диктатуры. И продолжали писать свои тексты с маленькой буквы, игнорируя знаки препинания. Кыштымский страдал бессонницей, как и многие, сумевшие избежать небытия однополчане. Пил таблетки горстями. В редкие мгновения, когда удавалось забыть в тревожном сне, глядел на сослуживцев, которым отрывало головы жестяными жи-ши. Глядел на сослуживцев, которых перемальвает в неописуемый фарш лопастями глаголов гнать, держать, смотреть и видеть, дышать, слышать, ненавидеть, и зависеть и вертеть и обидеть и терпеть. Они возвратились в этот мир вопреки логике, морали и всему остальному. Кто-то пошел работать в детективное агентство Говард и сыновья. Кто-то так и не смог выбраться из пасти безумия, теперь кукует в дурдоме.

Алексей обратился к юнцу за кассой: добрый день, детектив Кыштымский, могу я задать парочку вопросов? Гражданин в рябиновом спортивном костюме зашелестел страницами журнала, занервничал. – Если вы по поводу продажи дискет с оцифрованными сознаниями знаменитостей, то у нас имеется лицензия, если бы лицензии не было, за нами давно пришли бы охотники за головами. – Алексей поднял руку, прерывая мальчишку: ваши показания не относятся к моему делу, и я пришел совсем по другому поводу. Сыщик достал карманный компьютер, открыл фотографию Сары. Показывая юнцу, поинтересовался: откровенно говоря, меня волнует эта девушка, по моим данным, два дня назад она в компании неизвестных была здесь, кажется, они проезжали мимо и остановились заправиться. В помещение вошли трое. На них одинаковые летные куртки цвета клешней лобстеров. На лицах следы вырождения. У одного заячья губа, шея блестит от слизи, глаза с вертикальными зрачками. Щеки другого покрыты блестящими чешуйками. На лбу третьего спиленные рожки. Они, вроде бы, рассматривали товар на полках. Впрочем, Кыштымский знал, троица тут по его душу. Вырожденцы подслушивали, разглядывали исподволь.

Юноша изучает экран КПК. Тянется к пачке с чипсами, его рука останавливается на полдороге. – Вы знаете, – говорит он, – она была здесь, мне сразу же не понравились ее спутники, они

показались мне бедовыми, поймите правильно, у нас не принято демонстрировать символы. – Какие символы? – насторожился Алексей, делая глоток из банки с пивом. – Ну, символы, понимаете, у нас тут очень много верований, и не всегда эти верования безобидны. – Один из парней едва слышно зашипел. Кассир осекся и замолчал. Детектив бросил испепеляющий взгляд на парней. Они лилейно улыбались, дескать, мы ничего, беседуйте, беседуйте. Кыштымский спросил, на каком автомобиле они приехали, остались ли записи с видеокамер. Юноша задумался, высунув кончик языка. Ответствовал: видеокамеры у нас больше для вида, они не работают, девушка приехала на красном микроавтобусе, номера я не помню, к сожалению. – Можно воспользоваться вашим туалетом? – кивнул в сторону голубой обшарпанной двери сыщик. – Пожалуйста, – сказал гражданин, протягивая ключ с брелком в виде черного бильярдного шара. Троица посторонилась. Алексей вошел в пахнущее хлоркой помещение. Стенки двух кабинок были исписаны всякой пахабиной. Флуоресцентная лампочка мигала. Кыштымский ощутил присутствие чужаков за своей спиной, неспешно повернулся.

– Детектив, что же вы сбежали от нас, как нацисты в Аргентину? – самодовольно произнес тот, с чешуйками на щеках. Сыщик ответил, недобро усмехнувшись: мы, кажется, не танцевали с вами танго, молодой человек. Паренек с заячьей губой сплевывает прямо на пол, говорит: не стесняйся, детектив, спроси у нас, кого ты там ищешь. Алексей, прищурившись, интересуется: а кто вы такие, и с какой стати я что-то вам должен. Третий, со спиленными рогами, достает из кармана брюк газовый пистолет, переделанный под боевой, направляет в лицо Кыштымского. И бесстыже сообщает: мы желаем с тобой познакомиться поближе, месье. Леша расстегнул ширинку, вывалил свой пипидон. И предупредил: послушай, кроха, я терпеть не могу, когда меня держат на мушке, теперь вы у меня на прицеле, сосунки, чем все окончится зависит от вас. Мужчины, по всей видимости, окуклились. Они, не моргая, глядели на сыщика. Вероятно, ждали, когда у того сдадут нервы. Гражданин с газовым пистолетом поспешно убрал свой револьвер в карман. Его собутыльники развернулись и покинули туалет. На прощание кто-то из них бросил: когда-нибудь наши дорожки вновь пересекутся, мы взяли тебя на карандаш. Алексей помочился и вышел из клозета. Юноша за прилавком сделал вид, что изучает журнал.

Кыштымский сел в свою копейку, включил печку, зеленые огоньки коммутатора мерцали. Дорогу запорошило. Сыщик неспешно проезжал мимо черной, деревянной церквушки. Мимо одностажных домов, чьи окна были ослеплены досками. В следующий раз девушку видели на причале. Сара воспользовалась паромом. Алексей несся по берегу. Автомобиль заносило. Натальный дозиметр, висевший на цепочке под свитером, неприятно попискивал. По свежемороженой реке шли паломники в шубах из рыбьих шкур. Тут и там встречались остекленевшие, причудливые животные. Огромный олень в проказе. Припавший к земле лысый медведь. Совсем недавно стояли жуткие морозы. Перед своей поездкой Леша изучал данные. Ему попалась забавная новостная заметка. Слова мэра: нам повезло, природная криокамера, ученые уже занимаются вопросом разморозки, лет через пятьдесят, я вам даю слово, мы сможем проснуться в новом, удивительном времени, сохранив нынешние тела и разум. Ему возражали в комментариях: не нужны нам такие тела, вы посмотрите, какая экологическая обстановка, что же это делается, столько мутаций не встречалось никогда в истории.

Кыштымский миновал опасное место. Впереди виднелся речной порт. Силуэты строений, лодочки, паром-ледокол. Коммутатор зашипел. Послышался голос Дианы: сотрудник с порядковым номером таким-то, вас вызывает отдел справок, Алеша, знаешь, что общего у яблока и собаки? Алексей попал в крошечный буран, хлопья снега вперемешку с пеплом. Как сказал классик: неведомо за что буран все мстил и мстил, концы, начала заметал, а старой лошади выдали стрихнин. Вспомнилось детство босоное. То самое детство, когда поганые журналисты дразнили его кыштымским карликом. В специнтернате зимою на прогулке дружок Вачовски предложил разок лизнуть качели. Результат вы знаете прекрасно. Их оказалось много таких ребятишек, прилипших к фонарю, качелям, горке. Они жалобно кудахтали. Что же пообещал им дружок. По всей вероятности, какую-то глупость. Например, что металл на морозе приобретает свойства

эскимо. Или что-нибудь из разряда, очистись через боль. – Я не знаю ничего о тождественности яблока и собаки, – проговорил вдумчиво детектив. Метель завывала, из щели в двери поддувало, волчок покусывал за левый бочок. – У них внутри косточки, – рассмеялась Диана. На зеркале заднего вида висел на веревочке миниатюрный Пиноккио. Ну, деревяшка, выручай, мысленно попросил гражданин за рулем.

– Кстати, у тебя сексуальное родимое пятно на копчике, оно мне напоминает очертаниями Францию, – мурлыкала девка на том конце провода. – Ты была во Франции? – спросил Алексей, напряженно глядявая в окно. Машина двигалась словно паралитик. Непогода, непогода, а я маленький такой, подумалось Кыштымскому. Кажется, он выехал на шоссе. Видимость по-прежнему паршивая. Отключился коммутатор. Овальный навигатор, питающийся от ядерной батарейки, не мог связаться со спутниками. Вьюга мешала движению, копейку то и дело сносило к обочине. Сыщик вцепился в штурвал, костяшки пальцев побелели. Языком ошупывал сколовшийся зуб. Вспоминалась вдруг предыдущая командировка в Карелию. Подростковая жестокость, перверсии, прочая мерзость. Кыштымский припомнил о том деле, пока ошупывал сколовшийся зуб, вцепившись в руль и надеясь, что буран его не прикончит.

Та поездка особенно памятна. Алексей раскрыл во время пребывания в Карелии кражи велосипедов, потерю дневника, вранье детишек своим родителям. Однако первопричина всех бед оказалась интересней, нежели людские пороки. Лиловые паразиты овладевали разумом граждан, встраивались в организмы. Полностью заменяли собой языки, становились частями речи участкового Василия, доярки Полины, прочих. Леша после той поездки стал мнительным. Собственный язык казался ему крайне подозрительным. Сыщик мысленно обращается к возможному паразиту в своей ротовой полости. Что, дружок, только мы с тобой и остались, а больше никого. Мужчина открывает последнюю банку пива. Сквозь помехи прорывается голос Дианы. Леша с трудом вспомнил ее внешность. Память в последнее время подводила. Она у сыщика избирательная, что ли. Память не склонна избирать генсека на второй срок.

Так, на голове Дианы дендрарий, она вечно цепляет заколочки в виде папоротников, кактусов. Волосы розовые до плеч. Леопардовое платье. – Кыштымский, новые сведения, езжай, меня слышишь, ответь... – Детектив осушил банку. Буран окончился, ему оплодировали, он поклонился. Метрах в трехстах Алексей увидел крупного голого мужика. Его тело, покрытое мелкими белесыми волосками, казалось поистине удивительным. Видимость была хреновой, поэтому ручаться Леша не мог, мужчина это или женщина. Впрочем, таинственный гражданин мало беспокоил нашего сыщика. Кыштымский завел копейку и поехал в сторону причала. Машина утопала в сугробах, машина бесстрашно плыла по тоскливому снежному морю. Алексей открыл бардачок, там лежал заряженный браунинг, леденцы от кашля. Он взял пакетик леденцов.

Вкус морозного огурца явился причиной приятных воспоминаний о сыне Бальтазаре. Он родился настоящим исполином, его зеленоватая кожа была крайне чувствительна к свету. Сынок учился в закрытой школе для одаренных детей, расположенную на луизианских болотах. Леша ежемесячно присылал деньги на его содержание. Скучал. Представлял, как встретится с ним спустя полгода разлуки. Скажет ему что-нибудь ласковое. Пока никакой конкретики, допустим, скажет, что любит его. Кыштымский вдруг ощутил себя персонажем детективной истории. Автор данной истории бесчувственная деревяшка, не может найти ласковых слов для единственного сыночка детектива.

Я сомлел и не успел вам дорассказать историю о детективе Алексее Кыштымском. На прикроватной тумбочке стояли электронные часы, они показывали половину двенадцатого. Кауфман так и не возвратилась. Я сладко зевнул и поднялся с кровати. В уголках моих глаз скопился межгалактический мусор. В ротовой полости все пересохло, горло першило. Налил из крана водички в граненый стакан. Хлебнул и тут же выплюнул в раковину. Вода меня совершенно не порадовала, отвратительный привкус тухлятины вынудил меня раздосадовано выругаться матом. Я призадумался над тем, где мне теперь искать тетюшку. Вспомнились подозрительные эпизоды ее жизни. Все эти ухажеры, внезапно пропадающие с концами. Лямбды и экспоненты, как ласково она на-

зывала своих ухажеров. Они пропадали, факт. Есть такое поверье, мы видим только то, что хотим видеть. И я совершенно не желал видеть в Кауфман убийцу.

Я вышел из номера, словно некогда Одиссей вышел из дома за бородинским хлебом в полночь и был таков. Шел грибной дождь. Подберезовики, сыроежки и лисички, собранные близ родильного отделения, вызывают ярко выраженный понос, подумалось мне вдруг. Я был не упитанным и не воспитанным, но был орудием в руках правосудия. Несколько автомобилей, в том числе наш ларгус утопли. Вода почти скрывала их из вида. С глаз долой, из сердца вон, как говорится. Это еще повезло, что мотель построили на возвышенности, так бы мне пришлось добираться вплавь до портье. Мимо всех этих номеров я бы плыл, вернее, дрыгал руками, ногами, безусловно, тонул. Ведь не умею плавать и не выговариваю и по сей день букву Р. Мои желтые резиновые сапоги натерли ноги. Половицы почернели и набухли от влаги, сейчас я бы сравнил те половицы с клитором, однако в те времена про это ни слова, ни-ни. Возникла шальная мысль постучать в номер одиннадцатый, десятый, девятый и так далее. Что я благополучно и сделал. Ответом была тишина. Свет горел в домике портье. Крадучись, пошел к домику. Притаился у окна и чувствовал себя ночным охотником, что пробирается в сумерках в жилища обывателей. Обыватели глядят дурные комедии, едят вредную пищу. Мне было важно пробраться в жилища именно в сумерках, дабы утолить жажду крови.

Внутри я разглядел Нормана в бирюзовом халате. По всей видимости, он успокаивал постольцев. Ходил по комнате, жестикулировал. Сквозь плеву окна до меня долетали осколки фраз: нет, вы не можете просто уехать, все затопило, да, телефонная линия оборвана, я не знаю, куда она пропала. На диванчике восседали супруги Казимир и Лариса. На них были черные латексные костюмы. Профессор теософии гладил свою жену по голове, та держала в руках кожаную плетку. Двое зареванных подростков-культистов жались в углу. Зои с ними не было, и моей тетки не было. Я ощутил приятное покалывание в области живота. Я будто попал в произведения о комиссаре Мегрэ или произведения Агаты Кристи. – Зачем вы так при детях вывалили свои сиськи, – сокрушался Бантиков. Капельки попали за шиворот дождевика, словно корова лизнула. Такое у меня создалось впечатление. Лариска возмутилась: что мы делаем в наше свободное время – наше личное дело, не вам судить, вы пуританец и пуританцем помрете. Казимир подтвердил: именно, я крайне недоволен вашим поведением, двое взрослых людей в состоянии решить, каким забавам предаваться. Портье обратился к вихрастым юношам, спрашивал у них особые приметы Зои. А я, не теряя ни минуты, вошел к ним. Они ахнули, конечно.

– Вы не видали мою тетю, мы вместе приехали в этот клоповник? – спросил первым делом я. Подростки всхлипывали. Какие-то малахольные, подумалось мне. Бывает, к примеру, многоквартирная женщина. Бывает коммунальный мужчина. Ребятишки виделись мне такими бытовками для рабочих. Профессор теософии воскликнул: а я совсем забыл об этом удивительном ребенке, нет, мальчик, мы не видали твою тетушку, но моя жена может заняться тобой, дорогая, у нас в номере была банка сухого молока и какао. Лара возмутилась: я не пойду туда одна, тем более где-то рядом убийца и пропадают Зои Черкассовы. Портье несильно стукнул кулаком по стене, сказал: опять вы спешите с выводами, мы не знаем наверняка об убийстве, к тому же, представим, что убийство случилось, но ведь молодые люди прибыли с конкретной целью, принести Зою в жертву своему этому, как его. Казимир поднялся с дивана. Гражданин выглядел крайне комично в своем латексном костюмчике, стоит заметить. Круглый как сова, проглотившая глобус, живот, тонкие ножки. Черный, блестящий латекс, напоминал кожу внеземной твари. Он важно произнес: вы упускаете из вида, уважаемый портье, быть принесенной в жертву это личный выбор каждой Зои ЧеркаССкой. Лариса с готовностью подтвердила: все неслучайно, люди пропадают не просто так, цифра одиннадцать не случайно напоминает башни-близнецы.

Норман странновато на меня взглянул. И задумчиво произнес: кажется, никакой тети с тобой я не наблюдал, ты заселился один. Его слова показались беспрецедентно глупыми. – Вы что-то путаете, меня сопровождала дамочка, мы с нею состоим в родстве, а прочее вас не касается! – вскричал я. От криков у родственников культистов случилась истерика. Они зарыдали навзрыд,

это походило на массовую истерию. Походило на случай, произошедший в Лондоне в начале девятнадцатого века. Там горожане стали видеть по вечерам призрак, одетый во все белое. По слухам, две женщины, одна пожилая, другая беременная, встретились с ним, а потом скоропостижно скончались от ужаса. Годом позже некто Смит отправился на прогулку со своим ружьем и заметил фигуру в простыне, она двигалась по Блэк-Лайон-Лейн. Недолго думая, Смит совершил выстрел в лицо так называемого призрака. Как оказалось позже, Смит пристрелил каменщика Томаса Миллвуда. Массовая истерия прелюбопытная штука, доложу я вам. Братья-культисты оказались всего лишь испуганными юнцами. Мне претило находиться с ними в одном помещении. Я сообщил им: послушайте, таких, как вы, мы в садике атакуем при первой возможности, шутки кончились, где моя тетушка? Хитроумная игра, вот что происходило тем поздним вечером в мотеле влажная мечта пионерки.

Судя по всему, присутствующие нешуточно меня опасались. Они глядели на меня настороженно, стараясь не делать резких движений. Наконец, Лариса подала голос, она взвилась кострами, как дети рабочих, с дивана. Подскочила ко мне. – Миленький, я тоже помню, никакой тети с тобою не было. – Эх, Лариса, Лариса, она абсолютно не внушала мне доверия. Иными словами, жена Казимира казалась бледной тенью своего суженого. Да, подумалось мне в тот момент, когда она напала на меня со своими телячьими нежностями. Ты совершенно не похожа на Марианну Бахмайер, мать-одиночку, которая застрелила прямо в зале суда педофила Клауса, виновного в страшном происшествии. Происшествии, разлучившем Бахмайер с дочкой. Восемьдесят первый год, пистолет Beretta, она достает его из кармана серого плаща. Бам, бам, бам, восемь выстрелов, и правосудие восторжествовало в тот день в ФРГ.

Ларе удалось схватить меня, как муху-цокотуху, и обнять. – Ой-ой-ой, – заголосоил я, вырываясь. Женщина напоминала калининградскую чайку, а я напоминал бутерброд в руках туриста, думаю, аналогия понятна. Бантиков поддержал гражданку: держите, держите этого голожопика, я пока сбегаю за валерьянкой, надо успокоить ребенка. Он уходит в свою каморку. Развешаются полы халата, подобно плащу Бэтмена. – Юноша, не драматизируйте, шизофрения это начало опасного, но увлекательного путешествия, – высказался латексный Казимир. Кудрявые братья внимательно следили, как постояльцы безудержно сводили меня с ума. Несовершеннолетний литератор был готов расплакаться, довели.

Я отчетливо понимаю, люди хотят запутать, хотят, чтобы я засомневался в своей правоте. Позволю себе лирическое отступление. У нас в детсаде был такой мальчик, Федор Михайлович. Замечательный парень, любознательный и все такое. Так вот, его идеальность, то, как он чистил зубы дважды в день, как виртуозно играл выученные произведения на пианино, как аккуратно принимал пищу, используя вилку и ножик. Словом, это чрезвычайно раздражало всех, родителей, воспитателей, всех. Помнится, его папа спятил на этой почве. Однажды просто не выдержал, глядя на читающего божественную комедию Федора Михайловича. И начал стучать поварешкой по кастрюле, выкрикивая откровенную чушь. Я хочу сказать, правильные дети сейчас никому не нужны. Федя писал отцу письма в психушку своим каллиграфическим почерком. Санитары не давали читать те письма родственнику. Видя безупречный почерк, папа начинал еще больше бредить. Несчастный Федор Михайлович стал сомневаться в собственной правоте. Полагаю, это его подкосило, полагаю, именно поэтому он кушает козявки. Мне бы не хотелось повторить судьбу того мальчика. Я ретиво выбил пузырек с валерьянкой из рук Нормана. Вырвался из порочных объятий Ларисы. Решительно зашагал прочь. – Держите, держите эту маленькую Гватемалу, – кричал вослед Бантиков.

Я вышел в мучительную, как похмелье, ночь. Мне ничего не оставалось, кроме как возвратиться в свой номер и занять круговую оборону и дожидаться Кауфман. Я рассчитывал на ее сознательность, на то, что в ней наличествует совесть. Проходя мимо тринадцатой комнаты, услышал чьи-то стоны. Дверь была не заперта, я уподобился расе высокоразвитых микробов из космоса. Столь же осторожно ступал по чужой комнате. Разило потом, кровью и китайскими благовониями. Зажег свет и крайне подивился царившей внутри бордельере. Кровать перевер-

нута, тумбочка расколота надвое, из телевизора торчит колун. В ванной бежала вода, всхлипы доносились оттуда. Шагая по разбросанным вещам. Чемодан с красной подкладкой, напоминающий кита, выброшенного на берег, его плоть, опалимая солнцем и омываемая дождями, воняет. И портит окружающим аппетит. Чемодан лежал подле разбитого цветочного горшка. Осторожно шагая по разбросанным вещам, я готовился к развязке. Настраивая себя на рабочий лад, читал вслух: маленькой пилкой, как человечки-мышки пилили, но не дощечки. Бах, пнул дверь ванной. На полу сидела обнаженная до самой сердцевины Зоя Черкасская. На ее теле наблюдались глубокие порезы. Тушь размазалась по щекам. Увидя меня, она начала жалобно скулить. И куда-то резво поползла. Дурашка, ванная комната три на три, тут можно спрятаться разве что в собственных фантазиях. Я обратился к Зое: деточка, тебе не помешал бы электрофорез. Ее груди-торпеды показывались из стороны в сторону, она стояла на четвереньках. Просила: пожалуйста, не надо, я больше не выдержу. Глядя на ее дряблый зад, я испытал какую-то иррациональную злость.

Вот такие пирожки с котятами предстали передо мной в тринадцатом номере. Я достал из кармана сахарные сигареты в синей пачке с человеком пауком. В моей голове звучал джазовый мотив. Девчонка успокоилась только после пощечины. Я безупречно связал исчезновение Кауфман и покушение на участницу жертвоприношения. Было очевидно, Зойка повредила рассудком. Время от времени она просила отпустить ее с миром. На суеверный ужас, охвативший Черкасскую, я отреагировал с подобающим разумному Токареву пониманием. Попросил описать предполагаемого убийцу. Дева поплыла и стала клеветать на тетушку Ингу. Подобных инсинуаций я не стерпел. И в качестве профилактики отшлепал ее с особым пристрастием. – Клевета, клевета, – восклицал я, – скромным девушкам дарят сто белых роз и одну красную, а вам, Зоя, следует подумать над своим поведением. – Ладно, – подытожил я, – давайте вы выпьете горячего чаю и по порядку изложите обстоятельства этого, безусловно, запутанного дела. – Барышня надела черно-белую шубку, стала напоминать зебру Черкасску. – Обещайте, что не убьете меня, – попросила она. – Обещаю, если я вас убью, вы первая узнаете об этом, – сказал ей с некоторым превосходством.

Помнится, мы переместились в разбомбленный в сорок пятом в районе Дрездена номер. Я вскипятил едва уцелевший серебристый чайник. Мадмуазель раскрепостилась, нашла в своих вещах жестяную кружку. Измятую, словно партбилет безответственного коммуниста, коробку с чайными пакетиками. – Тебе знаком сексуальный термин чайный пакетик? – промурлыкала она, присев на перевернутую кровать. Скривившись, я сказал девице: поменьше глупостей, ты единственный свидетель, а свидетелям никакой Иегова не указ. Черкасская озадаченно проговорила: никак не могу понять, сколько же тебе лет, рассуждаешь ты очень по-взрослому, а лицо детское. Я схватил барышню за шею, обратился к ней весьма эмоционально: приди в себя, Зоя, ты же не писатель Золя, ты же грядущая зола! Дева захрипела, вытаращила глаза. И тут произошло нечто примечательное. В комнату ворвались постояльцы. До безобразия возбужденный Норман закричал: я знал, что с мальчиком что-то не так, я знал, у него ум зашел за разум, посмотрите!

В моей руке сверкнуло лезвие любимой опасной бритвы тетушки. Казимир присвистнул, Лариса и вовсе свистнула где-то газовый ключ. Перехватив его поудобней, она была настроена решительно. И в то же время домохозяйка, решившая проломить мне черепушку, казалась донельзя комичной, словно кукла Хрюша. Профессор теософии раскурил трубку, табачок пах черносливом. Подростки в тринадцатый номер зайти не решились, топтались за порогом. Портье попросил меня медленно положить бритву на пол и сделать два шага в сторону. – Миленкий мой, – произнес я, вы хоть представляете себе, какую кашу здесь заварили. – Бантиков мне возразил: молодой человек, чтобы есть кашу, зубы не нужны, бросьте, я говорю, бритвочку. Семейная пара в своих латексных костюмах напоминала совершеннейших извращенцев. У меня возникла догадка, то есть я связал жертвоприношение и постельные танцы супругов. Доверять тут нельзя никому, я ходячее недоверие, подумалось. Я поинтересовался: позвольте поинтересоваться, где вы все были в период с пяти до восьми вечера, когда я предался послеобеденному сну?

Один из мальчишек несмело предположил, они с братом по-прежнему не осмеливались переступить порог этого злачного номера. Один из мальчишек робко предположил: может быть, Зою

следует отвезти в больницу, мы отрекаемся от наших верований, мы поняли, они ложные. – Да, не все аппетитное гамбургер, – мудро изрек я, заметив, как Лариса, Казимир и Норман обступают меня со всех сторон. Бездыханная Черкассова не походила на жертву, кто же тут истинная жертва, озадачился юный Миша. Чей-то хитроумный план осуществлялся, а я до сих пор не нашел главного союзника, тетюшку. Пусть мне и почудился заговор с целью стреножить любопытного и до-тошного меня. Была важна хладнокровность. И такую хладнокровность, выработанную годами упорных тренировок, я продемонстрировал господам, поклоняющимся Левиафану. Левиафану поклонялись все постояльцы, сомнения в этом отпали. Выставив немецкую раритетную бритву Solingen, я оповестил их: не подходите, возвращайтесь в свое отделение для буйных, таких, как вы, успокоят лишь пулями!

Мне почти удалось покинуть многострадальный тринадцатый номер. Однако помешала Зоя. Она была вместилищем подлости, столько подлости я не встречал ни в одном человеке. Ее щеки, как у хомяка, за ними-то подлость и уместилась. Внезапно и коварно дева схватила меня за ногу, отчего я рухнул и был схвачен Ларисой, Казимиром и Норманом. На мгновение показалось, Черкассова страдает раздвоением личности. Она была душою со спасителем, а телом с негодяями. Позволю себе лирическое отступление. В детском садике у одной девочки папа однажды пришел с завода и съел маму. Где ты сейчас, Джустина, надеюсь, у тебя все хорошо и тебя выпустили из лечебницы Арххема. Так вот, Джустина стала проживать с отцом, который не мог никак насытиться. Он жрал мебель, приносил белок, мышей, воробьев и тоже их жрал. Однажды родственник рас-слоился на десятки своих плоских копий, среди них оказалась мать. Она в дальнейшем родила множество Джустин. И с тех пор Джустина вынуждена искать свое истинное я. Совершенно не понимая, где настоящая, благодарная Зоя Черкассова, юный Миша сучил ногами, безрезультатно вырывался из лап этих людей. И задышался, не в силах смириться с подлостью.

– Человек во второй степени, это человек во второй степени! – кричал Бантиков. Казимир бесцеремонно связал мои руки проводом. Лариса вкочтала, подкладывая мне под голову подуш-ку: переложите мальчика на кровать, он же бьется в припадке, как же так, он все себе разобьет, все яйца. И такое негодование мною овладело. Что я подумал, да, разобьюсь вам всем назло. Портье заглянул мне в глаза и спросил: частенько с тобой, дружок, случается это? – Говорите конкретней, хватит на сегодня загадок! – потребовал я. Норман обратился к постояльцам: принесите кто-ни-будь зеркало. Жена Казимира поднесла свое зеркальце к моему лицу. И тут ахнули даже самые прожженные циники. Я глядел на собственное отражение, и данное запутанное дело перестало быть таким уж запутанным. Белый парик, женский макияж. В отражении я увидел свою тетюшку Кауфман. Вывод напрашивался сам собой. Кауфман и я один человек. – Ах, – закатил глаза мало-летний Токарев и лишился чувств.

Глава 12

Шизофрения это начало опасного, но увлекательного путешествия

Полоумный литератор перестал вспоминать об Ангарске ближе к рассвету. За минувшую ночь я успела обмочиться от переизбытка чувств. Рассказ героя моего фильма всколыхнул веточку, на которой сидела синичка моего любопытства. Утомленный Миша дремлет на матрасе. Лежит на спине, по-детски оттопырив нижнюю губу, он кого-то зовет. Изредка начинает петь про пятнад-цать республик, пятнадцать сестер. Я снимаю его лицо на камеру. Мужчина всхрипнул и открыл свои глазенки. Поинтересовался, который час. Я честно ответила, что не знаю. Он посоветовал знать и не стареть душою. Я поблагодарила и выключила камеру. В комнатку заглянул молодой человек, вылитый Ричард Рамирес, он же ночной сталкер. Черные джинсы, черный свитер с гор-лом, волосы до плеч, на груди кулон в форме перевернутой пятиконечной звезды. Его глаза, что чернила осьминога, бездна, а не глаза. – Это Влад, он учитель словесности из Белоруссии, – сооб-щил, оживившись, Миша. Они с педагогом крепко обнялись, по-брежневски поцеловались, Вла-дислав подарил писателю ножик-бабочку. Сказал: не бойся резать сук, на котором сидишь, этих

суков, знаешь, сколько в твоей жизни будет. А я выскользнула за дверь, должно быть, стесняясь проявлений этой мужской дружбы.

В доме играла музыка, песня называлась Scatman, кто-то включил музыкальный центр на полную катушку. – Вот вы где, а я вас искала, вы вот, а я, понимаешь ли, тоже вот! – воскликнула Женечка. Она успела принарядиться. Бежевое платье с меховым воротником. Русалочий макияж. Акваринные губы, блестки в виде морских гадов, креветок и кальмаров и китов на щеках. Прическа бабетта, зеленые пряди волос очаровательны. – Женя, – произнесла я, твой супруг рассказал мне о своем детстве в Ангарске, и я все, все засняла на пленку. Девушка рассмеялась: я почему-то больше чем уверена, он вам опять навешал на уши лапши. – Ну, почему же лапши, – игриво возмутилась я, – вполне можно поверить. – Верю, верю всякому зверю, а тебе, ежу, погожу, – вспомнила, должно быть, что-то из детства Евгения. Барышня откланялась и упорхнула стрекозой выбирать свадебный букет. А я вновь была предоставлена сама себе. И бесцельно слонялась по дому.

Мне довелось забрести в подвальное помещение. От духоты я вспотела до самых косточек. Весна в том году была особенно веснуча. В подвале за круглым столом сидело несколько месье. Они баловались в преферанс, выпивали. Тарахтел напольный вентилятор. Тусклый свет лампочки не позволял разглядеть мужчин как следует. Притаившись, я подслушивала их разговорчики. – Да, неожиданно он, конечно, женится, – проговорил незнакомец. – А мне кажется, давно пора, вы так не считаете, господа, все-таки возраст, – воскликнул другой. Ему возразили: он взрослеет в час по чайной ложке, мальчику-одуванчику почти тридцать, а психологически это самый настоящий подросток-вундеркинд. – Позвольте, именно за это мы его любим, подлейте кто-нибудь абсента, будьте любезны. – Не знаю, не знаю, Женя выглядит девушкой, способной терпеть его несносный характер, с другой стороны, мальчик, борщевик Сосновского, прекрасно поддается дрессировке, главное это любовь и забота. – Но послушайте, любовь и забота, которые он получил, сделали из него отвратительного мерзавца. – Не всегда это так, временами в нем просыпается гуманизм. – Видели мы этот гуманизм, до сих пор...

Лестничная ступенька под моими ногами предательски скрипнула. – У нас гости, Марта, не стесняйтесь, окажите нам честь, выпейте с нами за молодых, – театрально сказал гражданин. Я подошла к столу, оробело сказала: здрасти. Синяя скатерть, графин с абсентом, фужеры, на блюде килька в томате, порезанные огурцы, помидорки, колбаска. – Вы друзья Токарева? – спросила у них. – Можно и так сказать, – совершенно серьезно ответил господин лет пятидесяти в желтой рубашке с короткими рукавами. Прищурил серые, колючие, как шприцы, глаза, произнес: Михаил Викторович, оперуполномоченный. Его поправила дама, сомнения в том, что это именно дама, отпали по принципу хвоста ящерицы. Третий месье оказался, как это говорится, бабой. Кряжистая, в белой майке и замшевом пиджаке. Она поправила так называемого Михаила Викторовича: Миша, ты уже не опер, ты уже балет. – А меня зовут Василий Сергеевич, врач скорой помощи, – представился хиленький гражданин с маленькими ушами, в очках с толстенными стеклами, с невыдающейся нижней челюстью, полагаю, в детстве месье слишком долго сосал соску и мало жевал твердую пищу. Он протянул мне руку для рукопожатия, однако промахнулся. – Простите, зрение слабое, то есть слабенкое, я без очков таблицу Сивцева могу прочесть до Ш, Б, М, Н, К, Ы, М, Б, Ш, Б, Ы, Н, К, М, И, Н, Ш, М, К, – залезбил он.

– Присаживайся, то ли Глюк, то ли виденье, – развеселилась баба. По ее белобрысой голове ползла какая-то голубоватая жужелица. Я плюхнулась на свободный стул. Уместно ли сказать, плюхнулась, не лучше было бы сказать, разместила свои чресла. Дамочка шумно принялась своим фиолетовым носом-баклажаном и предложила не отказывать себе в удовольствии и выпить рюмочку-другую. Мой желудок заурчал, я вдруг вспомнила, что не завтракала. Рука сама потянулась к докторской колбасе, любопытно, из какого доктора она была сделана. Василий Сергеевич зыркал на меня, когда наши глаза встречались, он отводил взгляд. И краснел, его щеки становились похожи на филе форели. Тетка заметила это и расхохоталась, ударив по плечу Василия, тот слетел со стула. – Марта, ты понравилась нашему геронтофилу!

Мне не оставалось ничего другого, как изумиться. В самом деле, я же не опиоидный анальгетик, чтобы всем нравиться. А тут настоящий успех у половины мужского населения этой комнаты. Михаил Викторович почесал свою седую голову, постриженную ежиком. И сообщил: понравилась, понравились, вставай, Кулик, настала утренняя зорька. Его медная кожа, испещренная глубокими морщинами, напоминала древесную кору. Очкарик еще больше побагровел, вылитый, как это говорится, обильные месячные. Докторская колбаса с бородинским хлебом вскружили мне голову. На столе откуда-то взялась бутылка водки, хотя ее не наблюдалось до этого. Бывший опер налил стопку, выпил залпом, смачно откусил зеленое яблочко. – А вы далеко не нежная, королева снежная, да? – поинтересовалась я у бабы. Видите ли, меня смущало, что граждане осматривают меня со всех сторон, словно я выступаю на сцене театра боевых действий. Хотелось как-то взять инициативу в свои руки.

– Зовите меня Маришкой, – сообщила тетенька, – когда-то я была следователем по особо влажным делам. Она погладила мою руку, ее тонкие синеватые губы расплылись в улыбке. – Маришка, – сказала я, – не думала, что у Токарева в окружении присутствуют опера и следователи. И посмотрела на Василия Сергеевича, врачи в окружении были преимущественно психиатры. Марина загадочно произнесла: мы просто приглядываем за ним, знаете ли. Килька оказалась костиста, от двух фужеров абсента у меня подскочило давление. Сигаретный дым щипал глаза, тетка курила красное Могэ. – А при каких обстоятельствах вы все познакомились? – поинтересовалась я. От происходящего в голове бытовала какая-то легкость, перед глазами летали цветные мошки. – Вы наладились, – томно произнес на ушко Кулик. – Я никого не алкаю, посторонитесь, приду-рок, – сообщила ему. Способность трезво мыслить у меня не отнять, даже мормоны, как они себя называли, где-то в аризонской пустыне, подмешав мне ЛСД в газировку, были не в силах помешать съемкам фильма. Съемкам фильма о ядерных испытаниях, в результате которых открылся портал в черный вигвам. Нет, камера не перестанет снимать никогда, даже когда я содохну.

– Не делайте из меня валенок, я кирзовый сапог, которым вас при случае оприходую, – сказала я дерзновенно им. По всей вероятности, нарративный талант Миши передался мне за время нашего общения. Василий Сергеевич, этот замухрышка, протягивает столовый ножик, предлагает его ударить, да посильнее, в самое сердце. Обозвал кокаинеткой. Я назвала его поганым Вертинским. Ситуация накалилась до безобразия. Кулик прилип ко мне, словно гигиеническая прокладка с ароматом ромашки. Стоит заметить, от него разило ромашковым одеколоном. – Ален Делон пьет одеколон, – словно читая мои мысли, произнесла Маришка. Она похлопала надоедливого ухажера по плечу: ну, ну, довольно этой дерьмократии, соблюдай субординацию. Затем так называемый следователь сообщила мне: удар столовым ножом только раззадорит его, а ты, Марта даже не представляешь, какие в тебе проснутся инстинкты убийцы, я познакомилась с ними на работе, Михаил Викторович хулиганил в Ангарске, Василий Сергеевич в Иркутске, расследовала их дела.

Я ощутила животные колики, вернее сказать, колики в животе. Мои, как говорится, собутельники выглядели несколько пугающе, не знаю, в чем причина. Однако мужчины смотрели на меня с каким-то плотоядным интересом. И это были отнюдь не раздевающие взгляды школьников-дебилов на сексуальную учительницу-пенсионерку или взгляды подчиненных на главную бухгалтершу области. Но хищные взгляды румынских вампиров на хорошенькую, розовощекую туристку. Граждане не просто желали меня в интимном значении, но, казалось, были не прочь выпиться своими клыками в мою режиссерскую плоть. Михаил Викторович, облизав пересохшие губы, сказал: мне кажется знакомой ваша фамилия, Глюк, моя двадцатая девушка, немка Блюм похожа на вас. – У вас было двадцать девушек, да вы распушенный мерзавец, – произнесла я, желая поскорее улизнуть от новых знакомых. Кулик подленько хихикнул: гораздо больше, милочка, гораздо больше. Миша взглянул на него укоризненно, смолчал. Маришка заметила: Марта, ты очень бледна, тебе надо есть свеклу.

Мои ноги и остальные члены временного правительства свело судорогой. Мамочка дорогая, то есть, конечно, *liebe mutter*, подумалось, до чего паршивая ситуация. Михаил Викторович обратился к Маришке, намазывая пахтет на хлеб: интересно, когда мы уже покинем этот мир с

концами. Следовательно задумалась, потом ответила: вы не знаю, а у меня отпуск заканчивается в сентябре. Слова женщины вернули мне способность управлять собственными руками. Я сжала рукоятку ножа, намереваясь вонзить лезвие в первого, кто покусится на режиссерские чресла. Кулик, видя мое состояние, ласково прошептал на ухо: это дебют вашей психопатии. – Отвали от нее, – посоветовала Марина, скривившись. Тон Василия Сергеевича переменялся, теперь он обвинял следователя в нежелании пойти им навстречу. Говорил что-то совершенно странное и непонятное, дескать, они с Михаилом только раз в год могут обрести физические тела. Так почему бы не воспользоваться ситуацией и не посвятить этот день убийствам, а не светским беседам за игрой в карты.

Бывший оперуполномоченный неожиданно спросил у меня, помню ли я свои прошлые жизни. Я ответила вопросом: что вы за вурдалаки такие, вы даже хуже тех, кто собирает конфетки с могилкок? Попросила прекратить терроризировать честную даму. Тогда Кулик посоветовал со мной не цапкаться и сию же минуту задушить чулками. Которых, стоит заметить, ни у кого из присутствующих не было, это обнадеживало. – Ваша болезненная заикленность на Клаусе не дает вам двигаться дальше, с другой стороны, можно понять такую заикленность, ведь чувство вины, которое тянется из прошлой жизни, оно затмевает... – опер не успел договорить. Едва сдерживая волнение, я спросила: какова природа твоих сведений о Клаусе, ирод? Мужчины и женщины расхохотались. Как это говорится, подавились смешинкой. Я была вне себя от возмущения, меня буквально трясло. Как это говорится, тряска или окунь или осетр. Маришка обратилась ко мне: ой, Марта, какая ты чудачка. Затем она закурила новую сигаретку.

Михаил Викторович поведал о моем предыдущем земном воплощении. Меня называли леди русалка за перепонки и прелюбные жабры. Я жила в начале девятнадцатого века и принадлежала знатному цирковому роду. Однако предпочла не идти по стопам своих братьев тюленей, сестер сиамских близнецов. Мне удалось весьма удачно выскочить замуж за хорошего человека, юриста по профессии. Мы частенько путешествовали, не знали нужды в деньгах. В августе месяце девятьсот первого года отправились в Баден-Баден, и меня терзал постоянно бодун, я пристрастилась к бренди. Супруг не одобрял этого пристрастия, впрочем, любил меня безмерно и не осуждал, ведь по профессии, как я уже говорила, юрист. Он встретил меня на одном из выступлений нашей семьи. Аристократическая бледность, манеры и природное обаяние покорили его. Денди, отцы семейств, коммивояжеры, все они были готовы целовать мои следы. Мои глаза, по признанию супруга, пьянили, словно афганские маки.

Мы добирались до Баден-Бадена на пароходе. В первом классе нас окружали банкиры, киноактеры и прочая высокопоставленная шушера. В очередной раз я перебрала с бренди. В шутку я называла бренди Венди. – Это последняя Венди, дорогой, – уверяла я своего мужа. Он хмурился, однако верил. Какой-то политик предложил ему дуэль в связи с тем, что суженый не достоин такой умопомрачительной женщины. Случился грандиозный скандал, джентльмены слетели с катушек. Всем хотелось мной обладать. Крики, выстрелы, суматоха. Бедному юристу едва удалось увести меня в каюту и там запереть. Прибытие в отель стерлось из памяти, что и говорить, связь с реальностью становилась все зыбче и зыбче. В голову мне частенько приходили дикие, как запад, мысли. Вернее, была одна магистральная, навязчивая мысль, а все остальные так.

В те времена случился бум преступлений на почве страсти. По вечерам я читала вслух газеты. Эти заметки о пенсионерке, которая зашибла своего сожителя сковородой. Или о юноше, не рассчитавшем силы, он укокошил старуху любовницу прямо в постели во время соития, асфиксия. Мой благоверный посмеивался, называл таких стариков лыжниками за своеобразную, шаркающую походку. Мы с ним, как и многие влюбленные, планировали встретить закат Европы на берегу моря, вдали от городской суеты. Честно говоря, мне так и не удалось вспомнить имя своего мужчины, назовем его Клаусом для простоты. Для меня в последнее время граждане стали делиться на Клаусов и остальных.

Это случилось, когда я прогуливалась по улицам Баден-Бадена после обеда. У аптеки ко мне подошли подростки и попросили купить им сироп от кашля, содержащий изрядное количество ко-

каина. Дескать, без документов, удостоверяющих личность, провизор не отпускает подобные препараты. Они обратились ко мне на вы, будто нас разделяла целая пропасть, хотя на вид им было лет по шестнадцать, а мне лишь двадцать один. Я совершенно четко помню осознание, а ведь я старею. Помню негодование, с какой стати я старею. И тогда же ничем не подкрепленная мысль об убийстве собственного мужа показалась единственно верной. Да, это тебе не купить на рынке говяжьих языков, это чрезвычайно серьезное дело. Я перестала стесняться неумения выговаривать Р. Когда раздумываешь, каким образом прикончить своего хазбанда, картавость видится чем-то несущественным.

Я спросила подростков у аптеки: послушайте, гипотетически, с помощью каких приспособлений вы бы изводили человека, опять-таки никакой конкретики. Кто-то предложил ударную дозу снотворных и полиэтиленовый пакет. Одна барышня в короткой юбчонке и румянами на коленках. Она рассказала об ученом из Канзаса, который приехал с выступлениями в местный университет. Он избрал аппарат, уменьшающий людей до размеров безымянного пальца. Эта девушка посоветовала мне обратиться к специалисту. – А что же мне потом делать с мужем таким маленьким, ему еще, чего доброго, выдадут автомат маленький и сапоги маленькие и шинель маленькую? – Ах, с мужем, да вы змеюка Горгона, – присвистнули подростки. – Да пошли вы в женский, детородный орган, – вспыхнула я.

До самого отеля лазмышляла над проблематикой плеступлений на почве стласти. Клайне волновалась, поймите меня плавило, никогда в жизни так не волновалась. Даже мысленно стала калтавить. Я озадачилась вопросом сокрытия улик. Серная кислота, ножовка по металлу. Дурная театральщина, расстроенная жена кусает чужие локти, не в силах дотянуться до своих. Проходя мимо рынка, где отчего-то торговали сплошь арабы. В общем, произошло какое-то наитие, и я побрела вдоль рядов со сладостями, зашишем, заморскими фруктами. Поймите правильно, мне была важна победа, не просто участие. Впрочем, я реально оценивала собственные силы. Консистенция тела не позволяла мне, скажем, набросить на шею супруга удавку. Ведь я была скорее кефиром, нежели паленой водкой. У прилавка с выпечкой некто Абдуль продал мне пирожки с капустой и цикуткой. Он играл в нарды со своими коллегами, они по-кошачьи щурили на солнце свои маслянистые глазки.

Этот коренастый мужчина с бронзовой кожей, в сером халате и пурпурной шапочке окликнул. Я не повела и бровью. Потом кто-то схватил своей ручонкой меня за локоть. Естественно, возмутилась. Едва не продемонстрировала свой знаменитый крик сирены. Между прочим, финал моих водных выступлений еще в цирке, о, крик сирены. Обнаженная и невероятно сексуальная, в специальном бассейне я начинала неистовое голосить. Зрителей лопались бутылки с пивом в руках, начиналась месячные, проходила мигрень. В общем-то, не продемонстрировала свой знаменитый крик сирены, потому что Абдуль успел представиться Абдулем. А пугать знакомого человека моветон. – Я вижу вашу печаль, все арабы своего рода провидцы, – сообщил он самонадеянно, – я помогу вам, я утолю ваши печали, Натали. Нет, араб не говорил Натали, это сейчас автор вторгается в текст Марты. Я, конечно, благовоспитанно отказалась от любых видов помощи. Вспомнились рассказы о несчастных, которым запудрили мозги амуром и отправили в сексуальное рабство на неопределенный срок. Да, от любви до изнасилования один шаг. Абдуль раскрыл полы халата, на его талии пояс с динамитными шашками. Он сказал: не обижайте меня или все взлетит на воздух. – В таком случае я вынуждена купить, что вы там продаете, наложниц, оружие, средства для выведения пятен, – сдалась я.

По прибытию в отель я застала супруга за приготовлением кофе. Он был обходителен и даже несколько взволнован, да, определенно взволнован. Милая моя, солнышко лесное, пел мужчина. Нет, никакого солнышка лесного юрист не пел. Это опять автор лезет со своими ремарками, автор, ты погоди влезать. Я чмокнула мужа в щечку и попросила горничную разогреть пирожки. Сама же отправилась принять ванну. Помнится, Клаус потер мне спинку, а затем попросил прощения. – За что ты просишь прощения? – спросила я, чувствуя неловкость. – А за все, – пространно ответил он. Мы переместились на балкон, присели за столик. Ароматный кофе с банановым привкусом странным образом на меня подействовал. Я ощутила сексуальное влечение к супругу. Однако юрист

уже надкусил пирожок, у меня мелькнула мысль попросить его повременить с трапезой и заняться любовью. Тем более, заметила я, его член стоял, как дневальный. Однако он надкусил пирожок, поздно, дуручка, поздно. Клаус прикурил сигару. И грустно произнес: я отравил твой кофе цианидом, дорогая, прощай.

Послышался топот копыт, ведь от топота копыт пыль по полю летит, кажется, так говорят. Граждане наверху чем-то гремели, возбужденно переговаривались. Гул самолетных двигателей, раздавшийся совсем рядом, буквально над головой. Вынудил меня низвергнуться со стула. А, И, Б сидели на трубе, А упала, Б пропала, кто остался на трубе. Кажется, так говорят. Подвальная дверь, скрипнув, открылась. На пороге возник служащий министерства усатых дел Саша Робека. Он подивился моему нахождению в подвале. – Фрау Глюк, что же вы тут совсем одна сидите, пойдете скорее, там прилетели родители Жени, сейчас будем знакомиться, признаться, мне самому очень волнительно. Я возразила: почему же одна, тут со мной эти непостижимые люди. Робека изумился, в его голосе стали проскальзывать нотки сожаления: вы не должны были вчера курить траву предсказателей, поганый шалфей поджарил мозги такой очаровательной дамы. Я взглянула туда, где совсем недавно сидели мои собутыльники. Представьте, никого, в пепельнице дымитесь чужая сигарета. По фужерам разлит абсент. Однако ни Михаила, ни Марины, ни Кулика не наблюдалось, мерзавцы испарились.

– Александр, – произнесла я, чувствуя легкое головокружение, – родители Жени прилетели откуда-то издалека, из деревни? – Доблестный военнослужащий поддерживал меня за локоть, помогая подняться по лестнице. Он ответил: чемодан его знает, откуда они прилетели, по всей видимости, из другой галактики. Мы вышли на улицу. Журчали ручейки, макушку напекло солнце. Щелкали желтыми клювами пенцы дроздов. Их гнездо, составленное из веточек, мха и глины на столбе линии электропередач, выглядело кинематографично. Я пожалела, что забыла камеру в доме. Граждане были в радостном предвкушении, они щебетали, тыкали пальцами в яркий, красный огонек на небе. Снежная корка на земле вскрылась. Виднелась горчичная, сухая трава, чернотом, ржавые гвозди, белые червячки. Жирные тела червячков, кажется, были питательными, ведь содержали много белка. Беличья потрескавшаяся мордочка, изображенная на голубой детской горке, показалась крайне кинематографичной. Мы пошли на пустырь, Евгения сообщила, дескать, летучему кораблю будет удобнее там приземлиться. – Что есть летучий корабль? – спросила я у девушки. Будущая жена Токарева ответила задумчиво, перешагивая, задубевшее тело крысы: не хотелось бы нагружать вас терминами, по-земному – квантовый летательный аппарат альтушка. Я многозначительно хмыкнула.

Токарев разволновался, активно симулировал танатоз, точно опоссум. Еще бы, знакомство с родителями своей возлюбленной опьяняет похлеще осознания, что пельмени – всего лишь новорожденные котлеты в пеленках. Припадочный литератор беспрестанно падал в обмороки. Если бы не поддержка друзей, тот неминуемо разбил бы себе голову. Тем временем на лазурном небе происходил мажор. Чавкали небесные хляби. Гул самолетных двигателей, издаваемый, по всей видимости, красной приближающейся точкой. Сменился на жуткий грохот. Словно тысячу ветхих запорожцев пытались завести одновременно. Зашевелились волосы на ногах, пренебрежительно заныли зубы. А окружающие предметы стали вдруг шестнадцатибитными. Как будто все мы оказались в игре на картридже Sega. Отчаянно залаяли пиксельные собаки. Их лаю, стоит заметить, не хватало полноты звучания. Евгения Михайловна, массируя виски, заметила: ох, чувствую, мама сердится, но она у меня отходчивая, Миша, Миша, твою мать, приведите кто-нибудь его в чувство! Саша Робека гаркнул на ухо лежащему на скамейке Токареву: вставай, страна, тебе Пулитцеровскую премию дают. Литератор невразумительно залопотал, приоткрыл глаза. Паутинка слюны колыхалась на ветру. – А вы такая разнообразная, вчера пахли лавандой, сегодня опасно-сть, – дерзновенно сообщил Робека, уткнувшись носом в мои волосы.

На небе я увидела электрические всполохи. Метрах в десяти над нами завис летательный аппарат. Кое-кто из присутствующих был не в силах сдержать слез. Их слезы, точно испуганные гнедые, бежали, не разбирая дороги, прочь из деревни, объятый пламенем. Откровенно гово-

ря, первое впечатление было подобно впечатлению от первого поцелуя с Клаусом в камере для смертников. Благодаря своим связям он организовал нам свидание в тюрьме для самых опасных людей Германии. Корабль, на котором прилетели родители Жени, представлял из себя торжество генной инженерии, биомеханики. Совершенно не представляю, как охарактеризовать этот черный квадрат Малевича, написанный венозной кровью. Некстати я подумала, дескать, голова и два уха не всегда значат, что человек хороший. Помню, меня разбирало любопытство, имеют ли родители Женечки головы и уши.

Космолет поистине поражал своими размерами, огромный параллелепипед нежно розового цвета. Белые прожилки, пульсирующие сероватые наросты. Летательный аппарат казался куском плоти, опутанной проводами. И трубочками, по которым бежала кислотно-зеленая жидкость. Граждане зашептались. Все вокруг перестало быть шестнадцатибитным. Истоки глаз Евгении Михайловны ищите на патриарших прудах с Аннушкой и трамваем. Глаза у Евгении Михайловны слезились. Вспомнился вдруг рассказанный кем-то анекдот о медузе Горгоне и циклопе, которые сидят в очереди к окулисту.

А еще я подумала, что мы как будто бы подглядываем за бабами, что намывают свои муди в бане. То есть прилет родителей Жени процесс интимный. Хлопотливое отчаяние охватило граждан. Признаться, я сама до одурения растревожилась. Маменька и папенька Евгении не спешили появляться. Служащий министерства усатых дел каламбурил направо-налево. – Великий поступок, окочуриться в лесу, чтобы собой накормить лису, товарищи. – Токарева держала за руку его невеста. – Чего они тянут, это как-то невежливо, я для них закатывала вешенки, а они тянут, – возмутилась женщина в кудей серой шубке с банкой маринованных грибов. Только сейчас я обратила внимание, многие гости пригостили гостинцы для инопланетных father и mother. Кто-то держал в руках тазик с холодцом, кто-то бутылку зеленоватого самогона. У одного дедушки был припасен по такому случаю бездыханный заяц с длинными, вампирскими клыками, утиными крылышками. Непонятно, каким образом дед затесался в нашу компанию. На его куртке цвета хаки засохшие пятна крови, ягодки рябины. За спиной ружье.

Летательный аппарат по-пчелиному загудел, пошел на снижение. Упругие, нежно-коралловые щупальца использовались вместо шасси, догадалась я. У присутствующих при столь волнительном событии одновременно зазвонили мобильные телефоны. Пахло креозотом. А затем произошло что-то совершенно необычайное. Я не сильна в арифметике, да и способности к поэзии у меня посредственные. Однако я постараюсь быть объективной. Вспышка. Волна блаженства прошла по моему телу, истосковавшемуся по глаголу любить. Горели мои ланиты, словно ведьмы на костре. Набухшие сосцы, что кнопочки, запускающие ядерные боеголовки, жаждали прикосновений. Из грудной клетки выпорхнула птица счастья завтрашнего дня, ее крылья звенели. Взгляд ее малахитовых глаз испепелял кафилов и шайтанов. Я потерялась в пространстве и времени. Помню лишь эту вспышку и замечательный оргазм. Каждый внеплановый оргазм дорог мне, как память. Впрочем, иллюзий я не питаю. Мои суждения это всего лишь сужение ума. Я будто очутилась в блаженной утробе, откуда меня беспардонно вытянули акушерскими щипцами, больно сдавили виски.

Я чрезвычайно засомневалась в собственной вменяемости. Очутившись в компании лиц, состоящих, по всей видимости, в каком-то сговоре. Дым стоял коромыслом. Вульгарные ароматы духов, одеколонов кружили голову, дурманили. Я сидела за длинным столом с белой скатертью. Запеченная рыба хищно оскалила пасть, глядела на меня своим подернутым белесой пеленой глазом. Винегрет в хрустальной вазе казался таким, как это правильно сказать, гротескным. – Птенцы извращаются в родные края, – гаркнул мужчина с бакенбардами, в зеленом пиджаке, с мелкими, словно рисинки, зубами, – вторая рюмка за молодых. Его всячески поддержали. Я заметила Токарева и Женю, они расположились во главе стола. Слева от них красный угол, справа пузатый телевизор. В окошке за их спинами иссиня-черный космос. На бревенчатых стенах висят черно-белые фотографии, выпел, календарь с изображением синего мотоцикла. Мне наливают в рюмку огненной воды. Я встаю со всеми, выпиваю, не чокаясь. По пищеводу катится солнышко,

взрывается в самом желудке. Псой Короленко унывно играет на синтезаторе. Тянусь в мясной нарезке, вилка падает на пол. – Это придет еще одна баба, попробуйте говяжий язык, он такой сочный, особенно с горчицей, вах, – советует армянин справа. На нем голубая рубашка с короткими рукавами, из нагрудного кармашка выглядывает краешек салфетки с розами.

Меня разбирает на органы и на морфемы смех. Блаженно кружится голова. Я безбожно кокетничаю с этим армянином: ваши усы такие большие, как у жука-усача, вы, наверное, долго их растили. – Со второго класса, – сообщает мой нечаянный кавалер, явно смутившись. Сердобольная женщина с химической завивкой, в костюмчике цвета банановой кожуры наложила в мою тарелку салат мимоза. Я обратилась к ней: а где, собственно, маменька и папенька Жени? Дама ответила, звонко рассмеявшись: а папенька очень занятой, он дипломат, они прилетели, поздравили и сразу же назад. Робека внезапно закричал: горько! И литератор с Евгенией Михайловной принялись целоваться. В окне за их спинами я заприметила серебристый шаттл, напоминающий своей формой пенал губной помады. – Восемьсот, – считали гости, – восемьсот один, восемьсот два! – Я откусила бутерброд с маслом и ломтиком красной рыбы, рыба заветрилась. Нёбо оцарапала косточка. Обессиленные молодожены рухнули на свои стулья.

– Ах, как мне хочется, чтобы моя, понимаешь, внучка лет через двадцать жила в мире, где она сможет беспрепятственно сделать аборт, – рассуждала захмелевшая дамочка в аляповатом платье в цветочек. Она восседала напротив, ее пронзительно-зеленые, крокодильи глаза были полуприкрыты. Я засмотрелась на свиные ушки в синей пиале. – Не волнуйтесь, она будет жить во времена, когда она сможет не только сделать аборт, но и усыпить вас, – сказал ей доверительно гражданин, похожий на геолога. Дремучая борода, коричневый свитер с горлом. Он хлестал вино прямо из бутылки. Кто-то из гостей ойкнул. К окну за спинами молодоженов приблизилось тело космонавта в оранжевом, апельсиновом скафандре. За стеклом гермошлема мы увидели сероватый улыбающийся череп. – Какой кошмар, – икнула, захмелевшая дамочка. Армянин с готовностью вскочил из-за стола со словами: мадам, я прогнать этого наглеца. Пошатываясь, месье побрел к двери. Вскоре мы услышали его истеричные крики. Так он и пропал с концами, перейдя в разряд мифов.

Тетенька с химической завивкой грустно заметила: жаль Карена, жаль этого добряка. Досужие беседы как-то прекратились сами собою. Токарев подошел к окну, потянул за шпингалет, открыл фрамугу. Пахнуло дезинфицирующим раствором. Литератору подали чью-то трость. Он аккуратно потыкал космонавтика, тот отлип от окна. И полетел дальше. Саша Робека разрядил обстановку и предложил присутствующим сыграть в русскую рулетку. Он достал из кобуры револьвер. Его темно-синие галифе и болотного цвета гимнастерка уверили меня в благородстве его намерений. Он произнес: господа, русская рулетка, играю за моего драгоценного друга, Токарева. Военнослужащий крутанул барабан, приставил пистолет к виску и спустил курок. Осечка. Какая-то барышня театрально завалилась в обморок.

Горбатенький, словно коленвал, мужичок в парусиновой сизой рубашке с чайками поднялся со своего места. К его пунцовой щеке прилип капустный лист. Он развязно произнес: если вы не возражаете, я потанцую. И принялся покачиваться в такт мелодии, исполняемой Псоем Короленко. Я резко сообразила, дело пахнет керосином и международным скандалом, немецкая подданная втянута в русскую рулетку. – Попробуйте вы мясной рулетик, да, – приговаривала сердобольная тетенька с химической завивкой, в костюме цвета банановой кожуры. Ее синтаксис претерпел изменения, ее донимал синусит. Говорила она в нос, голос – будто зажевало пленку в магнитофоне. Она против моей воли стала запихивать мне в рот сочащийся жиром рулет. Отчего-то целиком. В детстве, помнится, женщина-почтальонша запихивала в себя некстати выпавшую матку, такие возникли ассоциации. – Что вы делаете, прекратите, – пролепетала я. У нас завязалась натуральная борьба, сумо, айкидо. Я бы не назвала это простым недопониманием. Дама откровенно пыталась меня укокошить.

За окошком я вновь что-то приметила. Огромное, словно желание быть со своей возлюбленной у Оскара Кокошки, черное яйцо. Оно летело к нам. Пальчики этой любительницы скандаль-

чиков были цепкими, как у шимпанзе. Одной рукой она душила меня, другой запихивала в рот ненавистный мясной рулет. Гости, суки такие, были глухи к моим страданиям. Их всецело заняло черное яйцо. Стоя на коленях, рукой я шарила по столу. Миска с морковкой по-корейски опрокинулась, рюмка со звоном упала на пол. Наконец, мне попался нож. Ткнула, не глядя, попала в глаз. По ее лицу потекла желтая, густая жидкость, пахнувшая машинным маслом. Да это же гражданка компьютер, удивилась я. Дамочку затрясло, она загудела, как пылесос. По всей видимости, в ней перегорели какие-то конденсаторы. Остальные гости тоже повели себя абсурдно. Чего-то зависли, словно морские фигуры в детской игре. В той детской игре говорилось: море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, морская фигура замри. Не замерли только супруги и Робека.

Литератор произнес, глядя на меня с лукавой улыбкой: в войне, когда погибла четвертая часть человечества, Каин убил Авеля, а людей было всего четверо. Робека некстати принялся рассказывать дурацкий анекдот про два пути. Дескать, сынок спрашивает у отца совета, жениться или отправиться в армию. Папа говорит, если женишься, считай, все пропало. Если отправишься в армию, у тебя два пути, либо погибнешь, либо вернешься живой. Вернешься живой, считай, все пропало, придется жениться. Погибнешь, у тебя два пути будет, либо под осинкой, либо под березкой. Если под березкой, считай, все пропало. А если под осинкой, у тебя два пути будет. Либо пойдешь на карандаши, либо на бумагу. Если на карандаши, считай, все пропало. А если на бумагу, то у тебя два пути будет. Либо на писчую, либо на туалетную. Если на писчую, считай, все пропало. А если на туалетную, то у тебя два пути будет. Попадешь либо в мужской туалет, либо в женский. Если в мужской, считай, все пропало. А если в женский, то у тебя два пути будет. Будут пользоваться либо спереди, либо сзади. Если сзади, считай, все пропало. А если спереди, считай, что женился.

– Миша, Женя, а что, собственно, происходит? – спросила я. – А ничего не происходит, Марточка, черное яйцо сейчас прилетит и привет, – произнесла озорно Евгения Михайловна. По-прежнему сжимая в руке нож, я поинтересовалась: а что значит для нас это черное яйцо? Супруга поэта засмеялась, кивнув на своего мужа: вы у него спросите, что значит эта метафора, это же он выдумал меня, вас, избушку в космосе. Я взглянула на гостей, они сгущали краски. Стояли, запрокинув головы, рты пораскрывали, словно олигофрены во второй степени дебильности. Яйцо как будто стало ближе. Фужеры, тарелки, хрусталь в серванте, все зазвенело. – Миша, – сказала я хрипло, – зачем ты меня выдумал, допустим, это так, но ведь у меня должен быть, как это говорится, прообраз, если я исчезну физиологически, где-то я останусь? – Останешься, Марта Глюк, останешься, – с улыбкой проговорил он. – Твой прообраз девица Раиса в ангарском детском саду, кстати, сейчас там полдник и Раиса кушает запеканку, хотя на дух ее не переносит, совсем скоро она взбунтуется против запеканки, свитера с горлом, каши манной, жизни туманной, да, все мы в юности были нигилистами, а потом стали роботами.

Тем временем черное яйцо совсем обнаглело, заслонило собою так называемый космос. Я видела неровности на скорлупе, я видела, как скорлупа пошла трещинами. Шепотом Токарев сообщил: ауфидерзейн, моя дорогая, ауфидерзейн. А затем погасли свечи и ночь в окно твоё войдет, в тот лунный вечер ты знаешь, что она придет, промчались годы бездумья, радости и вот, погасли свечи, теперь пришел и твой черед.

Дмитрий ЗАМЯТИН

ТАНТРИЧЕСКАЯ ТИПОГРАФИКА

водоёмы молчанья

неба стол опро

кинут

бесплотные

беспилотны

в гашише низин

сияние ци

к истоку исчезновенья

русла чужих голосов

сквозе языки незнаемы

говорить священные речи

безалаберно

без

барьерно

к приближенья ножу прикладывая

ночью кусками рушится

пенье

свет

в пейзаж уже опоздавший

изобрести серотёплое

сумерек сизых плов

мелководье

пляжа тленьем пустого

на губах

рыбами звёзд

Дмитрий Замятин родился в 1962 году в г. Свердловск-45. Окончил географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, докторантуру Института географии РАН. Кандидат географических наук, доктор культурологии. Как поэт и эссеист публиковался в журналах «Новое литературное обозрение», «Новая Юность», «Воздух», «Волга», «Урал», TextOnly, «Зеркало», «Новый берег», «Крещатик», «Парадигма», Poetica, альманахе «Артикуляция» и др. Автор пяти поэтических книг. Лауреат Премии Андрея Белого (2011) в номинации «Гуманитарные исследования», а также Международной премии имени Давида Бурлюка (2018). Живёт в Москве.

пока ты уходишь в онлайн
случайною тусклой
лампой

что-то делать и с жизнью

так далеко

[в лето]

лишь во снах молодеть
как пишут на шелку
и шепчут 'жемчуг'

влагаясь в лубочно-голубое

[небо боли]

осенью
электричества

ГОЛОСОВ ВОЛОСЯНЫЕ ГЛОССЫ

как иссык-куль

вдыхая воздух лёгкий
шорохов чалму

(в)(з)растая в (тихий) сумеречный чай

цоканьем букв о
ледовитые камни

бе(г)лое сердце цедея

шум в подъезде

говорили о нереальности
бытия

агония огромных деревьев
так тихо и

стремглав

[уловить какую-то ташкентскую
синеву]

реконкисты текстов

черноты рот
одинок

остаётся рассвета
рубашка

нашествие
синиц

ткачеством чувствуя отчеств

мокрые крыши
и

тенью
йстемна

на тесёмках рассвета
ночи клонятся
кочи

запотевши
смутой снующей

окна

уткнуться в счастье

можжевельника
жжёность
землиста

галька седеет
мокра

головокруженья
техники

время делается
шероховато

в зарослях вереска или

шалфея

обращать внимание на осколки
мира
говорить о чувстве покоя
но мы по-прежнему ничего
на радио
не знаем
сладко стучащие друг о друга
с отчётливым вкусом
тела
земли

в зиму
дворы
уходят
самадхи
синь хлопка
захолустья
под небом
пригородных
станций

монисто пальцы
ласкаючи
мгновенья ли
огнисты
бегоний разбросанно бегство
в детстве
окна

попса
западает в
иногда
душу
в небо
поздняя осень-сестра
фрагментами ранних
стойков

словно забыл

метро

ЗОНТИК В

(ста)туи не делают
тату

своей

ожившей

инаковостью

в бесконечности холщовой

мерцание бело и
мягко

словно известковые

натёки

тантрическая типографика

шепотка́
щепотка

по булыжнику
влажному

пощёлкивание черепичных
пожаров

КАРМАННОЕ ЗЕРКАЛЬЦЕ

Рассказ

Самой светлой вещью в нашем доме было материнское зеркальце. Смотреться в него было трудно. От малейшего вздоха на нем появлялось туманное пятно, похожее на расплывчатое очертание волшебной, быстро тающей страны.

Круглое, прохладное, хорошо ложившееся в ладонь, оно смутно томило меня сочетанием чего-то несоединимого: ясное с внешней стороны, было лаково-темным с обратной.

Хороший человек с черной душой? День и ночь одновременно? Открытый колодец с горластым сумрачным дном? Или – если вскинуть глаза – сверкающая луна с густо затуманенной изнанкой? Но бросим луну! Вечно она лезет под руку, когда надо и не надо.

К сожалению, зеркальце редко появлялось на свет. Лишь утром, собираясь на работу, мать кидала в него озабоченный, слегка даже обеспокоенный взгляд, и мы с братом чувствовали, что она ждет от круглого стекла любого подвоха.

Вдруг на виске нет знакомой милой родинки, или родинка есть, но на нос вскочил и скачет прыщик – хотя так сказать, наверное, нельзя! – вместо уха торчит лопуха, или собственное лицо вообще отсутствует.

– Масло горит! – вскрикивал отец.

Мать стремглав убегала на кухню, и мы, выхватывая друг у друга зеркальце, придирчиво проверяли, на месте ли наши глаза, носы, волосы, брови и другие необходимые части и принадлежности лица.

Зеркальце заставляло нас корчить страшные рожи и пытаться – правда, безуспешно – шевелить ушами и лопухами. Беззвучного нахотавшись, оно снисходительно разрешало использовать его по прямому назначению.

Есть фонарики для ночи. Но что в них сложного? Батарейка, лампочка – включаешь, появляется свет. Зеркальце было фонариком для белого дня, не имевшим за душой ни лампочки, ни батарейки. Однако стоило навести его через открытое окно на соседний забор, на досках появлялось горящее летучее пятно.

Свет из моей ладони заставлял просить прозябавшую на обочине, давно махнувшую на себя рукой пустую консервную банку, высекал искры из россыпи бутылочных осколков, выхватывал из подзаборной тени шевеление травы и поползновения жуков, а наталкиваясь на случайного прохожего, захлопывал ему глаза, будто на мгновение погружая в сладкий сон.

Невидимый луч не просто выхватывал из сумрака и безвестности таившиеся там предметы, но как бы укрупнял их, делал более четкими. Плоский круглый фонарик был одновременно чем-то вроде увеличительного стекла и бинокля.

Вот пятнышко света влетает в тусклое окно дома напротив, попадает в чужую кухню – кажется, ты сам в ней очутился! – с любопытством скользит по столу, покрытому в ромбик и в полоску,

Вечеслав Казакевич родился в 1951 году в Беларуси, в поселке Бельнички Могилевской области. Окончил филологический факультет МГУ. Автор семи книг стихов и четырех книг прозы, последняя – «Избранники реки» (2022). В переводе на японский язык вышла книга эссе 落日礼讃 («Rakujitsu raisan», «Прославление заката»). Стихи и проза печатались в журналах «Знамя», «Новый мир», «Волга», «Арион» и др. С 1993 года живет в Японии. Преподавал в Осацком университете иностранных языков, профессор университета Тояма.

натывается на мгновенно оживившийся граненый стакан – ни разу его не наполняли таким напитком! – и встречает тарелку с недоеденным соленым огурцом и останками селедки.

И сразу видно, как горестно скорчился одинокий огурец с откусанной от него частью туловища. Эх, погибать так с хрустом, заодно с товарищами, чтобы от тебя даже хвостика не осталось, вот это по-нашему, по солено-огуречному!

А на лежавших по соседству кусочках сельди вспыхивают микроскопические блистательные крупинки, словно селедку перед тем, как пустить в море и в розничную торговлю, осыпали, словно стрекозу, мельчайшей алмазной пылью.

– Чайник кипит! – слышался голос отца.

И мать бросалась к чайнику, подкидывающему жестяную шапку на макушке.

Сгусток жаркого света перескакивал с селедки на сухой уличный бурьян, и чудилось, будь у меня не одно, а сто карманных зеркалец, они бы непременно заставили бурьян поднять дымный хвост и вскочить рыжим огненным зверем.

Школьником я был уверен, будто где-то читал, что в древности строили корабли со специальными боевыми зеркалами, способными поджигать суда противника. Отчетливо помню, эти зеркала устанавливались на зубчатых медных платформах и поворачивались в разные стороны. Овальной формы, в дубовых рамах, они по размеру не уступали самым большим парусам. Кстати, в отсутствие сражений их и использовали в качестве парусов.

Неужели мне только приснилась война, на которой мы карманными зеркальцами ослепляли неприятеля и молили прислать нам подкрепление – боевые зеркала пятиметрового калибра? Но их так и не прислали.

Зеркальце часто не отставало от меня в сновидениях. Порой, уложив нас с братом спать, мать в соседней комнате снимала со швейной машинки округлый деревянный футляр, всегда почему-то наводивший на мысли о египетских мумиях и их усыпальницах.

Под drobный стук машинки за стеной мумия из открытого саркофага соскакивала на рельсы и вмиг превращалась в летящий в темноту состав с локомотивом, на лбу которого вместо прожектора горел знакомый стеклянный диск.

И я не понимал, нахожусь ли я внутри поезда, мчавшегося неведомо куда, или замер на железном пути с вышедшими из строя ногами перед надвигающимся на меня с грохотом карманным зеркальцем.

– Не трогайте зеркало! – появлялась мать в дверях, но тут же кидалась на возглас:

– Где плоскогубцы?

Отец знал множество способов постоянно пребывать в центре внимания. Самым простым был громогласный вопрос: «Где?»

К этому, как впоследствии выяснилось, неопределенному, обстоятельству, неизменяемому наречию можно было запросто пристроить любые вещи и предметы, начиная от чистых носков и газеты «Заря коммунизма», кончая мусороуборочной машиной и солнцем. Луна отца никогда не интересовала.

Еще более действенным был вопрос: «Кто?» Далеко разносившееся: «Кто взял, убрал, унес, не туда положил?» – звучало не просто вопросительно, но грозно обвинительно.

У отца постоянно всё пропадало, исчезало, испарялось, горело, кипело, переливалось через край, не открывалось и не закрывалось, лежало не на своем месте, не завязывалось, не развязывалось...

И мать – чем бы она ни занималась! – опрометью бросалась на все эти горения, бурления, пропадания, в мир сплошных стихийных бедствий и катаклизмов, лишь бы помочь мужу целым и невредимым выйти из любой катастрофы, а потом сердилась сама на себя, что без раздумья кидается на любой его вскрик.

– Зачем я к тебе бегаю? – сокрушалась она.

– А ты не бегай, – веско отвечал отец, видя, что всё горевшее уже не горит, бурлившее не бурлит, очередная пертурбация кончилась, и кипяток смиренно превращается в чай.

– Ты же зовешь!

– Зову? – поражался отец. – Я просто говорю, что в доме происходит.

Мать возвращалась в зал, брала зеркальце в руку, и мы заворуженно наблюдали, как волна колдовского блеска неслышно обдаёт её лицо и делает его моложе и незнакомее.

Иногда казалось, что чудесно изменившаяся мать задумчиво-рассеянно смотрит мимо зеркала, словно, метнувшись на помощь отцу и выручив его из беды, вдруг удивленно поняла, что сбилась со своей дороги, не помнит, куда и зачем шла.

Трудно представить, чтобы она, всегда застенчивая и неуверенная с людьми, нахально допытывалась у зеркальца, вправду ли никого в мире нет красивей и умнее её.

Отец в карманное зеркальце не заглядывал. Но прибавлял ему таинственности и загадочности.

– Положите на место! – командовал он, застав нас за разведением солнечных зайчиков. – Зеркало не простое.

– А какое?

– Без него вас никогда бы не было!

– Почему? – хором вопрошали мы.

– Кто мух напустил? – раздавалось в ответ.

Лишь когда нас стали отвозить на лето к деревенским родственникам, тетя Поля с гордостью рассказала, что именно она устроила первую встречу наших родителей. А карманное зеркальце сразу сблизило их.

Выскользнув в тот день из ладошки нашей будущей матери, оно покатилося, как колесико, к двери, и мать, нагнувшись за ним, неожиданно столкнулась с только что переступившим порог своим будущим мужем, тоже быстро наклонившимся за перекати-стеклом.

Однажды зеркальце пропало. Мелкие домашние вещи, исчезая, чаще всего переходят в разряд без вести пропавших. Некоторые из них случайно оказываются в мусорном ведре вместе с ненужным хламом. Другие по чужой рассеянности попадают туда, куда ни взгляд, ни сырая тряпка не заглядывают. Третьи ускользают под тяжелый шкаф, пыльный диван, или соскакивают по ступенькам в погреб, где лежат, зажмурившись от страха. Даже большие зеркала терпеть не могут темноты. А маленькие – её боятся.

Задай отец чудодейственный вопрос: «Где зеркальце?», а еще лучше: «Кто прикарманил зеркальце?», мать несомненно нашла бы утрату. Но, наверное, для отца такая потеря не была катастрофой. Возможно, он ее просто не заметил. Бывают ведь катастрофы, которых никто не замечает, спохватываясь только через десятилетия.

Мы с братом больше не отбирали зеркальце друг у друга, не сидели с ним зачарованно у окна. Скоро нам стало казаться, что это занятие исключительно для детворы. Вместе с зеркальцем незаметно укатилось наше детство.

И мать больше не вглядывалась в спрятанное в ладони стеклышко. Теперь она смотрела только на отца. Бросаясь на его призывы о помощи, она порой укоризненно и удовлетворенно выговаривала ему: «Ты бы без меня совсем пропал!»

– Как швед под Полтавой! – охотно соглашался отец.

И мы видели, как он вмиг сбрасывает с себя громоздкий мушкет, с шорохом скидывает барабан – нельзя было представить отца без барабана! – стягивает ботфорты, синий кафтан, высокую гренадерскую шапку... С чем еще там полагалось погигать под Полтавой? И радостно исчезает в широком поле. Есть люди, которые даже пропадают с удовольствием.

А мать заболела. Лишь тогда мы заметили, что без сверкающей зеркальной волны, окатывавшей ее по утрам, глаза у нее перестали блестеть, лицо потускнело и осунулось. И хотя у нас было большое зеркало над умывальником и целый шкаф с зеркалом в спальне – темнее и скучнее стало в доме.

Мать все так же спешила на помощь отцу, но делала это теперь со стонами, и постоянно пыталась предотвратить будущие катастрофы.

– Хочешь, научу тебя, как овсянку варить, чтобы молоко не убежало? – слабым голосом спрашивала она и, не дожидаясь ответа, начинала. – Возьми стакан...

Но проворнее молока от материнских наставлений убежал отец. Похоже, он единственный в доме не понимал или делал вид, будто не понимает, что мать думает о своей смерти и тревожится, как он будет жить один.

– Зачем мне это? – морщился он. – Я на работу опаздываю!

Когда мать умерла, мы нашли общую тетрадку, исписанную подробными инструкциями по хозяйству: на какой сковородке жарить оладьи, на какой котлеты; где лежит штопор, а где кухонные ножницы, которые, помыв, надо обязательно повесить для просушки на крючок, иначе они заржавеют...

Читать эти заботливые бытовые советы, доносившиеся из темноты, с того света, было невозможно. По негласному уговору клеенчатая тетрадка, не успев нашелестеться густо исписанными листками, попала в разряд без вести пропавших.

Отец снова женился. Ему не только жарили блины и котлеты, варили супы и овсянку, но завязывали шнуры на ботинках. Сам он уже не мог наклоняться к полу, как раньше.

Удивительно, но теперь в доме ничего больше не пропадало, не горело, не выкипало, не хлестало через край... Будто с приходом новой жены все отцовские напасти и катастрофы кончились, и никому не нужно было опреться лететь к нему, старому и седому, на выручку.

После его похорон ко мне подошла неприметная старушка:

– Я с твоей мамой в молодости дружила. Хочешь, верну одну ее вещьцу?

Она протянула потертую старомодную сумочку:

– Вот, когда-то мы с ней сумками поменялись...

Я машинально щелкнул металлической застежкой. Внутри лежало круглое зеркальце с поцарапанной темной спинкой.

– Вы зеркало забыли, – вынул я его.

– Это твоя мама забыла.

И в ушах у меня зазвучал давно забытый голос тети Поли:

– Заметила я, что к соседке заезжает незнакомая молодуха. Кто такая? Оказывается, ее родня. Девка, что маков цвет! На бухгалтерку выучилась, в райцентре работу получила. Сойдет на шоссе с автобуса, передохнет и в соседнюю деревню пешком отправляется, свою мать проведать. Как раз тогда Степка из армии пришел, в школе работал. Загорелся: «Познакомь!» Пообещала, буду стеречь девку! И в следующий раз чуть ее увидела, сразу к нему. А его нет, на слободке комсомольское собрание проводит. Матухна Божья! Я сколько было ног туда. «Кончай собрание! – кричу. – Девка ждать не будет!»

И вот я вместе с моим будущим отцом бегу через лес по дорожке, вымощенной твердыми шишками. Успеем или не успеем? Толпа сосен с тяжелым топотом и шумным дыханием, с оседающим огненным шаром, перекатывающимся с одной зеленой лапы на другую – солнце всегда нарасхват! – несется навстречу.

Мать может нас не дожидаться. Скажет родственнице: «До свидания!» и исчезнет в быстро подступающей тьме. Отец не станет моим отцом. Будет чужим незнакомым человеком, с которым я безразлично разойдусь, даже если встречу. Что у меня с ним общего?

Быстрее, отец! Мать уже собирается уходить. Опоздаешь на минутку, никто тебя никогда не спасет. И мы с братом никогда не увидим свет!

Не уходи, мама! Как ты будешь жить без всех нас?

Лучше загляни перед дорогой в карманное зеркальце. На месте ли милая родинка на виске, не торчат ли уши-лопуши?

Вот она, юная, недавно только после техникума, достает заветное зеркальце, беспокойно подносит его к лицу, и на стекле появляются очертания волшебной, быстро тающей страны.

Мрак мой, зеркальце, скажи...

Тимур СЕЛИВАНОВ

баллада о дяде

можете вы себе такое представить или не можете
дядя сидел в уличном потом в больничном
«я буду ждать буду ждать буду ждать» – говорил
и тут целые полчища неких убогих и гнусных существ
приплясывая явились
кричали: «там откуда мы все такие»
он не устрасился и выговорил:
«жизнь идёт жизнь уже идёт а я отказался от неё»
тело ваше но душу я в скуке сберёг»

вахтёрская сказка

пробирается к маленькому окошку почему-то дрожит
смена ночная кроссворд кончился а огоньки вот они
в пятой лаборатории локализованное болото
в приближенных условиях ночью подмигивает по-особенному
всё говорит: «не ходи» но ходит и смотрит
даже бумагу подписывал не ходить
на которую ночь ходит и смотрит
давно бы уволился но эти огни

ведут в дом культуры выбирать из пяти рукоёмсел
пристраивать к делу
будешь магом нет будешь вором
нет магнитофоном
нет будешь Иваном родства не вспомнишь
потом в доме быта поят чаем кормят рулетом пытаются
кем да кем хочешь быть
нет а всё-таки
получают ответ и номер снимают в доме сна

Тимур Селиванов родился в 1992 году в шахтерском городке Кумертау (Башкортостан). Переехал в Оренбург, затем в Ломоносов, Петергоф, Горелово, Москву, Подольск, и снова в Петергоф. Первый сборник стихов выпустил в 2012 году, последний – в 2024-м (самиздат). Публиковался в «Прочтении» и «Артикуляции». Лауреат премии «Светофорик» за стихи о правилах дорожного движения (2004).

во внутренние мои покои
в зал с лаком и бархатом
где подутопленно звучит
восторженный заячий
голос Клары Румяновой
пробирается луч БОЖЬЕГО света
я вскакиваю было из кресла –
ОН обратно усаживает:
«сиди и слушай
а ты пой пожалуйста пой
и пока наружу не вылезайте»

депутация мягких и твёрдых игрушек
человек из шести-пяти
хором вопят: «мы хотим
чтоб снова звенело и прыгало и переливалось
проще говоря чтоб осенило нас
пожалуйста мы больше не можем ждать»
«нас благодать осенит нас благодать осенит нас благодать –»
это когда все замолчали заводной галчонок затарахтел один

доклад

тема доклада – ДУХ как распределительный аппарат благодати
а сам доклад не из тезисов а из вопрошаний
например что позволяет собакам по поляне кататься
скажи ты мне речка расшифруйте дубравы
вы нам дадены за какую радость
и как все лучшие вещи на самом деле в стихах не нуждаются
через них уже звучит
гимн больших и малых сих

из леса на поле гномы выскакивают попарно
совсем даже несолидно несоответственно гномьему
природоохранному статусу
их всё больше из зарослей через равные промежутки прибывает
мельтешат так что не поддаются подсчёту
увиваются от него и всё тут
от ряби движений теряет границы поле
лес дрожит и невидим уже
а народец сказочный в движении сплывается

масса друг друга сменяющих тувель бород сюртуков
подминает собой репейники и осоку
это событие спустя годы в гномьих летописях назовут
великое вытаптывание но неясно
кто ими руководил и кто в вытаптывании нуждался

к иным присоедился торговать
в ту пору руками маша
ИИСУС прошёл и трах-тарарах
соседи вскричали а из меня душа вышла
и пока те охали над черепками
черепухой обратно заползала
но уже не так как была
а как-то поперёк

кефир и зяблик

кто-то пухлый
рыжеватый
трелил сверху
с ветки
мне сказали:
«это зяблик»
я бы сам бы
не узнал
но это утром
а под вечер
вчера я пил
поэтому кефир
моя утеха появись
не медли
скажу без хвастовства ребята:
кисломолочка
почти любая
при встрече сразу
мне лапу подаёт

командировочные стихи

едет на предприятие имени вымени
за полторы тыщи километров и дальше
(возвращаться потом ещё дольше)
в пространство тёмных затмений
по горло в мазуте устанавливать истину

«гудит она маленько» –
«ну и
хуй с ней пусть гудит пока»

красота с пустыми красивыми глазами
она меня не покидала
как солнце в блокаду
на кафельном полу больницы
на холодном картофеле и на тарелке вермишели
везде лежала и испускала тонкий собачий скулёж
или чайник бросило в дрожь и он отчаянно завыл
как говаривал Ваншенкин
звук исполненный печали

лубяное и ледяное

хожу свойски по снегу
дошкольник его ворошит лопаткой
он мальчик и я он в куртке и я он мёрзнет в безумии говорю: «я больше»
он строит из снега я из самого себя а огонь проверит обоих

огородные ритуалы

здесь пахнет по-другому
на прелой на пересечённой местности наше уголье
поближе малина подальше картошка окопалась
а в центре ветхий домик
а в его подполье
пытаюсь восстановить порядок огородных ритуалов
в полном объёме их проводили редко
разве подвязать подрезать
а чтоб вздаться выше вишни окропить косяки кровью колорадского жука
до этого не дотянулась рука
но если сейчас случится по писаному то
здесь буря пройдёт
перевернёт грядки вверх тормашками
и объяснит всё-всё-всё

положение

нам дано слишком много
поэтому выбираем чего-то одно
и внимательно смотрим ну например на положение во гроб

на тканевом положении во гроб
СВЕТ наш вышит золотыми нитями по парче
и легко движется очень тяжёлыми руками
с креста вниз горизонтально к нам
надо теперь обмыть и запеленать
чтобы потом ОН за три дня через камень пророс но пока
только это неподвижное положение наблюдаем

предатель рабочего класса

вот молоток блестит блестит
так как киянка не сблестит
под любовным идиотским взглядом
меня слесаря механосборочных работ второго разряда
мне дадено полезное преобразовать в труху словесную
верстак мне даден пятидесятилетний
а я его в музей

производственные стихи

застрял на производстве судьбы
который год произвожу животом кверху
все сроки похерил
и может только через двадцать а может через тридцать
я наконец засну с собой в обнимку

прости дядь я тебя потеснил
ты тут стоял и заигрывал с невыразимым
а я прошёл между вас и невыразимое тотчас поблекло
а я знал что так будет но не навредить хотелось
а предупредить: это оно сейчас невыразимо но дай пару дней
и оно превратится в очень даже выразимое и тебя наизнанку вывернет
так что лучше и не берись не надумывай всякого если честь дорога

самооговор пятый

когда приходит время сечь я всегда не готов и обстоятельства
с некоторой безжалостностью за меня берут резак
режут близко от действующих лиц и прямо по ним
а я трус не сознаюсь что сам эти обстоятельства впустил
и когда дело сделано меня за ухо выводят наружу через рассечённую рану
а я причитаю: «очень конечно жаль
что вас так я думал получится как-нибудь по-другому»

христианские жертвы
эти вот наши колесованные
в страдательном залоге БОГУ передоверенные
туда где ямы и печи и львы
уже почти внетелесно
или наоборот сверхтелесно
вышли из-под гнёта плоти
путём побоев
и посвистывают дырочками в боках
и просвечивают костями без рентгена
на их пересказанных язвах наша вера

ХРИСТОС обязательно воскреснет

радости полные штаны
давеча из проверенных источников сообщили что мы
носим умирание ИИСУСА ХРИСТА в себе
а поскольку ХРИСТОС обязательно воскреснет
то всё совсем хорошо
так разбитый склеенный горшочек
с золотом только по швам
целиком заливают золотом

чужой кусочек затрепыхался в кармане –
то ли лапка то ли перо –
выскочил и трясётся во осуждение перед судом
«УТЕШИТЕЛЬ не поможет –
кричит – я общественность подыму!»
и она стоголовая подымается из пучины
по первому жалостливому слову

Алексей КОЛЕСНИЧЕНКО

всё время повторяется всегда
седая ночь с доверием беда
домой одна ломая каблук
что хочешь делай но не будь таким

всё время раздевается при всех
салюты в день героя строго вверх
погонный метр с кепкой под рукой
что хочешь делай но не будь такой

стекло всё время крутит на руке
смотри красиво звёзды в коробке
крюком узлом от бешенства верста
хотели но такими нам не стать

туту в решётках поезд до перми
ещё вчера родители детьми
битком теперь бетонные кубы
кем стали но могли бы были бы

в этом месте бесполезно торопиться
только снег идет как песенка поётся
и под утро возвращается в столицу

говорить с тобой но всё не удаётся
слово нужное поймать перепелицу
пересмешнице в метели не живётся

пусть сработают билеты на балеты
ледяные и билеты из болота
ледяного в лучший город на планете

Алексей Колесниченко родился в 1995 году в Воронежской области. Выпускник магистерской программы «Литературное мастерство» НИУ ВШЭ. Публиковался в журналах «Волга», «Подъем», «Формаслов», «Таволга», «Полутона», на порталах Textura, «Горький» и др. Входил в лонг-лист премии «Лицей», шорт-лист премии МХТ им. А.П. Чехова, лауреат I Всероссийского конкурса молодых литературных критиков. Автор поэтического сборника «Последний случай» (М.: Формаслов, 2022).

где метель идёт как песенка полого
и такие вокруг картины что разбиться
но сегодня католический сочельник

и слова закономерно бесполезны
и любовь твоя внимательна как бритва

слепую совесть выпустим из плена
отменим всё что не давало спать
о юности ебучие стремления
о памяти обратная резьба

без заголовка время недотрога
к плечу лишь имя жарко как шеврон
письма без сна была ура дорога
весна не знаю для чего живой

весна in vino слабости in vitro
слова кошунство нечего гадать
я посвящу тебе способность видеть
и больше не увижу никогда

слепым пойду запущенной аллеей
с надеждой на последний перерыв
и для чего я это всё лелею
ему меня угробить как открыть

неверные глаза

мутный щёлковский сквозь спальное стекло
мало времени намыло намело
в ноги раненый следы травым-травы
дождь старательный мешает разгова

ничего что я хочу тебе сказать
что на крыши напозла уже гроза
час минутой за стекло придёт черно
я хочу тебе сказать что ничего

из того что нас волнует в этот раз
совершенно не определяет нас
чёт да нечет слово дело в свой черёд
что сказать тебе хочу я ничего

мало времени поэтому бросай
бред ведь резать на минуты голоса
громко лишнее что важно сходит в тишь
ничего что ничего не говоришь

это было не нарочно но
было слишком хорошо
что ж теперь пишу из прошлого
сообщить что всё прошло

можно жить и вдоволь прожито
но мерцает из строки
кем меня любили больше и
любят ли меня таким

всё закрыто в плане базовой
еженощной мудрой лжи
только там где недосказанность
только прошлое и жить

и пускай ужасно вреден нам
жизни приторный раствор
это слабая трагедия
но и смерть не торжество

через тернии к звёздам из стали
страшным гулом в пустых городах
мне сказали что лучше не станет
только хуже уже никуда

распивать ли бездомные зори
просыпаться ли в стылом поту
наконец-то мы можем позволить
и себе и другим пустоту

где сквозь вечные цепи и сети
голосов прорастает зерно
из бесславия смерти в бессмертие
со всей славой посмертной земной

и её невозможно представить
переставить пустить на поток
пустота это форма восстания
но за это не встанет никто

пропой ура поскольку да пора
чтоб ничего танцору не мешало
а после страх а я себе не враг
но кто я чтобы вы мне разрешали

будить себя в поту ложась в нули
пить до синиц в берёзах пчёл в левкоях
чтоб с этой блядской розовой луны
двоилось в линзах от того какое

нам выпало нести в углах стекла
сухим глазам убей не нужен розжиг
дорожку эту буйную дотла
от рождества до пасхи или дольше

горбатым в отражении смотрю
себя но всё ровнее чем пейзажи
за окнами не веря январю
снег вверх в апрель но никогда не ляжет

одна надолго

страх сна и дефицит железа
не можешь вывезти – гребни
жизнь оказалась тяжелее
чем ты способен перепить

гадай о будущем по сколам
стекла где лучше бы вода
пройдут два дня и будет холод
непобедимый никогда

но может этому и рад ты
когда судьба как поплавок
что соблюдать простую правду
не нужно думать головой

в ней и без этого неровно
и совесть под прямым углом
но если прохудилась кровля
внутри не держится тепло

бери – делюсь

не спор не вызов не пари
сам обеспечил жизнь такую
но что нам город говорит
когда внезапно паникует

охрипшим сабом из шахи
дождём на поликарбонате
всем что не клеится в стихи
но умещается в объёты

поди попробуй не прочесть
чуть свет в такси как к эшафоту
как город говорит зачем
вы все неправильно живёте

идут домой друзей друзья
сон суетливо смят и брошен
но то чего совсем нельзя
немного можно или больше

/пейзажик/

от неба полынного мусор прозрачный в глазах
сухие деревья у самой воды намекают
текущее в руки суметь ещё надо бы взять
пока не замёрзнет и не обмелеет река. я

пытаюсь сказать что словам прекращаться пришло
их лучшее время что осень сидит на закорках
и некому жалобы ей и самой тяжело
и бросить её не позволят терпенье и гордость

подраненный холод с разгона влетает в живот
от фар по которым отбойники плачут вдоль трассы
а что если жить значит верить в такое чего
с тобой невозможно поскольку излишне прекрасно

на ужин оглохшая от тишины тишина
не важно что время в обрезае а солнце в зените
а если затея заранее обречена
я лучший её исполнитель

и как не сломаться пойдя навстречу
когда обещания кормят мачты
антенн закольцованной скорбной речью
о том как нельзя было быть иначе

в глазах её палевый отпечаток
с укором болит принимать экзамен
клин клином скажи но с чего начать-то
шаблонов не выдали – сами, сами

скажи что не знаешь насколько длинной
случится жестокость её ромansa
себе ли осмысленности накликать
чтоб всё же навстречу пойдя сломаться

пойдёшь и не встретишь но бредишь ибо
в начале страницы тяжёлый отступ
но жаль ли что больше уже ошибок
не видишь: за каждой – понятный способ

/едва/

вот бы в завершение жажнуло
чтоб уже наверняка
очень медленные шахматы
очень скользкая доска

тем ничейная бесславнее
чем отчётливей нули
то ли жить по расписанию
то ли жилы распилить

то ли вон галопом в бешенство
впрыгнув не собрать костей
где сентябрь прошёл там пешие
стелят конному постель

листья расписная занавесь
солнце спелая стрела
чтоб ему полегче старилось
если юность не мила

Андрей ЕФИМОВ

ЗЕЛЕННЫЕ ЯБЛОКИ

Рассказ

Полина вернулась и принесла мне яблоки. Как и обещала. Пять штук, зеленые, крупные, они лежали теперь в полиэтиленовом пакете и прели на жарком июльском солнце. Ее не было два часа.

– В нашем все разобрали, пришлось идти в дальний, – бросила Полина с порога.

Она выскользнула из своих легких балеток и, оставив пакет на столе, тут же пошла в ванную – умыться с жары. Ее лицо, только она вернулась, было разгоряченным, ярким, и заметно счастливым. Я заметил, что макияж на нем слегка растекся, но не подал виду. Теперь, за стенкой, Полина громко и радостно шумела прохладной водой и напевала без слов неизвестную мне веселую песенку, выпуская вместе с ней жар из своего тела. На-на-на, на-на-на...

– Пойду, куплю яблок, – так сказала она два часа назад.

Надела свое короткое летнее платье в мелкий цветочек, распустила блестящие русые волосы, подвела глаза, накрасила губы.

– Ну не в домашнем же идти – стыдно. Да и вообще, всегда надо быть красивой, – оправдалась она тогда, сбрызгивая шею духами.

Повесила на тонкое открытое плечо свою любимую сумочку, игриво хлопавшую по бедру при ходьбе, скользнула ногами в балетки и – ушла. А вернулась только теперь, спустя два часа.

Я медленно растянул полиэтилен пальцами, разорвал пакет и взял себе яблоко: крупное, зеленое, в бледных крапинках. С сожалением повертел его в руке. Воск радостно заблестел на свету, будто бы издеваясь в ответ. Будто есть повод для радости.

Я выпустил из крана шипящую струю воды, сунул под нее руку и тут же отдернул. Пока Полина умывалась в ванной, на кухне шел кипяток. Отряхнул укушенную горячей водой руку, повернул кран до упора вправо и принялся мыть яблоко под тонкой струйкой. Твердая кожура за скрипела под нажимом напряженных пальцев. Я усердно скреб яблоко, а Полина за стенкой все напевала себе под нос свою бесстыдно-веселую песню. На-на-на, на-на-на... Потянулся было за мылом и сам же осекся: так до сих пор и не понял, мыть яблоки стоит с мылом или все-таки без. Ничего-то я и не знаю. Ничего.

Услышал, как Полина выключила воду. Тут же, прорезав спертый воздух квартиры шипением, из крана столбом рванула белая ледяная струя. От холода по рукам замельтешили колючки, и мне вдруг захотелось тоже, как и Полина, радоваться и петь от удовольствия, захотелось, чтобы мои разгоряченные руки, а за ними и весь я, поскорее растаяли в этой холодной воде и стало бы наконец совершенно свежо и легко.

Полина вышла из ванной и легла на диван, привычно закинув босые ноги на его спинку. Я выключил воду, отер яблоко полотенцем, взял из ящика маленький нож и сел рядом с ней, на подлокотник.

Она лежала теперь тихо, полуприкрыв большие глаза, усталая, обмякшая, и только слегка покачивала маленькой босой стопой будто в такт все той же песни. Та-та-та, та-та-та... В этой ее позе платье задралось до самых бедер и оголились мягкие, белые ляжки. Взгляд сам собой заскользил по ее коже и все спускался вдоль ног, пока не наткнулся удрученно на скомканную ткань платья, преграждавшую ему остаток пути. За эти два часа у нее под коленями появились два бледно-розовых пятнышка, одно чуть больше другого. Да и платье было измято, все в тонких трещинках

Андрей Ефимов родился в 2001 году в г. Великие Луки, в настоящее время живет в Санкт-Петербурге. Студент технического университета. Публиковался в литературно-художественном журнале «Этажи».

складок. Я взглянул на ее лицо. В ванной она предусмотрительно смыла макияж, отчего стала только нежнее и милее. Мы встретились взглядами. Полина следила за моими глазами и нежно улыбалась.

– Зашла в парк по дороге?

Я решил сам подсказать ей. Рядом с нашим домом – темный липовый сквер, который мы привыкли называть между собой попросту парком. Туда она и зашла, наверное. Не только же до магазина и обратно она ходила целых два часа.

– Н-даа, – лениво, почти зевком подхватила Полина. – Решила посидеть на лавочке. Жара такая на улице. А там, как всегда, прохладно, хорошо. Так что сидела одна, в тишине. Там еще ветерок такой дует... Вот и задумалась, пока сидела.

Зачем-то заметила, что была одна. А с кем еще тебе быть? Совсем не стараешься.

– И что надумала? – резко зацепился я в попытке неизвестно зачем подставить ей подножку.

Тут же и пожалел об этом. Мне же не нужен ее честный ответ. Иначе для чего было вообще подсказывать? Да и зачем было пускать с самого начала? Вот и не стоит ее теперь подлавливать на мелочах.

– Да так, ничего не надумала. Ерунда, – отмахнулась Полина все также лениво, но теперь с недовольством, будто отогнала от себя жирную жужжащую муху. Правильно сделала, не стоит мне лезть.

– Знаешь, – начал я, рассеяно меняя тему. – Может, на следующие выходные за город съездим, в область там? Должно быть хорошо, озеро, сосны. Все равно жара, а там свежо будет, без духоты этой всей.

Полина нежно, по-кошачьи прищурилась и ответила томно, будто потягивалась после долгого дневного сна:

– О-озеро? Да-авай, бу-удет, здо-оро-ово...

Вроде как: «Не волнуйся, на выходных я вся твоя, никуда не пойду. Находилась пока. Вон, яблоки ведь принесла. Так что будем пока с тобой гулять, дышать свежим воздухом, купаться в озере, сидеть под соснами. Все, что захочешь».

После мы молчали. Я вертел в руках яблоко и смотрел, как она бездельно покачивает красивой ступней у самой моей головы. Какие у нее все-таки нежные, маленькие пятки. Я засмотрелся.

– А ты чего не ешь? – спросила Полина заботливо и мило.

Зря ходила, что ли? Да, зря! Не ем, ну и что? Не твое дело! Ты и не лезь! Я ж к тебе не лезу, вот и ты не лезь!

Я с силой сжал рукоятку ножа, поглаживая лезвие подушечкой большого пальца. Помедлил секунду, чтобы сглатывать вскипевшие вдруг эмоции, и все-таки смог улыбнуться в ответ. Получилось криво и, наверное, жалко. Лицо Полины, круглое и светлое, однако, не изменилось. Она все так же заботливо смотрела на меня и ждала. Ничего не говоря, я срезал кусок яблока ножом и положил себе в рот. Раздавил его зубами и стал жевать. Кислый сок приятно щипнул за язык. Яблоко было твердое, хрустящее и остро пахло свежей травой. Все как я люблю.

– Во-от, – довольно протянула Полина и улыбнулась еще милее прежнего. – Молодец.

Все правильно. Она купила мне яблоки, как и обещала, а это значит, что я теперь должен их есть. А иначе для чего она уходила на целых два часа? Что делала все это время? Правильно, ходила за яблоками. В нашем не было, пришлось идти в дальний. А на обратном пути заглянула в парк и там случайно задумалась, засиделась. Вот и не было ее два часа. Так что теперь тебе следует эти яблоки есть, дорогой. Я принесла, ты теперь ешь. У каждого в этой игре своя роль. Вот я и сидел, переминая зубами кусаче-кислый кусок, и даже получал от этого честное удовольствие.

– Так, пойду я пока, белье разберу, – вдруг сказала Полина, спуская ноги со спинки дивана. Ее острая лодыжка, кажется, случайно коснулась моей ноги. Я с наслаждением проглотил кусок. Она встала и все так же нежно проговорила через плечо:

– А ты давай кушай, вырастешь сильным мальчиком! – и усмехнулась по-доброму своим же словам.

– Полежи еще, – попросил я.

- Не-а, – оборвала она непринужденно. – Белье не ждет.
- И все тебе не сидится, – заметил я, сам до конца не понимая своих слов.

Полина снова усмехнулась, оправила платье и немного косолапой походкой поплелась разбирать высохшее с вечера белье. Зазвучала все та же неизвестная песенка. На-на-на, на-на-на... Я остался сидеть и срезал с яблока новый кусок.

А ведь я не заставлял ее, не просил. Даже и не подумал. Совсем, на самом деле, забыл об этом белье, белых простынях и наволочках, уныло висевших на сушилке в углу все два часа, что я метался по комнате и рылся в собственной голове. Все эти два часа было невыносимо душно, даже с открытыми окнами, хотелось превратиться в пыль, пропасть напрочь, лишь бы не эта жара, не это все. Ходил туда-сюда и угадывал, кто. Кто? Перебирал варианты, не находил себе места. А теперь... Какая теперь разница, кто? Ничего это все равно не значит.

Полина принялась снимать белье с веревки и складывать аккуратной стопкой на табурете. Я отрезал новый кусок яблока. Сейчас она разложит белье, потом, как обычно, вскипятит воду, а пока греется чайник, займется другими домашними мелочами.

– И цветы надо будет полить, – заметила Полина. – А то они у нас с тобой совсем засохнут. Жара вон какая.

Правильно, и цветы потом польет. А после, уже вечером, мы, как обычно, станем болтать с ней о чем-нибудь бездельно и добром, она предложит посмотреть какой-нибудь фильм, ляжет на мое плечо и будет тихо глядеть в экран, поглаживая тонкими пальцами мои волосы, пока мы оба окончательно не потеряемся в полусне. Так же и завтра, и через день, и дальше, и дальше. А потом однажды опять уйдет часа на два, может быть, на три, не заботясь о предлоге и скрытности. Или придет, не придумав даже причину, поздней ночью вместо того, чтобы в обычное время вернуться с работы. А я опять не буду лезть, я же сам не хочу.

Мы съехались не так давно, но все это время она честно заботится о нас: она поливает цветы, она заваривает чай, она разбирает белье. Вот и яблоки мне, действительно, принесла, как и обещала. И свое короткое платье не стала теперь переодевать, чтобы и я мог на нее полюбоваться. А не было ее всего-то два часа, и вплоть до следующего такого раза она всегда будет рядом со мной и будет моей. Да, сегодня утром она собралась и ушла. Тогда показалось, что даже нагло, почти демонстративно ушла, но на самом деле это ничего не значит. Можно даже поверить, что всего этого почти что и не было на самом деле. Ведь я и сам не хочу менять ее ни на кого другого из-за каких-то двух несчастных часов. Вот и не лезу, сижу, ем яблоко. На-на-на, на-на-на...

Наконец Полина сложила белье и понесла стопку к шкафу, мягко ступая по полу. Какие у нее все-таки стройные, легкие ножки. Нет, все это нельзя воспринимать как данность. Приходится платить изрядную цену. А не было ее всего-то два часа. Не так и много, по большому счету. Может же она посидеть в парке и подумать о чем-то своем, далеком и прекрасном? Конечно же может. В этом парке растут замечательные темные липы, и теперь, посреди жаркого июля, совсем не хочется уходить из-под их опеки прочь на жестокое солнце. Напротив, тянет остаться и уснуть в их уютной, прохладной тени. А когда все-таки опомнишься и соберешься идти, подошвы вдруг станут приставать к липкому от липовых слез асфальту, как будто сами деревья не хотят и ничто в этом парке не хочет, чтобы ты уходил. Каждый может найти в этом парке одинокую лавочку и, составив ей компанию, замечаться в тишине и спокойствии ленивого летнего дня. Да, замечаться, задуматься, забыться может каждый. Тем более такая замечательная девушка как Полина.

Я очнулся от мыслей. Полина все еще стояла у шкафа и была нечаянно красива от того, что вставала на носочки и тянулась к верхней полке, пытаясь засунуть на нее постельное белье. Только теперь я заметил, что с ее приходом в душной комнате стало заметно легче и веселее. И какая все-таки веселая у нее песня! На-на-на, на-на-на...

- Полин, – позвал я.
- Чего? – отозвалась она непринужденно.
- Ты у меня тоже молодец.

Полина довольно хихикнула в ответ и засунула наконец белье на верхнюю полку. Я срезал новый кусок яблока и привычно снял его с лезвия ножа языком. Все как я люблю.

ЧЕРЕЗ РАЗ

весенне-выставочное

ива зеленеет карагач
темнеет от почек
а над городом
все та же горная
бело-синяя гжель
будто мастера
устроили выставку
работ
и теперь на юге
с сентября по май
высытся сервизы
кувшины и вазы
скоро их прикроют
овечьей кошмой
с темно-зеленым орнаментом
пестрыми корпешками¹
войлочными сырмаками²
кок жайляу³

остаться снаружи

двугорбый верблюд Кок-тобе⁴
со шприцом – телевышкой
в вечном смоге твоих повозок

старый тополь
блестит листьями на ветру

¹ Корпе – (каз.) традиционное казахское одеяло или плед.

² Сырмак – (каз.) традиционный казахский узорчатый войлочный ковер ручной работы, созданный из отдельных кусков войлока разных цветов

³ Кок жайляу – (каз.) летнее пастбище.

⁴ Кок-тобе – (каз.) «зеленый холм» – гора, расположенная в юго-восточной части Алматы.

Ксения Рогожникова (Земскова) живет в Алматы, работает преподавателем семинара прозы и детской литературы в Открытой литературной школе. Окончила литературный мастер-класс фонда «Мусагет» и Высшие литературные курсы в Литературном институте им. Горького. Лауреат литературной премии «Алтын калам-2020», шорт-лист Республиканской премии имени Ыбрая Алтынсарина (2021). Автор четырех и соавтор шести книг. Публикуется в казахстанских и российских литературных журналах («Дактиль», «Айна», «Простор», «Деби портал», «Полутона», «Формаслов», «Дружба народов», «Аполлинарий» и другие).

шаманит
вызывая дождь
стараюсь дышать через раз
попадая под выхлопы

внизу пламенеет
вечерний проспект
шарк-шарк-шарк –
звук с которым
проносишься мимо
автомобилей стоящих в пробке

как будто кто-то долго
вытирает обувь
о жёсткий придверный коврик
боясь войти

после фейсбука

вот он лежит в траве
выплеснутый с водой
сучит ножками

комар звенит так
будто вдалеке
невыносимо долго кричит человек

в темноте другая ночная мошка
бегает по
ещё светящемуся
экрану телефона
торопясь набрать и отправить
комментарий
на который я не отвечаю

как будто паспорт другой страны
вообще может быть
отговоркой

тропики и пики

на алматинской
автобусной остановке
баннер зовёт лететь на Фукуок
под ним – дедушка с тележкой
его загорелое лицо –
тень на белоснежном песке
а ночью жителям Фукуока

снятся Заилийские пики
и утром они спрашивают АІ
где такие большие
белые Будды

обрывки снов

к вечеру
твои брови наполовину стираются
и я говорю
– да зачем уже?
отвечаешь ты,
глядя размытым взглядом
мне в сердце

это биджа мантра?
спрашиваю у Шивы
который сосредоточенно вдувает
в область между бровей
священный слог
он хмурится и смеётся одновременно

*

я бы хотела жить с вами
в вашем невзгляде
чтобы вы ходили по вернисажу
полукартина-получеловек
лёгкий ищущий
и всматривались
во всполохи света

чтобы натюрморты и вы
стали одним
сплошным озарением
и пусть вы бы даже не обернулись

вышли из зала
утаскивая шлейф
линий-мазков-штрихов
а я бы так и
стояла и слушала
стук сердца
вломившегося
в меня

РАССКАЗЫ

Светлячки в Песках

Курбатов после обеда пошел на полигон искать целый патрон. Ему нравилось красная метка на пуле и нетронутый капсюль, похожий на тело напившегося клеща. Бабушке Курбатов сказал, что ушел в гости к Лешке Почаеву, а сам свернул с центральной улицы и дворами, мимо водонапорной башни, добрался до соснового леса, в который местные, не таясь, свозили мусор.

Дорога петляла с краю леса. По пути Курбатов останавливался пару раз. Сначала возле выброшенной шины от камаза, в середине которой вытянулись три масленка. Курбатов не удержался и отломил край огромной губчатой шляпы, казавшейся на вид крепкой. Её нутро полностью избороздили червяки. Второй раз он остановился, чтобы разглядеть простреленный дорожный знак с обозначением опасной зоны. Курбатов пробовал сосчитать дырки и постоянно сбивался.

За знаком начинался длинный бетонный забор. Скоро Курбатов дошел до дыры и направился к «будке» – так они с пацанами называли заброшенное двухэтажное здание из силикатного кирпича. Когда-то из него наблюдали за ходом стрельб на военном полигоне, вносили баллы в разлинованный табель из желтой газетной бумаги. Два окна на втором этаже выходили на полигон, еще два смотрели в противоположную сторону. Там были свалены в огромную кучу обломки от пустых ящиков из-под патронов и снарядов.

Теперь здание выглядело так, будто все пули, выпущенные когда-то по мишеням, поднялись в воздух и, развернувшись, долетели до «будки». Стекла и деревянные рамы разлетелись, крыши не было. На серой поверхности стен остались глубокие щербинки. Все, кто стоял внутри – погибли. Никто не знает, что произошло. Из поселка Пески срочно вызвали единственного, кто может расследовать происшествие – следователя Курбатова Мишу. Он разглядывал в лупу кирпичные крошки и ржавые гвозди, грызя травинку. Отдавал приказы невидимым помощникам, снимал улики на дешевый смартфон. Кричал на нерасторопного водителя под окном, чтобы тот пошевелился возле служебного мерседеса. Обещал невесть откуда взявшейся здесь городской однокласснице Тане из шестого «Б», что все преступники понесут наказание. Таня – недосягаемая красавица – хлопала глазами, и Курбатов, как взрослый, брал ее мягкую руку в свои.

Лупу Курбатов стащил у бабушки – Антонины Ивановны, которая подозревала его в краже, но прямо своих подозрений не высказывала. С помощью лупы она читала газеты и надписи на продуктовых упаковках. Курбатов каждое лето приезжал к ней из города. Любой, кто попадал в Пески, удивлялся – сколько же там по ночам светлячков у реки. Раньше Пески славились еще и воинской частью, но в перестройку ее расформировали. Теперь только светлячки несли ночную службу.

Любимым выражением Антонины Ивановны было: «Вот и именно, вот и именно». Она пережила двух своих мужей, до сих пор ругала Горбачева и думала о себе, что она женщина твердых политических взглядов. Твердость эта выражалась в том, что Антонина Ивановна всегда знала, сколько и чего должен был съесть ее внук. Еще она любила жарить кабачки кружочками, кото-

Александр Ольхин родился в 1985 году. В 2013 закончил Московский педагогический государственный университет (эстрадное отделение музыкального факультета, бас-гитара). С 2021 года обучается в сценарной мастерской Александра Гоноровского, с 2024 года – эксперт в этой же мастерской. Публиковался в журналах «Формаслов» и «Новый берег». Живет в Москве.

рые Курбатов просто ненавидел. Антонина Ивановна уже третий день просила внука почитать статьи из газет, надеясь, что тот не выдержит и вернет лупу. Курбатов невозмутимо зачитывал новости о поездке президента в КНДР и рекламу самых дешевых зубных имплантов в соседнем городе, которые, впрочем, все равно были не по карману Антонине Ивановне. Она дальнорзочно вглядывалась в лицо Курбатова, повторяя время от времени любимое «вот и именно». Внук не сдавался.

Антонина Ивановна оберегала его от влияния – по ее выражению – местной «шоблы». Вернее, она так думала. Доверяла она только одному соседскому мальчишке – Лешке Почаеву, потому что тот всегда вежливо здоровался и помогал ей доносить сумки с рынка. Курбатов, отвлекшись от роли следователя, вспомнил, как несколько дней назад они ходили с Лешкой Почаевым на реку, смотреть светлячков.

– Если раздвинуть траву руками, их там, как мандавошек у шалавы. Смотри, – Лешка Почаев нагнулся и зарылся в траву. Внизу мелькнули светлячки, – видишь?

Да, – сказал Курбатов.

Ему нравилось, что Лешка зашел за ним поздно вечером, и бабушка отпустила его с ним за просто, как со старшим братом. Лешка был старше его на два года. Это он научил его курить и познакомил с местными пацанами – той самой «шоблой».

Они высматривали светлячков у реки и ели бабушкины ватрушки. Так тихо и спокойно было, только комары кусались. Курбатов хотел, чтобы у него были такие же бицепсы, как у Лешки. И подстричься он в следующий раз собирался так же, чтобы сзади и с боков – под ноль. Лешка проводил его до дома и попросил арбалет до завтра. Арбалет, привезенный из города, Курбатов никому не давал, но Лешке... Курбатов притащил ему вдобавок пять стрел в брезентовом колчане. Лешка не вернул обещанное утром. К обеду придумал отговорку: что мать случайно унесла пакет с арбалетом на смену в прачечную.

Сейчас Курбатов с удовольствием пострелял бы по разломанным ящикам из арбалета со второго этажа. Если не смотреть вниз – ладони не потеют. Курбатов выглянул разок из оконного проема и сразу – назад. Когда он вырастет и станет настоящим следователем, то научится прыгать и не с такой высоты. Их там, в специальном институте, всему научат. А пока можно придумать, что к окнам лучше не подходить, чтобы не нарваться на пулю.

Курбатову надоело играть в следователя, и он вышел из будки. Гильз на полигоне было много, они валялись кучами. Считалось большой удачей найти среди них неизрасходованный патрон – его можно было продать за сто рублей или же устроить испытания. Курбатову патрон был нужен позарез. Потому что вчера он бездельничал с пацанами на полигоне, и Лешка Почаев, как назло, нашел цехонький патрон. После сцены с арбалетом Лешка демонстративно не разговаривал с Курбатовым. Быстренько развели костер. Бросили патрон в огонь. Потом надо было немедленно прыгнуть за развалины. Патрон шарахнул, спугнув ворон. Где-то в лесу рванул от ужаса лось-подранок. Он знал, что это за звук: сколько в нем боли и крови. Пацаны были в восторге. Бросать патрон в костер оказалось гораздо интереснее и опаснее, чем взрывать бутылки с карбидом. Потом они играли в парашютистов – прыгали из окна второго этажа, повиснув на руках. Авторитет Почаева настолько вырос, что именно он, как инструктор, командовал отрядом парашютистов и говорил, в какой момент совершать прыжок. Курбатов, пока прыгали остальные, достал лупу и разглядывал обломок деревянной линейки.

– Зачем тебе лупа? – спросил Витя Карасик – самый безобидный и младший из пацанов. У него не хватало двух передних зубов, и он смешно высовывал кончик языка из дырки между зубами.

– Когда вырасту, следователем стану, – Курбатов не подумал, что это услышат все.

Пацаны заржали. Карасик сразу отошел от Курбатова в сторону, будто и не спрашивал его. Почаев произнес с расстановкой:

– В мусора только конченные идут.

Курбатов соображал, как ответить, но никто не ждал его ответа – продолжилась игра в парашютистов. Когда перед Курбатовым осталось три человека, он заявил, что ему пора домой.

– Ссышь, тубик? – с вызовом спросил Почаев.
 – С фи́га ли? – ответил Курбатов.
 – Так прыгай без очереди, – продолжал Почаев.
 – Арбалет отдашь, тогда прыгну.
 – Да нужен мне твой арбалет всратый. Сломался он после первого выстрела.
 – Деньги тогда давай за арбалет.
 – Давать другие будут. А прыгнешь, куплю тебе новый. Батя скоро с севера приедет. Он у меня – нефтяник!

Курбатов подошел к окну, перестал дышать и, как буратино, на деревянных руках перевалился на ту сторону. Повис, держась за острый край оконного проема, не решаясь прыгнуть. Но и держать себя долго он не мог. Пальцы ослабли, Курбатов упал. Встал, потер ободранное колено и, прихрамывая, пошел домой. Он отошел уже метров на сто и услышал, как пацаны снова ржут. Ему даже показалось, что больше всех слышно Почаева. «Никогда больше к нему не зайду», – подумал Курбатов. Он хотел плакать, но переборол себя и плюнул на дорогу. Самое главное было – не оборачиваться...

Теперь же, гуляя вокруг «будки», он мечтал найти патрон и позвать пацанов. Курбатов ходил по полигону, пинал кедами желтый песок и гильзы. Достал из кармана конфету «коровка» – единственную еду, которую бабушка сунула «на дорожку» с собой из дома. Развернул бумажный фантик и положил конфету в рот. Чтобы конфета долго не кончалась, ее нельзя было жевать. Курбатов смотрел под ноги, выглядывая патрон. Ничего, кроме ржавых гильз, не попадалось. «Коровка» потихоньку таяла. Июльское солнце пекло нещадно. Курбатов достал лупу и ради забавы поджег сфокусированным лучом фантик от конфеты. Подождал, пока он сгорит полностью. Пепел Курбатов с удовольствием раздавил подошвой. Потом ушел к горе из ящиков для патронов и снарядов.

Некогда темно-зеленые, доски порядком выцвели на солнце, краска потрепалась дождем и снегом. Надписей уже нельзя было прочесть. Курбатов достал лупу. Направил луч на ящик. Дерево задымилось, Курбатов отдернул руку с лупой. На доске остался темный след гари. Вкусно пахло дымком.

Курбатов уже не мог остановиться. Рука вновь подставила лупу под солнце, просохшая доска ящика начала тлеть и загорелась. Курбатов отошел подальше, достал телефон и стал снимать видео. Огонь распространялся быстро, и Курбатов отошел поближе к «будке», чтобы в кадр влезало все. Потом он побежал на второй этаж, чтобы снять и оттуда. Что-то шелкало в огне, дымило, как на большом пожаре. Столб дыма видели, наверняка, и в поселке. «Пацанам потом покажу, а то не поверят, что это я», – думал Курбатов, снимая пожар. Ему казалось, что жар достает и до него. И тут рвануло. Курбатов упал на грязный пол второго этажа «будки». В ушах звенело. Сдетонировал танковый броневой снаряд, по недоразумению, оставшийся в заваленном пустом ящике.

Когда Курбатов пришел в себя, он нашарил в карманах лупу, которую нельзя было терять. Он хотел подняться и убежать, но боялся, что рванет еще раз. Прележав так минуту, он решился и ползком подобрался к лестнице. Спустился вниз и побежал вдоль забора до дыры. Ему казалось, что сейчас сюда приедут пожарные, полиция. Его поймают и посадят в тюрьму. Он бежал и говорил сам себе, что сегодня же вернет лупу бабушке и съест жареные кабачки без остатка. Что больше никогда не будет играть в следователя Курбатова и не вернется на полигон. Лишь бы пронесло в этот раз.

Курбатов шел по центральной улице и постоянно оглядывался. Как назло, на лавке у своего дома сидел Почаев, который сразу поднялся и подошел к нему.

– Ты бензином поджигал или так? – спросил он с налета.
 – Я не поджигал... – начал отнекиваться Курбатов, но тут Почаев схватил его за руку и крепко ее пожал.

– Нормальный напалм! – Почаев смотрел на него с восхищением. – В окно тебя увидел, думаю: че он один на полигон поперся? Я ща!

Почаев убежал домой и через минуту вынес целехонький арбалет со стрелами.

– Арбалет у тебя – офигенский. У нас тут таких не продают. Ты заходи за мной в следующий раз. Вместе пошляемся.

Ошалевший Курбатов вошел в свой дом. Бабушка журила его за то, что пришел поздно и ужин остыл. Курбатов отвечал невпопад, проглатывая еду; улучил момент и вернул лупу на место. Потом помылся и ушел спать, уложив арбалет с колчаном под кровать.

Утром, пока Курбатов спал, Антонина Ивановна, посмотрела видео на его телефоне, где за кадром следователь Миша Курбатов прибыл на пожар повышенной опасности, чтобы потушить его в одиночку, а потом взрывался снаряд. Миша на видео всхлипывал и убегал.

За завтраком Антонина Ивановна говорила тихо и спрашивала: какую кашу он больше любит и не много ли сырников она положила? Теребила в руках краешек вафельного полотенца с петушками и время от времени гладила его по голове. Руки ее, огрубевшие, сморщившиеся – дрожали. И Курбатов не понимал – почему? В эту ночь ему, да и долго еще потом, снился огонь и громкий взрыв, от которого некуда спрятаться. Он не знал, что никто так и не приехал тушить пожар на заброшенный полигон. Ящики прогорели, и после заката угли долго тлели, похожие на светлячков в густой траве.

Миркой

Гордин смотрел через запыленное окно старого камаза. Изредка попадались голые кривые деревья, на которых сидели тощие вороны с неподвижными агатовыми глазами. Потом и деревьев не стало: мох, камни, жухлая трава. Пропащий край. Тянется от города Горный до поселка Миркой новенькая однополосная дорога. Разбухшая вена на теле пергаментной потрескавшейся земли, напоминающей лунный пейзаж. Когда-нибудь здесь будет и асфальт, а пока – щебенка.

Пылит камаз, хрустит под колесом мелкий камень. Дорога еще не готова, на половине она обрывается. Дальше – ничего, только ветер. Мариночка, дорогая Мариночка, как она плакала, когда узнала, куда его посылают. О том, чтобы ехать с ним, и речи не могло быть: пятилетняя Нина должна есть кашу, ходить в садик, ездить по выходным в зоопарк и показывать рукой на жирафа. Здесь же ее лакированные сандалики быстро сойдутся о мерзлую каменную крошку. А Мариночкины уши в первый же день от рабочих услышат такие слова... Она и шепотом их не произносит, потому что они – оползень. Грязь брызжет изо рта, когда их говорят. Лечиться потом надо, потому что горло обдерет. Это им, мужикам в дешевых китайских куртках, ничего не стоит – глотка луженая. Гаркнут, посмеются. Сплюнут на дорогу и снова примутся ковырять ломami замороженную насквозь мертвую землю, без которой, видимо, не может прожить русский народ. Зачем тут дорога, и зачем тут жить человеку? Разве может он, глядя на это серое низкое небо и бесплодную почву, быть счастливым? Добро бы здесь нашли кимберлитовую трубку или металл какой. Так нет. Приказ с секретным грифом о стройке дороги спустили сверху, и никто не знал, что будет в этом Миркое.

Гордину предстояло достраивать дорогу. Малышева – прошлого начальника стройки – поймали на воровстве. О судьбе его достоверно никто не знал. Ходили слухи, что на допросах Малышеву по кусочку отрезали ухо, пока он не подписал все, что на него повесили. Гордин не хотел думать о судьбе своего коллеги, но чувствовал, как ясновидящий, простую и очевидную мысль – Малышев не жилец.

Гордин решил, что нужно вспомнить хорошее. На ум прикатилось воспоминание об отдыхе на юге, где они провели половину лета с семьей. Сняли дачу под Геленджиком и наслаждались

морем, сосновым воздухом, бездельем. Ниночка танцевала на набережной под песни мужчины, изображающего Розенбаума; если закрыть глаза – не отличишь. По вечерам, когда Нина засыпала, они пили с Мариночкой вино, ели жареную рыбу, пойманную Гординым на спиннинг. Днем Гордин рыбачил, Нина купалась, а Мариночка собирала на пляже гладкие продолговатые камушки. Она раскрашивала их потом акриловыми красками. Яркие и веселые – эти камушки остались теперь в тесной тверской квартирке. Хорошо бы позвонить сейчас Мариночке, услышать ее голос, но связь пропала сразу после выезда из Горного. Телефон тут – безделушка. Гордин застонал, забыв, что он не один в кабине камаза.

Водитель Паша – мужик с огромными руками и запорожскими усами – глянул на него и спросил понимающе:

– Зуб?

– Тянет немного, – подыграл Гордин. Ему приходилось перекикивать рев двигателя.

– У меня своих давно нет, – Паша улыбнулся, обнажив металлические зубы, – тут вода плохая. У всех выпадают.

Гордин не удержался и потрогал кончиком языка свои целехонькие зубы. Он никогда не ходил к стоматологу, и зубы болели у него один раз, когда резался зуб мудрости.

– Только вам переживать не о чем. Мы начальство привозной водой обеспечиваем. Я каждую неделю в город мотаюсь. Дорога теперь – высший сорт: пружинит. Вот построим до Миркоя, заживем.

– Думаешь? – спросил Гордин.

– Поговаривают, что ракеты отсюда запускать будут. Врут?

Гордин ничего не ответил.

– Я вот мечтаю, что Миркой станет городом. Чтобы там ходили трамваи до центрального рынка, – Паше хотелось поговорить.

Гордин вспомнил, как начальник поставил его перед фактом – надо ехать.

– Управись раньше срока, на повышение пойдешь, – начальник посмотрел на Гордина. И вдруг затараторил: – Гордин, ты хоть как, а управься, мне дорога эта теперь – вот где.

– А что там в этом Миркое такого, что дорогу эту тянут?

– Коля, неправильные ты вопросы задаешь. Малышев, дурак, похоже, дознался – и где он теперь? А я и знать не хочу.

Начальник достал две рюмки, налил из резной бутылочки коньяка. Они выпили, и начальник обнял его, будто перед отправкой на фронт. Гордин не стал бы хвататься за эту работу, если бы не желание переехать в Москву и купить там квартиру побольше.

Он не заметил, как пролетели четыре часа пути. Мелькнули палатки, техника, и он понял – добрались. Паша притормозил, когда Гордину махнул худой мужчина со сжатыми губами. Это был Порезов – комендант стройки, второе лицо после начальника. Они пожали друг другу руки, познакомились.

– Как добрались? – Порезов мигал глазами, будто степным ветром ему нанесло туда пыли.

– Без происшествий, спасибо.

– Ужин готов. Поедите с дороги? – Порезов опять мигнул и по-рыбьи уставился на Гордина.

– Потом. Рабочее место в порядке?

– Да, только... – Порезов замялся.

– Что?

– Местные прознали, что вы едете. Коренные жители. Толпятся возле вашего, так сказать, кабинета.

– Пойдемте.

– Вы не слушайте особо их рассказы. Народ тут вредный, – на ходу говорил Порезов, – а как захотите, мы и ужин вам сообразим.

Они пошли по причмокивающей грязи к теплушке на колесах, которая теперь должна была стать для Гордина рабочим кабинетом. Из трубы шел дымок, у Гордина промелькнул вопрос:

«Чем топят?» На поляне перед теплушкой толпились люди. Кто-то пришел с детьми, укутанными в платки. Сначала Гордин даже не понял, сколько тут людей. Пятьсот? Тысяча? Они молчали. Целый улей окаменевших пчел.

– Кто говорить будет? – рявкнул Порезов.

Улей ожил, в нем началось движение. Наконец, на дорогу выпал огромный мужик со шрамом в половину лица. Толстая шея великана сливалась с головой. Его грубое лицо будто наскоро вытесали из камня, не переживая о форме носа и ушей. Гордин кивнул ему на дверь теплушки. Они зашли внутрь. Великан не помещался в полный рост, и ему пришлось наклонить голову вбок. У стены стоял стул, но Гордин не предложил великану присесть. Было жарко от натопленной буржуйки, Гордину захотелось спать.

– Давайте быстро, – он подвинул в сторону стул.

– Я за наших просить пришел. Чтобы как раньше, нанимали нас и платили. У нас тут другого дела нет.

– Вот оно что, – Гордин расстегнул пуховик, – и много платили?

– Хотелось бы побольше. Я же говорю, тут работы нет.

Гордин оглядывал теплушку, обитую вагонкой. Предбанник, кабинет. Через стенку спальня с разложенной кушеткой. Не гостиничный номер, но жить можно.

– Что делали? – он развернулся к великану.

– Будто не знаете?

– Говорите коротко и ясно. Какую работу выполняли?

– Ложились мы на дорогу, – великан не верил, что Гордин не знает.

Гордин в голос засмеялся:

– И долго лежали?

Великан испугался этого смеха. Совсем растерявшись, он тихо сказал:

– Так до сих пор и лежат, кому заплатили. Навсегда это.

Гордин перестал улыбаться:

– Значит, вы ложились на дорогу, а потом что?

– А потом нас щебенкой засыпали, – великан так и стоял, как огромный кукольный болванчик со свернутой набок шеей.

Гордину стало не по себе. Он понял, что перед ним сумасшедший.

– Так как, не откажете? – великан улынулся, обнажив беззубый рот. Теперь, когда он улыбался, лицо его удивительно изменилось, стало каким-то детским, и даже шрам будто исчез.

– Приходите завтра. Утром. Может, и найдется какая работа для вас. Людям скажите, чтобы расходились.

Великан вышел из теплушки. Гордин вспомнил объятья начальника после стопки коньяка и обматерил его про себя. Впервые за день он остался один. Голыми пальцами Гордин открыл дверцу буржуйки. Каменный уголь горел совсем не так, как дрова – он светился розовато-оранжевым светом, как раскаленные чугунные болванки, и иногда по нему проходили всполохи огня.

Постучали в дверь. Вошел Порезов.

– Ужин нести? – Порезов снова мигнул.

– Этого бугая ко мне больше не пускать.

– Хорошо. Так как с едой? Может, и выпить хотите, так я только скажу.

– Давайте-ка лучше пройдемся. Покажете мне, что у вас тут творится, – сказал Гордин, закрывая дверцу печи.

И они отправились с Порезовым осматривать хозяйство. Сначала толкались у пиломатериалов. Гордин вертел в руках бумаги с табелями и цифрами. Не хватало больше половины. Порезов мигал глазами и старался помалкивать.

– Что это? – побагровевший Гордин показывал ему разницу в цифрах.

– Народ тут вредный, – отвечал Порезов, зажмурившись и сжавшись. Казалось, он ждет, что Гордин сейчас ударит его по лицу.

Стали сверять песок, щебенку, инвентарь. Даже по быстрой прикидке получалось, что крали тут безбоянно.

– Через два дня выровняешь цифры. Хоть с Луны доставай. Ужин нести не надо. Поем как все, в столовой. – Гордин хлопнул по шее, убив комара.

Порезов повел Гордина к вагончику на колесах. Уже стемнело, и возле лампочки, висевшей на голом проводе у двери вагончика, вилась мошка. Тут же рядом валялись брошенные кем-то лопа-ты. Порезов нырнул внутрь вагончика, велел повару накрывать стол для начальника. Вынырнул назад, еще раз мигнул.

– Завтра работаем с семи, – Гордин дал понять, что Порезов свободен, и тот моментально растворился в сгустившейся ночи.

Повар быстро подал еду. Гордин спросил, где помыть руки. Повар замычал, показывая на рукомойник. Оказалось, что повар – немой.

«Господи, что за край искалеченных, изуродованных людей», – думал Гордин.

Онковырял вилкой в еду. Тушеная капуста с половиной жареной курицы не возбуждали в нем аппетита. Он понимал, что повар старался, но не мог пересилить себя. Гордин отдал повару почти нетронутую еду и попросил чая.

Утомление дня навалилось на него миркойским пыльным валуном. Небольшой кусочек курицы застрял в зубах, и Гордин никак не мог его достать. Пока повар готовил чай, Гордин пытался найти зубочистку. Ее не было ни на его столе, ни на столе рядом. Он пошел за зубочисткой на кухню к повару. Толкнул дверь. Повар дернулся и бросил на тарелку, в которой подавал Гордину, остатки курицы. Глаза его бегали, а на губах остались следы жира. Они оба посмотрели на остатки курицы, которую повар за минуту успел обглодать до костей. Чайник кипел.

– Зубочистку дай, – Гордину теперь расхотелось и чая.

Повар замотал головой – мол, нету. Недовольный Гордин вывалился из вагончика-кухни и направился в свою теплушку, туда, где ему предстояло спать, работать, принимать посетителей ближайшей недели... Строительный городок засыпал, где-то вдалеке надрылась дурная собака. Гордин глянул вверх – небо затянуло густые тучи, которые неслись быстро, будто кто тянул их на веревке.

Гордин заперся изнутри теплушки и с удовольствием снял с себя обувь. Носки за день отсырели, Гордин снял и их. Так и не включая свет, он прошел в спальню и лег на разложенную кушетку. Вытянулся. И вдруг понял, что лежит не один.

– Долго шел, – шепнул женский голос.

– Ты кто?

– Лена.

– Что тут делаешь?

– Тебя жду, – она положила ему руку на грудь.

Лена лежала под одеялом голая. Гордин спокойно убрал ее руку и, не вставая, сказал:

– Уходи. Быстро.

– Так все уж оплачено, Порезов денег дал.

– Вот и иди к Порезову. Привет передавай.

Лена встала и, совсем не стесняясь, стала одеваться при Гордине, который привык к темноте и теперь вполне мог ее разглядеть. Это была миловидная женщина среднего роста с широкими бедрами. Вздернутый аккуратный нос, маленькая грудь. Наконец она оделась, глянула в маленькое зеркало на стене и поправила берет.

– Сладких снов, – сказала Лена, не поворачиваясь к Гордину.

Брякнула дверь теплушки. Гордин достал телефон. Нашел фотографии с Мариночкой и Ниной. Вот они на море. А вот – в парке, катаются на автодроме. «Все это скотство – ради них. Потерплю полгода, а потом прочь», – Гордин закрыл глаза. Он знал, что заснет через несколько секунд. Надо было бы закрыть дверь за этой шальной бабой, но так хотелось спать... Вдруг

ему стало тревожно. Гордин стал быстро перебирать события дня, пытаясь понять – отчего? Он открыл глаза, уставился на потолок. Вспомнил великана, который нелепо стоял сегодня здесь, уперевшись в вагонку. И тут он вспомнил. Вскочил. Быстро натянул на себя носки, полуботинки. Накинул пуховик и, на ходу застегивая его, побежал обратно к вагончику-кухне.

Свет там уже не горел, но ему и не надо было. Он пошурудил рукой в стороне и взял одну из лопат, брошенных на землю. Торопясь, чуть не споткнулся на глиняной жиже. Несколько минут бежал к дороге, по которой они приехали сегодня с Пашей. Стал откидывать щебень штыковой лопатой. Полотно вгрызалось в щебень легко, дорогу еще не успели раскатать. Вдруг металл наткнулся на что-то другое – ватное, плотное. Как в братской могиле, под щебенкой лежали тела местных мужиков, прикрывающих свою голову руками. Вот так же дети спасаются от удара, когда играют в снежки.

Гордин, не возвращаясь в свою теплушку, разыскал Камаз. Растолкал Пашу. Сунул ему, сонному, бумажку в пять тысяч.

– Назад, в Горный. Мне срочно, – Гордин уселся, не дожидаясь ответа, на пассажирское место.

Паша проморгался, скомкал купюру и засунул ее, как фокусник, куда-то внутрь своей рубахи. Обулся, завел машину, включил свет. Когда заезжали на дорогу, у Гордина засосало в желудке – в минуты напряжение давала о себе знать плохо залеченная язва. Паша вновь, как днем, вцепившись в руль, вглядывался в разбухший ручеек из щебня.

Гордин ехал и все пытался кончиком языка избавиться от волокна куриного мяса в зубах. Он соображал, что делать и в каком порядке. Заявление об увольнении передать через знакомого адвоката, самому на работе не появляться. Продать квартиру. Собрать семью и уехать на юг, к морю. Купить там дачу, сарай – любую развалюху – и жить самой простой жизнью. Рыбаком, дворником, таксистом. Только бы поскорее забыть Миркой, пыль и грязь, камни и кости.

Крупные капли дождя ударили в лобовое стекло. Мелкая барабанная дробь прошла по крыше кабины. И тут же застучали, зашумели орды капель. Гордин почувствовал через стекло, что даже дождь здесь был холодным и злым. Гордин поежился, поглубже засунул голову в меховой ворот пуховика. Быстро пригрелся и, наконец, заснул беспокойным рваным дорожным сном.

Сергей СОЛОУХ

ЕЩЕ СЕМЬ ШТУК

Параллельные миры,
Вертикальные миры,
Разрезают как сыры.
Три полоски две дыры.

Если мир горизонтален,
Окоем его овален.
Но и он как сыр печален.
И порезан, и засален

Вот бы нам найти наклонный,
Неразменный, непреклонный,
Словно свекла эталонный,
В простоте укорененный.

Астроном, где твоя линза?
Вот она, зовется брынза!

Юрий Олеша описывал зависть,
Кундера Милан чувства стыда,
В клещи упала с неба звезда,
Ее траекторию не исправить.

Натан Эйдельман любил декабристов,
Виктор Астафьев простых рыбаков,
Кузнец отковал гору крепких подков,
Жести избыток в небе слоистом.

Там на Олимпе, где торт облаков,
Бунин забьет вместо вишенки гвоздик,
Скрепку, иголку и зубной мостик,
А после плюнет и будет таков

Сергей Солоух родился в 1959 году в Ленинске-Кузнецком. Окончил Кузбасский политехнический институт. Автор многих книг (романы, рассказы, переводы, публицистика), в том числе «Комментариев к русскому переводу романа Ярослава Гашека „Похождения бравого солдата Швейка“». Печатался в журналах «Октябрь», «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов» и др. В «Волге» публикуется с 1993 года. Предыдущая поэтическая публикация – «Шесть штук» (2024, № 9-10). Живет в Кемерово.

Пой, ласточка, пой!
А петь не можешь, так пей!
Яду скорее в наперсток налей,
Станет душе веселей.

Няня, где мой стакан?
Черный большой чемодан?
Щетка зубная...
 прогнут диван.
В клетке сидит павиан

Пой, ласточка пой!
А петь не можешь, полей!
Горькой слезой...
 холод углей.
Зовет к телефону кощей.

Номер набрал он не тот,
Нет, не меня он зовет.
Ласточку скушает кот.
А ты набери воды в рот.

Из тела торчит голова!
А также рука и нога.
Если умножить на два,
Выйдут на стену рога

Палец торчит из руки,
Уши торчат из волос,
Если умножить на три,
Будет похоже на ос.

Ну, а вот если делить,
Щеки, допустим, на нос.
То превращению не быть,
Лишь возникает вопрос.

Плюс или минус позвать?
Вставить в очки как кристалл?
Если еще можно взять,
Косинус и интеграл?

Дремлют знаки зодиака
Над горой Фернандо По.

Едет кошка-забияка
С картой речки Лимпопо.

Едет чижик на собаке,
Чахнет в небе рыба сиг.
Меркнут мысли, гаснут знаки,
Только не спит лесник.

Двух медведей в небе остов
Над горой Фернадо По,
Что на самом деле остров
В океане эскимо.

География наука,
Птичка в небе чик-чирик,
Суп сварили из урюка,
Вот и не спит лесник.

Осипу М. снится надежда.
Владимиру М. нежный цветок.
Хочет он сделать долгий глоток,
Лампа включается прежде

Забылись в объятиях морфея блондины.
В сомнамбулический плен взят брюнет.
Ну, и зачем зажигается свет,
Делая ясной картину?

К Сергею Е. приходит царица.
А к Николаю К. ангелок.
Если ты хочешь сделать глоток,
Сделай, пока еще снится.

Будем мерить вышину,
Будем мерить нижину,
И, конечно, глубину,
Заходи по одному

Воздадим всем по одежке,
По большой зеленой брошке,
По красивой белой ножке...
Почему? Да потому!

Мы не скажем никому!
Вот и выйдет по уму.

Александр ОЖИГАНОВ

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ СТИХИ ИЗ КНИГИ «СТРЕКОЗА. 1974»

Публикация, подготовка текста, предисловие Светланы Варкан-Ожигановой

Стрекоза – первая книга Александра Ожиганова, включившая в себя стихи, написанные в 1960-х и начале 1970-х годов, объёмом около 200 страниц. В 1974 году она была выпущена в ленинградском самиздате. (Один из не менее 10 экземпляров сохранился в архиве Э. Шварцмана¹.)

Структура книги отражает важнейшие события в жизни автора: смерть двоюродной сестры; учеба в школе-интернате в молдавском селе Парканы; гидрологическая экспедиция в Кустанайской области, куда выпускников школы отправили «на стройки коммунизма»; учеба в Кишинёвском и Ленинградском университетах; смерть матери и рождение дочери; служба в Советской Армии. Помимо стихотворений в книгу вошли также четыре поэмы: «Бык», «Барак», «Смерть землемера», «Два введения в Игру стеклянных бус».

Ранние стихи 1960-х годов, с которыми Ожиганов приехал в Ленинград, были благоприятно восприняты литературной средой. Об этом свидетельствуют мемуарные и эпистолярные отклики, в частности, воспоминания Славы Гозиаса²

Виктор Соснора во внутренней рецензии для журнала Аврора на подборку из книги «Стрекоза», 1974 год, писал: «Это явно поэт, со своей, пусть ещё не окончательно прояснённой системой мировоззрений и стихосложения»³.

В 1976 году Олег Охупкин написал лирический очерк «Александр Ожиганов» для журнала «37», в котором выразил впечатление от книги. Очерк не был опубликован, остался неизвестным самому Ожиганову и впервые увидел свет лишь осенью 2019 года⁴.

Отдельные стихотворения вошли в сборник К. Кузьминского «Живое зеркало: второй этап Ленинградской поэзии», 1974, публиковались в самиздатовской периодике, были включены в Антологию новейшей русской поэзии «У Голубой лагуны».

Особое место в литературной биографии Ожиганова занимает журнал «Волга». Именно здесь в 1992 году состоялась его первая официальная публикация, в 1993 году вышла подборка «Из книги «Стрекоза»».

В Приложении представлены полное содержание книги и ссылки на источники первых публикаций. Ранее опубликованные стихотворения в Содержании выделены курсивом. Это даёт возможность увидеть структуру книги, с которой начался путь Ожиганова в литературу, позволяет также понять, какие стихи были отобраны автором в начале 90-х годов для малых книг («Стрекоза», «Твой град, Петрополь», «Карантин»), вошедших в состав посмертного «Шестикнижия» (2021).

¹ <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgali/R-815/1/79>

Ожиганов А.Ф. «Стрекоза». Сборник стихотворений. Сброшюрован. Маш. с правкой неуставленного лица. – ЦГАЛИ СПб. Фонд Р-815. Опись 1. Дело 79. – Архивы Санкт-Петербурга.

² Слава Гозиас. Два поэта из голоса юности. 21.10.2015

Главная » Квадрига Аполлона номер 15 (18) »

<http://quadriga.name/2015/10/slava-gozias-dva-poeta-iz-golosa-yunosti/>

Слава Гозиас. Два поэта из голоса юности (продолжение). 29.11.2015

Главная » Квадрига Аполлона номер 16 (19)

<https://web.archive.org/web/20200809051336/http://quadriga.name/2015/11/slava-gozias-dva-poeta-iz-golosa-yunosti-prodolzhenie>

³ http://sosnora.ru/vnutrennaya_retsenzia_na_a_oziganova.shtml

⁴ <https://russculture.ru/2019/10/27/олег-охупкин-александр-ожиганов-лири>

Олег Охупкин. «Александр Ожиганов (лирический очерк)».

Из главы «Буратино»

Села дощатый тротуар
И клёны тонкие в гурьбе...
Я получил сегодня в дар
Воспомянье о тебе.

О детство в солнце голубом!
Окна узорчатая резь!..
Не воскресает ли в былом
Всё – похороненное здесь?

1963

Как могла ты поселиться
Здесь, в одном из этих гнёзд,
Настороженная птица,
Обитательница звёзд?

Может, радуясь разбою,
Дождь косой к тебе пристал,
Может, коршун над тобою
Крылья хищно распластал,

И, спасаясь от погони
В час, когда клубилась мгла,
Просто тёплые ладони
Облететь ты не смогла?

1963

Буратино

(из школьных восьмистиший)

1

Но из дверей – за угол, к батарее!
И подышать на пыльное стекло...
«Приди в себя! Всегда тебя согреет
Твоя любовь, крыло и ремесло».
Дежурить так, без чувств, на этаже
Пустом и ждать предсказанного чуда:
Пусть поцелует смертного Иуда,
Чтоб, умерев, он богом стал уже.

2

Так я живу за каменной стеной
Той школы, что была пристройкой храма,
И кто поймёт, какой я здесь ценой
Плачу за хлеб и воду из-под крана,
Тот никогда не примет на себя
Постылый грех бросающего камень:
Мы жили здесь, друг друга не любя
И дружно в волейбол играя в храме.

3

Ещё вчера на лестнице широкой
Стоял у пыльной пальмы истукан.
Но за эпоху поднятый стакан
Разбит во время первого урока.
Верёвкой обмотав, стащили вниз,
В тот непотребный угол у сарая,
Потев и кряхтя, пугая крыс,
В пыли и тьме невесть кого ругая...

4

Снег за дождем, и снова дождь за снегом.
Но я уже нимало не хочу
Чертить и петь и тешиться побегом
За сферы по абстрактному лучу.
Так я спелёнут временем текучим,
Такое место мне отведено,
Что должен мне казаться самым лучшим
Мой дом и дождь, обрызгавший окно.

5

И утром я уснул и осквернился...
Увы, не ты мне снилась! Не любовь
Зажгла мою бунтующую кровь –
Я над прозрачной бабочкой склонился.
Она, порхая, приняла меня
На выжженном холме, на комьях рыжей
Обугленной земли... С тех пор я вижу
Коричневую грудь в начале дня.

6

Ты, вестница ли смерти, Эсмеральда,
Нагая лгунья, гибелью грозишь?
Ни горлом соловья, ни кровью скальда,
Ни ливнем слёз меня не удивишь.
Я видел, как во тьме светились рыбы,
Я был при разрушении миров,
Я сам с улыбкой сталкиваю глыбы
Подвластных числам ледяных голов.

7

За каменной стеной – стена людей.
Там бархатные курточки болгарок
Шутя кроит увертливый еврей
И принимает, кланяясь, подарок.
Там шерсть и пух в узорных сундуках,
Гнилые корки, псы и опресноки.
Поэт-любовник, рыжий и высокий,
Там проститутку носит на руках.

8

Там худенький еврей стоит на страже.
И, ковыряя палочкой песок,
Закидывает голову и вяжет
Стихи, как вяжет шерстяной носок
Старуха под разохшимся навесом.
Там каменная пыль и белый дым.
Пустая раковина – Старый Крым –
Разрублена бряцающим железом...

9

Спасибо, хор, за шум разноголосья,
За свет и свист, за шутки наверху!
Мы все – твои озимые колосья,
Зелёные заметки на снегу.
Художнику – игра на барабане.
Для публики – Бетховен и Мюссе.
А здесь, на досках крашенных, мы все...
Мы все – твои цыганки и цыгане!

10

Час отречения, тот высокий час,
Который я предчувствовал и видел
Так часто по ночам, настал. Сейчас
Мне повелят: «Оставь, забудь и выйди!»
Но, боже, как я крылья подниму?
Как я на костылях сойду со сцены?
Как подниму я каменные стены?
Взвалить другим на плечи их? Кому?!

11

Прости меня. Я помню длинный дом,
Воротничок и двойку по черчению,
Когда моим прирастанием к отречению
Был озабочен школьный скопидом,
Когда врезались в потную ладонь
Осколки толстых стекол на заборе,
Прости меня за вольности и вонь
Чернил и вычурности аллегорий.

12

Твоя звезда! Как денежка в руке,
Она и мне возвышенно светила.
Но путь далёк, а старая Тортила
Не говорит на русском языке.

1962, 1968

Змея лежала на дороге
Земля дрожала от жары,
И чуть потюкивали в логе
Метеослужбы топоры.

Полураздетый бородатый
(Чтобы к зиме не ожирел),
Кряхтя, орудовал лопатой
На солнцепёке инженер.

Курил. И спорил о Висконти.
Гремел тарелкой о казан...
А на дрожащем горизонте
Дремал на лошади казах.

День был как в детстве: длинным-длинным!
Пустыня верила слезам.
И я таскался по змеиным
Всё ускользящим следам...

Свистел. Змеиный шорох слушал...
Грустя о детях и жене,
Девчонку из метеослужбы
Лениво тискал инженер.

Тянул кумыс, жевал конфеты.
И в ржавой ящик на столбе
Бросал измятые конверты
С простым рассказом о себе...

И бормотал монах о боге,
И ничего не понимал.
Змея лежала на дороге.
Её никто не поднимал.

1965

Степь

(из казахстанских восьмистиший)

Лилечке

1

Прощай, уродливая родина,
И ты, лесостепное детство!
Здесь всё испытано и пройдено.
Лишь степь – единственное средство
Для вольных вдохов, для ритмичного
Дыхания: «Полюшко широкое...»
Однообразного и зычного
Степного пеня просит лёгкое.

2

Тобой, Тобол, никто не хвастает.
Течёшь – стоишь себе с собою.
Никто по берегу не шастает
И не приходит к водопою.
На берегах твоих не спросится
С меня никем: всё поле вольное!..
И сердце на руки не просится:
Впервые мирное, довольное.

3

Ну что, душа моя, что, Лилечка?
Чем не похож на мужика я?
Есть у меня в авоське килечка:
Оближешь пальчики – такая!
Есть у меня в пальто бутылочка:
Рубль сорок девять – квинтэссенция!..
И надувает губки милочка:
«Чего и ждать? – интеллигенция!»

4

Какая милая идиллия:
Здесь по бутылочке на брата!
Налейте мне!.. Царица Лилия
Выходит замуж за солдата.
Дрожит в руке пустая чашечка.
Налейте мне ещё, братишечки!..
Он скажет: «Ах, ты, моя пташечка!
Сними – будь умницей – штанишечки...»

5

Степной закат полуокружим
Ворота храма охраняет.
Свобода, будь моим оружием!
Воздушный парусник роняет
Гремящий якорь бело-розовой.

И, поднимаясь, как по лестнице
В закрытый храм – немой и бронзовый –
Я колочу стеклянным месяцем.

6

Какое ночью одиночество!
Хоть собачонка прибежала б...
Но без отечества и отчества
Нельзя унизиться до жалоб.
Когда тоска звенигородская
Глаза родителя завесила,
Жизнь, как шутиха идиотская,
Вращалась бешено и весело...

7

И в полутемном коридоре
Меня избили, как хотели
А я ведь с ними не был в ссоре!
Избили... Синяки на теле.
И больно – за душу хватает!
Хриплю, как бешеная сука...
А, ладно! – доктор залатает.
Хоть полечусь. Такая скука!..

8

Такая скука – не запрячешься
Нигде! Разыщет и повиснет
На шее: «Прячешься – дурачишься,
У самого же – чуть не брызнет...
Чем я плоха? У, мой хорошенький!..»
Я спелся с этой вурдалачкою.
Лили, не стойте на дороженьке!
Не то ещё – pardon – запачкаю...

9

Придумать иго для татарина!..
Холодной ночью азиатской –
На теле клейкая испарина
От женской логики дурацкой.
И в ус не дул! Смеялся: это-то
Ещё чертям не удавалось!..
Ей удалось. Обычным методом.
Она спокойно улыбалась.

10

Не трубным гласом, не визгливою
Истерикой, от злости пьяной:
Улыбкой лёгкой и счастливою,
Высоким голосом поляны,

Когда березовая рошица
Вокруг неё – как заколдована! –
Стоит, качаясь, полуночица,
Качается стоит взволнованно.

11
Какая, Лилечка, нелепица!
Какая всё-таки оплошность:
Когда душа едва лишь теплится,
Ей ни к чему совсем дотошность.
На что смотреть? И что разглядывать?
К чему прислушиваться?.. Хочется
Хотя бы раз тебя обрадовать!
На этом, впрочем, всё закончится.

12
Тобой, Тобол, никто не хвалится.
Течёшь – стоишь себе с собою,
Сухое дерево ли свалится,
Дыханье ль оборвется болью.
Где целомудренная школьница
Снимала платье интернатское –
Глядит растерянная вольница
В пустое поле азиатское.

1963. 1968

Палатки спишут на портянки.
Зальют костры. Зола остынет.
И перекаются жестянки
Через листок о блудном сыне.
И мы отправимся в последний
Торжественный маршрут... Однако
Я, как забытая собака,
Уже кружу... кружу по следу.
Зола. Ворона на вороне
Трава. Седящее утро...

Собака замкнута в районе
Пересечения маршрутов.

1963. 1968

Из главы «Сентябрь»

Я вырываюсь из кольца
Родного города, родного
И нелюбимого лица.
Прощай, плешивый Игова!

1965

Вот этот город. Домики и Днестр.
И сад, который высох и обрюзг.
И тишина, вошедшая в реестр
Зелёных служб, подвластных сентябрю.

Сгнивающие листья, силос, жмых
И сморщенные сливы – закрома!
Соседский пёс от судорог земных
Под утро пожелтел и захромал.

И, положив на лапы вялый нос,
Лёг, притворился ... А рядом, за углом,
Всё также пахло свадебным столом
И – сытно! – поцелуями взасос.

1965

Пригород

Обрывки газет, нечистоты, глина.
Тяжёлый железнодорожный мост –
Очки близорукого исполина,
Надетые на неопрятный нос.

Тряпье на верёвке, сарай. После:
Облезлая гнутая дрезга –
Застывшие ночью в бесстыдный позу
Сырые и дряблые тела.

Обрыв. Желтоватой полоской глина.
И бледная радуга до небес –
Струя задремавшего исполина,
С утра распутившего липкий Днестр.

1965

Преодолея боль и злость,
Усталость и боязнь,
Я прихожу – незванный гость! –
К любимой, как на казнь.

Как дождь в начале января,
Как лошадь в поводу,
Как корабли на якоря, –
Так я к тебе иду!

1963

Смотри: любимых рук овал.
Подумай: стоит ли стараться –
Еврея и старообрядца
С утра хватать за рукава?

Не лучше ли до ноября
Уснуть и выдумать другого?
Подумай. Может быть, тебя
Простит плешивый Иегова!

В глубоком сне не ревновать –
Бродить по лужам, обведенным
Цветной листвой, быть обойденным!
И, просыпаясь, письма рвать...

Услышав голос позади,
Забыть осеннюю свободу –
Застыть! И августу в угоду
Спиною крикнуть: «Позови!»

И погрузиться в зал, как в омут...
И две руки над головой
Сомкнуть. И выжить!.. Но живому
Не верить – зарости травой!

1964, 1965

Освободившийся от груза
Любви (точнее: от себя!),

Я стал постыдною обузой
Двусмысленного сентября.

Ворвалась морем, удостоясь
Быть узнанной, в пустой отсек
Одна- единственная (то есть
Неотделимая от всех!)

И устоялась на потребу
Утопленнику: затащить
Шнурок на совести... Так небу
В лицо не смеют заглянуть.

Так бродят, мучась и тупея,
Попарно, рядом, до восьми...
Над головой – Кассиопея.
Всё это небо... «Чёрт возьми!..»

И, обмирая, слепо тронут
Рукой: шершавость сентября.
Так погружаются в себя.
И задыхаются. И тонут.

1964, 1965

И вдруг прозрел и понял: не милы
Давно... Уйду и думать перестану!
Здесь призрачно, светло и первозданно
Сверкают паутинные миры.

Тончайшие серебряные нити
Траву, деревья, небо серебра,
Навязчивая щедрость сентября –
В припадке лихорадочных наитий.

Под крыльями осенней пустоты –
Неистовство деревьев подожженных:
Чурающихся, гордых, прокаженных,
Замученных в застенках красоты.

Отмучились! – выламывай, руби!
В пленницу при доме, для курьеза!..
Постылые параграфы любви,
Окрашенные в цвет туберкулёза.

1964

Зверинец

А. Б.

Мир опустел. Доверившись листу,
Я опускаю письма в пустоту

И открываю новые листы.
Молчит земля, и небеса пусты.

Так, убеждаясь в тщетности осад,
Я посещаю старый Зоосад,

Где поражаюсь каждому хвосту:
Угрюмый Лев и Серенький Хвостун,

Коварный Тигр и Хитрая Лиса –
Всё те же клетки, морды, голоса!

Звериный замыкающийся круг,
Где даже Волк для человека – друг.

Замшелое спокойствие оград.
И Зоосад – как будто детский сад,

Где каждый посетитель – мальчуган,
С улыбкой одобряющий обман:

Искусственные реки и леса,
В которых постоянны адреса.

Густая шерсть свалялась на боках.
И звери в клетках – звери в дураках.

1965

Я уезжаю, чтобы возвратиться
И, задыхаясь в яростной тоске,
Я голосист, как комнатная птица,
И одержим, как рыба на песке.

Меня встречают только по ошибке,
Не преминув проститься и простить,
Махнуть рукой, запрятаться в улыбке
И простоту до просьбы упростить.

Я уезжаю, чтобы возвратиться,
И начинаю новую главу.
Мне даже в полночь милая не снится
И даже в полдень снится наяву!

Вернитесь в дом. Задумайтесь о быте.
Целую жен... Всех вас – издалека –
Молю: меж бед, обедов и событий
Хоть иногда валяйте дурака!

Хоть иногда! не бойтесь ошибиться, –
Стихи не могут лгать. Ну?.. Кто-нибудь!..
Я уезжаю, чтобы возвратиться.
И возвращаюсь, чтоб собраться в путь.

1965

Легенда

Безлистно, безлюдно, голо.
Сентябрь отсырел, потух.
Неправдоподобный голос,
Захватывающий дух,

Тянущийся горько, трудно,
Надорван, простужен, плох.
Но в городе знали: чудо
Свершилось – явился бог!

Тянулся озимый колос –
Зеленое копьцо.
И не было бога. Голос
Возник. А за ним: лицо,

Мозг, руки, хребет – все тело
Обычное, во плоти,
Что так же как все хотело
Поползать, потом пойти,

Потом побежать... под камни,
Как будто под облака,
Забиться!.. Маши платками,
О город, кричи «пока!» ...

Он здесь. Он из кухни вышел.
Он ниже вороньих гнезд.
Но в городе знали: выше
Деревьев, домов и звёзд,

Как бог, как озимый колос
Под острым косым дождем, –
Неправдоподобный голос,
Тянущийся в каждый дом!

Тряслись кирпичи под крышей.
И город был начеку...
Он тихо из кухни вышел.
Платком повязал щеку.

1964, 1965

Ночь. Темнота. Уснула мать.
Тоска – как на аэродроме.
Я начинаю понимать,
Что происходит в этом доме.

Площадка. Лестница. Пролёт.
Паук с раскрытым парашютом.
И завершающийся утром
Катастрофический полет.

Никто не вспомнит, не поймёт.
Начнут уборку для чего-то...
Многоэтажный самолет
Прошит огнем из пулемета.

Жить! улыбаться, обнимать!..
Благотворить в квартирном мифе!..
Я начинаю понимать,
Что происходит в этом мире.

Сентябрь. Распавшейся уют.
Во тьме – иллюзия полета...
Дымится тонкий парашют
На дне горящего пролёта.

1965

Останусь в дураках. Уединюсь.
На некрасивой женщине женюсь.
Созвездиями угрей украшу лоб.
Обставлю дом. Пополню гардероб.
И буду жить. Добреть. Благотворить.

Приобрету добротные грешки.
И буду всем знакомым говорить:
«Когда-то я пописывал стишки!..»

1966

Кто-то со мною был.
Был, говорил, любил.
Может быть, я забыл?
Утром будильник бил.

Кто-то вставал, ходил,
Кофе варил для двух.
И не ходил – парил,
Как бестелесный дух.

Я не забыл! Пусть так.
Это такой пустяк.
Это – на всех постах
Вязкой тоски, простак.

Это согласие тел
И бесноватость рук –
Почасовой предел
Необходимых мук.

1965

Куплеты Пьеро

Ура! Простор для кукольной игры!
Раскрашены поблекшие пороки,
И сто чертей на кончике иглы
По-прежнему чертовски одиноки.

Пусть чудеса – за каменной стеной!
Но мне сказал приятель Буратино:
«Всё происходит в плоскости одной –
По действию – из старого сатина!»

Художник нарисует облака.
И шагом марш под тряпкой небосвода.
Кривляться, петь и дёргаться, пока
Не онемеют пальцы кукловода!

Пусть чудеса – за каменной стеной!
Но мне сказал приятель Буратино:

«Всё происходит в плоскости одной –
По действию – из старого сатина!»

Широкая холодная река
В барашках от невидимого ветра.
Любимая, дорога далека
На полотне длиной в четыре метра!

Пусть чудеса – за каменной стеной!
Но мне сказал приятель Буратино:
«Всё происходит в плоскости одной –
По действию – из старого сатина!»

Меня сечет сентябрьская гроза,
Ломает череп молнии корона.
Мне кажется, что нарисован зал
И вырезаны кресла из картона!

Пусть чудеса – за каменной стеной.
Но мне сказал приятель Буратино:
«Всё происходит в плоскости одной –
По действию – из старого сатина!»

Как ни пугает зал злодейский бас,
Как в темноте ни плачет мальчик робкий, –
Лысеющий директор Карабас
Всех убирает в серые коробки!

Пусть чудеса – за каменной стеной!
Но мне сказал приятель Буратино:
«Всё происходит в плоскости одной –
По действию Пьеро верна Мальвина!»

Всё происходит в плоскости одной
Из тряпки, из бревна, из пластилина!

1966

Проплыли за холмы последние телеги.
Столпившись у костра средь опустевших лоз,
Вполголоса поют филологи-коллеги
И, тая в темноте, целуются врасос.
О шепот, шепоток, горячий шепоточек
За треском хворостин и пеньем у костра!
Не шей, моя любовь, на память мне платочек:
На памяти моей – полночный блеск Днестра.
Не трону твоих рук и губ твоих порочных,

Замкну усталый слух и глаз не разомкну:
Всё в памяти моей – блеск глаз твоих полночных
И трепет на губах, отдавшихся всему!

1966

Собаки

О мой каменный клоун, гарцующий цирк
с барабанами на ушах!
Ты не знаешь, как это рискованно: чирк-
нешь спичкой – займется душа!

Осторожней! Не здесь, не сегодня... потом!
Где-нибудь на задворках ... там!..
Но прожектора розовое пятно
расползается по рядам.

Дрессировщица – дама бубновая! – в пол-
оборота и вскользь: «Дурак!..
(На арене собаки играют в футбол!)
Выпускай!.. Ах, ещё собак!..»

И летают воздушные шарик: хлоп! –
и клочки – на седых усах.
А оркестр наверху – на иголках синкоп!
А собаки – в цветных трусах!

И дрожат языки у собак на зубах,
и по-дра-ги-ва-ют усы...
И какая-то шавка с усталых собак
ловко стягивает трусы!

Ах, какая потеха: и топот, и свист,
и прожектор, и пыль, и смрад!..
И бубновая дама бросает свой хлыст,
не оглядываясь, – назад!

1966

Стихи о Новом годе

Галактика – округлая ладонь –
Протянута ко мне в прощальном жесте.
Простой эффект: замедленный огонь
Ползёт по спектру цветом ржавый жести.

Померкли все цвета. Здесь провожаешь ты.
Подчинены закону отражения

Лишь травный цвет вокзальной суеты
И красный цвет немого удаленья.

Столкнулись стрелки. Полночь. «С Новым годом!»
И нервничает очередь у касс.
Как-будто чей-то шуточный указ
Заполнил залы будничным народом.

Но подожди! – ведь это только маски:
Забавный новогодний карнавал.
И под защитой скользких покрывал
Сейчас внесут запятанные краски.

Но пассажиры, сонно и лениво
Отстаивая очередь в буфет,
Убийственно безвкусно cedят пиво
И шелестят кулечками конфет.

О праздник мой! Снегурочка бедна.
Нет денег на такси. Обидно... В луже...
А ты твердишь: «Ну что ж, пусть будет хуже!»
Пусть будет ложь. Ведь я одна ...» Одна.

И всё сначала! Заново! Актёру
Задание: вникнуть в смысл истертых слов.
И он стоит у праздничных столов,
Не уступая славе и позору.

Пусть отвергает или перевозносит
Далёкий зал, но вытвержен урок:
«Я беззащитен, слаб и одинок!» –
Актёр правдоподобно произносит.

А дождь идёт. Косноязычный бред
Тебя толкнёт в замызганный троллейбус,
И нам не разгадать проклятый ребус
Ущербности декабрьских побед.

Слепой состав. Толкучка, брань и бронь ...
И полка на одиннадцатом месте.
Галактика – округлая ладонь –
Протянута ко мне в прощальном жесте.

1965

Из главы «Морские развлечения»

Гулливер

В семнадцать лет я был высок как бог.
Внизу пестрели тополи и вышки,

Дома, круглоголовые детишки,
Речонки и озёра с ноготок.

Я разглядеть подробностей не мог
И не хотел: «Ну, что там? Ну, детишки...»,
И, уложив нехитрые вещички
Перешагнул качнувшийся порог.

Потом я возвратился. Чёрт возьми! –
Я был затерт высокими людьми.

В глухих степях я стал намного тише
И сдержанней. Я выдержал, пока
Двухсотсантиметровые детишки
Кололи мне булавками бока.

1964

Вознаграждение

Я прошагал двенадцать километров.
И, налетев на запертую дверь,
Я возвратил двенадцать километров,
Задетый смехотворностью потерь.

Но не посмел смеяться. Только ветру
Сказал предусмотрительно: «Проверь!
Я возвратил двенадцать километров
Чужого зла. И должен быть теперь

Вознагражден.» И возмутился ветер!..
Но в тучах пыли солнце я приметил
И повторил ему: «Чужое зло

Я возвратил. Но был обманут ветром!..
И солнце на двенадцать километров
Вокруг меня растительность сожгло.

1964

Морские развлечения

Синица! – море подожжет –
Лишь покраснеют уши.
«А тот, другой, пусть подождёт,
Пока мы кончим ужин...»

Солёный, мокрый – подойдёт,
Протянет руки ... Хуже
Не выдумать. «Пусть подождет!..»
И вот в июле вьюжит.

Заносит пеплом города.
Сгорает хлеб. Гниёт вода.
И вместо моря – лужи.

И рыба в сети не идёт.
Но... *тот, другой, пусть подождёт,*
*Пока мы кончим ужин!*¹

1965

Галя

Ах, как легко качаются качели,
Когда в деревьях кружит мягкий снег!
Желтее слёзы, яблоко кислей,
И в синей будке дует во все щели.

Ах, как легко качаются качели,
Поскрипывая кольцами, на снег
Отбрасывая тени, как во сне!
И тлеет шарф на вытянутой шее.

И горло жжёт!.. И, может быть, у всех
Так липнет хлеб. Но всё-таки успех!
Приникнуть и краснеть, глаза в щели...

А в парке – мягким белым комом снег.
И лёгкий скрип. И глупый – глупый смех...
Ах, как легко качаются качели!

1966

Молитва

И ветер кос на выступе косы,
И дождь косой костит меня жестоко!..
Отягощенный сыростью росы
Зелёный плод на дереве высоком –

¹Фраза «тот, другой, пусть подождёт, / Пока мы кончим ужин!» – из стихотворения Александра Вертинского «Прощальный ужин» (Прим. публикатора).

Я знойным полднем лягу на весы
Прохладной каплей солнечного сока.
О, пощади, последний день весны:
Не дай сгореть, не дай упасть до срока!

На потрясенной бурями земле –
В огне или в воде, или во мгле –
Дай избежать глухого загнивания,

Перенести участие и страх
И, забывая горечь созревания,
Растаять на обугленных губах!

1965

Колыбельная

Зелёный свет над переходом.
Срезая площадь под углом,
Квартал проплыл электроходом,
Сверкнув троллейбусном стеклом.

И сотворенная заходом,
Ещё не ставшая стихом –
Ночь с перержавленным заводом
Уже в предместьи глухом

Прошла, испачкавшись в золе,
И воцарилась на земле
Убийств, предательств и агоний...

Минуя парковую рябь,
Ночь, как игрушечный корабль,
Уткнулась в детские ладони.

1965

Из главы «Чёртова дюжина»

1

Перед тем как выбрать молоток,
Чтобы вбить в перегородку гвоздь,
Он с улыбкой делает глоток
И рисует на фанере гроздь.

Говорит: «Теперь – наверняка!»
И свистит, разглядывая щель.

Он всегда боялся сквозняка,
А сегодня на дворе – апрель!

Коли ты не понял ни черта,
Значит ты не открываешь карт,
Как другой не раскрывает рта,
Замечая, что проходит март.

1962

2

С.

В этот мартовский денёк
Твоего, мой друг, рождения
В белом с головы до ног
Ходят в доме привиденья.

Но исчадья сатаны
Столь отратно нереальны,
Что ни капли не страшны,
Только чуточку печальны.

Вот, рассевшись не спеша,
Начинают шуры-муры...
То февраль не додышал
На стекло свои фигуры.

То – бессмертный сувенир
Твоего ко дню рождения:
Озорной морозный мир,
Не нашедший воплощенья.

1969

3

Удивляешься ты: «Зачем
Поднимать эту тьму проблем?
Не показывай всем язык.
Подобаает ли это мужу?
Отвлекись от себя на миг.
Опиши петушиный крик,
Отразившийся куст и лужу».

Белый лист да пребудет пуст!
Мы свечу на столе задует.
И забудем тщету искусств.
Отразившийся в луже куст
Совершенно неопишем.

6

Промчавшись радостной торпедой,
Нас переехала машина.
И мы рассеяно уснули
На голубом шоссе.

Рассвет.

И если соберётся
Какая-то толпа,
Твоя душа забьется
Под черепной колпак.

Моя же станет озиаться,
Проя глаза на тротуаре
Дать ощущение объема
Через бинокляр.

Она

Не сможет разобраться
Без бегających глаз:
Куда бы ей убраться
На этот раз?

9

Пиликая на скрипочке уроки,
Кокетливым и всё-таки глубоким,
Качающимся взглядом за окно
Поглядывает изредка украдкой,
Где мальчик растопыренной рогаткой
На солнышке стоит давным-давно.

Я говорю теперь скороговоркой:
Всё пронесло карболкой и касторкой
Ко всем чертям, и некого винить.
Но скрипочка попискивает тихо,
И память, как усталая портниха,
Упрямо хочет нанизать на нить

Ещё одну – последнюю – иголку!
Не унимаясь, битый час без толку
Осатанело тычет в пустоту...
Но в беспросветных дебрях аллегорий
Не видно ничего на её горе.
Она же, уподобившись кроту,

Малейшей луч за километр обходит.
Ее косноязычье не проходит.
По-прежнему убог ее словарь.

Но скрипочка пиликает коряво.
И пусть так петь сумела бы корова –
Я этих штудий бог и государь!

10

Твоя поэзия абстрактна.
Из разговора

Уселся, ноги свесил
С окошка на карниз.
Прожарен весь и весел –
Поглядываю вниз.

Внизу труба и травка,
И на траве дрова,
И утка, и канавка,
И чья-то голова.

Коробило, качало,
Пронизывало, жгло.
Лиха беда – начало!
Потом – куда ни шло.

Потом: пути, дороги,
Снега, болота, мхи.
И разные – в итоге –
Абстрактные стихи.

Сижу себе, качаюсь.
От них не отрекаюсь.
Ни ты, ни многотомник,
Ни страшный эрудит,

Ни радиоприёмник
Меня не убедит.

Видны у дурачины
Глядящего в трубу,
Абстрактные морщины
На загорелом лбу.

12

Как отказаться от словоблудства? –
Словарь, словно роза, язык щекочет:
Ти-и-хо качаясь, чего-то хочет
От одиночества многолюдства,
От одиночества одиночки,
От одиночества хорового.
И ночью хочет луча дневного,
А днём? А днём – почернее ночи!

Ах, окунуться бы в черный омут
Радиоречи, газетных строчек,
И в шорох чёрных ночных сорочек
Шуршащих пластинок ... И по-другому,
Такому тонкому голосочку
Затосковать в нищете немотства!
Словно и не замечая сходства
Спровадить бы в лес, как чужую дочку!

13

Вот это – словарь иностранных слов,
А это – другой словарь.
Листай до рассвета. Но весь улов
До вечера разбазарь.

И вечером вымучь какой-то крик
Нечленораздельный, как
Будто болтают немой старик,
Утопленник и дурак.

Как-будто ликует морской прибой
И мается материк!..
И в мерзлую глину возьмёшь с собой
Нечленораздельный крик.

Останься. Но не говори со мной.
Беседы пора забыть.
О речи бесхитростной и прямой
И речи не может быть.

Из главы «Зоя»

Четыре письма на юг

1

Мы неуверенно простились,
Не понимая ничего.
И ветер дул, и флаги бились,
И было страшно от того,
Что вдоль всего аэродрома
Стояли люди как столбы,
А ты была едва знакома
И только взята из толпы
Последним взглядом и молчаньем,
Молением губ из-за стекла,
Дрожаньем, блеском и качаньем
Меня поднявшего крыла.

2

Пустая улица. Широкий
И приглушенный гул машин.
В ушах – холодный и далёкий
Треск разрушающихся льдин...
Опять, мечась из суток в сутки,
Тоску ночную расколов
В дисгармоничном промежутке
Смещения временных основ.
На Невском бодрые куранты
Пробили, словно про себя
Пересчитали варианты
Земного счастья без тебя.

3

Любовь грозна и непонятна
В своём провидчестве слепом.
Золы горячечные пятна
С утра зализаны дождём.
В сыром лесу рассеян серый
Холодный свет. И чёрный куст,
И тусклый блеск воды, и целый
Непрочный мир – опасно пуст.
Как привидения, предметы
Стенают голосом глухим –
Не скреплены и не согреты
Прикосновением твоим.

4

Всё преисполнено высокой
И постоянной доброты:
Пруды со светлой осокой
И полусгнившие плоты,
И грусть визгливого напева,
И деревянный чёрный клуб
На косогоре, и – налево –
Дымки из невысоких труб,
И деревянные подобы
Невозмутимых райских птиц.
И запоздалый блеск зарниц,
И эти финские надгробья.

1967, 1968

Я проснулся. Сидит на карнизе ворона.
Третий час. Я искушен клопами и слаб.
Гай Светоний Транквилл о позоре Нерона

Повествует. Ему бы, советнику ab
epistulis рыться в архивах лениво
И писать о блудницах. Но он не женат.
Я спускаюсь в столовую, скверное пиво
пью, поморщившись, и ковыряю салат.

Кто обрадует слабое сердце, Светоний?
Нужен отдых глазам и покой голове.
Черепки на пирах! И вот также – с ладони –
Через тысячу лет будет пить человек.
О холодный родник! Невозможно быть хитрым
Адвокатом и храбрым солдатом... Плебей
И патриций мечтают описывать игры
Древнегреческих и петербургских детей.

Приводить на площадку песочную сына:
«Жил один император и звался Нерон...»
Чем прельстила тебя сумасбродка Сабина?
Избегай, избегай императорских жён.
честь и почесть, историк, несоизмеримы.
Вижу между покрывшихся пылью наград
Небольшую усадьбу у самого Рима,
Семь кустов винограда и маленький сад.

1968

Ребёнок посмотрел внимательно и ясно,
Как будто бы хотел запомнить навсегда
Высокое крыльцо и дверь. А там, за дверью, –
Как чёрный пищевод, утробный коридор,
В котором я варюсь и прею три недели
Подряд, до тошноты скользя вперёд-назад
Среди прокисших каш, кастрюль и тараканов...
Разросся и разбух убогий мой словарь,
И ухо расцвело кудряво красным цветом!
Но я... я промолчу, мой милый... Уходи!
Я буду ждать тебя. Когда же ты вернешься –
Не будет столь же строг и чист свет глаз твоих.

1968

Из главы «Утопия»

Утопия I

1

Я приоткрыл глаза и создал стол,
Кленку на столе и край стакана.

И горло вдруг перехватило: «Анна!..»
Но скрипнула кровать, и страх прошёл.
Осталась темнота. Здесь нет обмана.

И пусть стихи, как жесткая мембрана,
С трудом доносят суть. Об остальном,
Должно быть, позаботится фантом
Склонённого лица, квадрат экрана
За форточкою в воздухе больном.

Там, как под уменьшительным стеклом
За звёздами стоящий небожитель: –
Орангутанг, накинувший на китель
Туманную накидку – об одном
И том же говорит (хорош учитель!).

Он говорит: «Прошу, берите, bitte,
Всё то, что под рукой: взгляд ... голосок ...
Полакомее выбрать бы кусок!
Что говорить, все способы избиты:
Раздавливая плод, имеем сок.

Я понимаю, что высокий слог
Заводит вас в какую-то трясину...
Не прибегайте, милый, к керосину:
Меня тревожат искры между строк.
На жертвенниках не палят резину!»

2

Реальный мир не удержи́мо тает.
«Протри глаза! Ну что?» – «Уже светает...»
– «А на часах – двенадцать! До утра
Ещё не так издёргаешься, братец:
Ночная гостья сбросит свой халатец,
Завертится юлой и – бац! – растает
Ко всем чертям. Останется дыра...»

– «О чем ты говоришь? Ее здесь нету!»
– «Конечно, нет. Поэтому поэту –
Каким тебя считаю не шутя! –
Необходима некая замена:
Пустышка, чушь! – та самая Елена,
За коей все таскаются по свету.
Эрзац. Моё любимое дитя».

– «Куда уж всем...» – «Ну вот, опять обиды!
Как блохи, расплодился индивиды.
Не хватит рук на каждого... Была б
Охота вам допытываться, все ли
Хотели бы иметь в своей постели

Не облако, а яблоко Киприды:
Обыкновенных, как Елена, баб!..»

Густые облака низки, как будто
Хотят создать подобие уюта
И сохранить хоть капельку тепла.
Реальный мир ворочается смутно.
И я живу. Я жив ежеминутно.
У самого себя ищу приюта
И на себя глазею со стекла.

1970

Утопия III

1
Девятое число. Рассвет.
Ты календарь листаешь, как Завет,
И ничего не делаешь с утра.
В рубаше расползается дыра.
На память отречение Петра
Приходит. Не готов держать ответ!

Количество твоих словес
Смущает ли тебя, как Фауста Бес,
Сегодняшняя немота
Пугает ли, как некая черта
Под описью, в которой ни черта
Не разберёт нотариус небес, –

Ты будешь виноват вдвойне.
Молчание подобно болтовне.
И в борозде застрявшая игла
Разламывает пласт, где залегла
Отчаянья бессмысленная мгла,
И тихо не внутри тебя, а – вне!

Листая толстый календарь,
Ты попадёшь во время, как в янтарь,
И наконец наступит тишина.
И ты забудешь, где твоя спина ...
Но мысль прозрачной бабочкой со дна
Сознания вспорхнет – и ты дикарь,

Ребёнок, у которых крик
Так заставлял вибрировать язык,
Чтобы – не петь, куда там! – только б жить:
Тебя молчанье может задушить,
Как крылья в пальцах, смять и раскрошить.

Но ты уже и к этому привык.

Привычка свыше нам дана.
Незаменима лишь она одна,
Когда подступит к горлу тошнота
И видишь ты не далее крота,
То Первотемнота
Тогда как божий день тебе видна.

Праматери большой живот
Ты видишь по привычке, идиот,
На ощупь, не охватывая смысла
Того, что ею созданные числа
Доступны и тебе, как коромысла
Аптекарских весов и запись нот.

...Всё это, милый, так смешно,
Что убиваться попросту грешно:
Комочек мнит себя огромным,
Школяр к трудам привержен многоотным,
И мир себе не кажется бездомным;
Существовать в пространстве решено.

Никто не спрашивал тебя.
Но ты дождись начала сентября,
За парту сядь, открой словарь Вселенной
И, уши оснастив антенной,
Не спрашивай, кто прячется за сценой:
Там нет твоих знакомых и ребят.

И нет там ничего
Способного напомнить божество
В периоды прилива и отлива,
Когда Дамоклов меч – сухая слива –
Держался на соплях и так паршиво –
Гнилою глиной! – пахло от него.

Девятое число. Закат.
Наверняка ты сам уже не рад
Косноязычной тусклой болтовне,
Которая как бред клубиться вне
Сознания... Когда ты весь в говне,
Тогда тебе и чёрт – увы! – не брат.

1971

2
Весёлость ли твоя тому виной?
Два года я, как – будто за спиною
Своей, себя не вижу, наступая

На пятки самому себе; беда ли
Меня лица лишила, как медали? –
Два года я, как – будто на педали,
На пятки нажимаю. Но слепая

Старуха надо мной скрывает знаки.
Созвездия протухли, как собаки
В канаве: не горят – сочатся лимфой!
Гордясь своей солдатской закваской,
Мужчины и в постель ложатся с маской.
Но я не избалован женской лаской
И с вечера тряусь над женской рифмой.

...Красавица Кассандра на экране
Напомнит ли тебе о старый ране,
Полученной во сне киногороем
Бегущим распадающейся тенью
Навстречу неозвученному пенью
Сирен, по своему обыкновенью
Летающих рассыпающимся роем?

Не надо отвечать! Я не поверю.
Ты ухом не заполнила потерю
Звучания, зрачком – потерю света.
Дымясь и раскаляясь, как инкубы,
В двухъярусном раю играют трубы.
И матери моей сухие губы
Утолены и не хотят ответа.

Отсутствующей странная реальность
Подскажет ли тебе феноменальность
Теней, передвигающихся строем?
Не надо отвечать. Того не стою.
Два года я, как – будто за спиною
Своей, топчусь и тычусь заводною
Игрушкой и твоим, хозяйка, боем.

Не в тягость мне твоя улыбка, но и
Не радует меня!.. А остальное
Не стоит и гроша, когда кругами
Плывут передо мной родные крылья.
Последние круги, шаги, усилия –
И самого себя сдаю в утиль я.
На этот раз взаправду. С потрохами.

Впечатавшись лицом в сырую глину,
Я приостановлю кинокартину
И выкраду у дикой кавалькады
Посмертные награды и медали,
Которыми меня не награждали!

Теперь же только тень на пьедестале.
В её тени – теней моих парады.

1971

Из цикла «Октябрь. Ноябрь»

Меланхолия

Сатурн и осень
виноваты в том,
что я сижу вот так – непринуждённо
и кроме крошева осыпавшихся листьев
не замечаю больше ничего.

1969

Из главы «Больная легенда»

Гном

На красной перекладине
висит зелёный гном
и как не повернется
всегда ко мне лицом

Я целый день разглядывал
его со всех сторон
у гнома нет затылка
и пяток он лишён

Зелёный гномик бедненький
никак в течение дня
не может отвернуться
от вас и от меня

Поэтому вращается
он целый день деньской
и мается бедняжка
зелёною тоской

1970

Какие-то голоса
качаются за спиной

как маленькая оса
высасывая спинной
изогнутый мозг Агу
ворочается язык
а больше я не могу
и перехожу на крик
Смотрите я сам не свой
спасайтесь чёрт поberi
Но голос как часовой
советует Не ори
Сидишь говорит сиди
молчишь говорит молчи
не то говорит гляди
найдем для тебя ключи
Закройте кричу на ключ
меня без ушей и глаз
Сиди-ка ты не канючь
успеется много вас

Висит на гвозде пальто
Я взгляд на нем задержу
Не заперта дверь Никто
не держит меня Сижу

1971

Я мог бы пережить и этот год,
Когда б не постоянный снегопад.
Загадывая на зиму вперёд,
Ты тоже говорила наугад.

И это метафизика любви,
Запутанная, как автомобиль,
С пелёнок у тебя была в крови.
Меня же от неё теперь уволь.

Я мог бы пережить и эту боль,
Когда б не постоянный снегопад.
Холодная серебряная пыль
Оттягивала голову назад.

1972

Урок голографии

И всё-таки мы встретиться должны
Когда-нибудь у призрака Луны.

Соединив ладони над огнём
(Таким же призрачным), мы поклонёмся,
Что никогда не возвратимся в дом
И даже в призрак дома – не вернёмся.

И, отделяя пламя от свечи,
Мы через миг со страхом убедимся,
Что только руки также горячи,
И в дом – и в призрак дома! –
возвратимся.

Два стихотворения

1
Что «здравствуй», что «прощай» произнести,
Что выпросить портрет или полтину –
Не выдумаешь, как себя снести:
Рубаху расстегни и ляг на спину.

И паруса таинственного тень –
Хранительница розовых улыбок-
Подарит упоительную лень,
Стремительную лень летучих рыбок!

Не двигайся – лети, едва-едва
Связав дугой единственной капризной
Разреженную тяжесть мастерства
С опасной, но играющей отчизной!..

Необходимо только так лететь –
Не задохнуться бы, не ошибиться:
Задолго до того, как умереть,
В родную глубину чтоб возвратиться!

1972

2
Но прежде, чем летать – научись терпеть.
Научись сидеть на стуле неподвижно.
Задолго до того как научиться петь,
Научись писать – натянuto и книжно.

Твой первый поцелуй пресыщенность открыл.
Любимые глаза тускнеют, как у тупа.
Задолго до зари, до прорастания крыл
Научись терпеть и улыбаться тупо.

Задолго до того как становиться в строй,
Научишься в толпе бродить так одиноко,
Как – будто ты один – любовник и герой –
На гибель обречён безвинно и до срока.

И прежде чем часы пробьют в последний раз,
До пенья, до любви, до судорог, – граница
Начала и конца предстанет без прикрас.
Ты до смерти скучать успеешь научиться.

1973

Как умирающий хватает воздух ртом,
Прозрачно-круглый уходящий воздух,
Так я ещё живу твоим добром,
Подобным застывающему воску.

И в этой незаконченности форм,
Где ты так неприступно беззащитна
Как птица, нахожу я лёгкий корм,
И мне уютно, и тепло, и сытно.

Я царствую мгновение твоё,
Покамест не закончились ступени,
Пока ты не сошла в небытие
И не застыла контурами тени!..

Ты знаешь, почему я не ловлю
Твой взгляд, когда ты пробегаешь мимо:
Ведь если я тебя остановлю,
Ты перестанешь быть моей любимой.

1973

Сирень

Сокровища белых ночей
И северной чахлой сирени
Валились на сгибы локтей
Да так, что стучали колени,

А сад расплывался и плыл!
И даму по обыкновению
Пугал нерастраченный пыл
Подстать воробыному пенью,

Подстать огородным крестам,
Стекающим медленным светом
По куполу и по кустам
Сиреневым перед рассветом.

Собор, как свеча, оплывал.
И простенькой фразы оттенков
Загадочный смысл обретал,
Зловещий – до дрожи коленок.

И спутница видеть могла
Окрасивший щеки и руки
Багровый оттенок тепла,
Причудливый вензель разлуки,

Гербарий сиреневых звёзд,
Которым не мог не гордиться
Идущий назад через мост
Скупой, но классический, рыцарь.

От тысяч и тысяч скупцов
Он тем отличается в корне,
Что хочет запрятать лицо
В её обезьяньи ладони.

1973

Воспоминание о Бендерах

От злости перехватывает горло,
Слабеют ноги и трясутся руки.
А город просыпается не скоро,
Посапывая, всасывает звуки.

И девушки, свободные от смены,
Под окнами печальных общежитий,
Покачиваясь, требуют замены,
Как балки потолочных перекрытий.

Как яркие матрешки в телогрейках,
Мешочницы копаются в кювете.
И плачут на невысохших скамейках
Взаимозаменяемые дети.

Высокие телеги для продуктов
Опять звенят бутылками под утро.
И отрывает мне билет кондуктор,
Осыпанная перхотью и пудрой.

Я болен настоящий ностальгией
Я не был в этом городе два года.
Кто в городе теперь? Не я. Другие.
Рождённые днём моего ухода.

Здесь не меня ждала два года Ньюша.
Здесь тень мою преследовали скрытно.
«Кто ты такой? И что тебе здесь нужно?»
Что нужно мне?.. Немного любопытно...

Я руки за спиной сведу и сяду.
Что нужно мне?.. Мне ничего не надо.
Но что здесь моему подвластно взгляду?
Всё, от чего не оторвать мне взгляда!

19 июня 1973 года Вологда

Из главы «Карантин»

Но только не растерянность, о нет!
Зиянье, пустота, хаос, удушье...
Единство создает едиனுшие.
Непререкаем должен быть поэт.

Необходима каждая деталь.
Категорична каждая посылка.
Работа над стихом равно и ссылка
И в бесконечность замкнутая даль.

Так остроумно согнуто кольцо
И согласован звук с его значением,
Что, проникая жестким излучением,
Он озаряет вечности лицо.

1973

Трагедия – не просто лишь беда
Непоправимая: свершилось и забыто,
Но то, что совершается всегда,
Ежеминутно и на редкость скрыто.

Трагично время: было, будет, есть.
Трагичен взгляд и вообще все чувства,

Которыми немислимо учесть
Трагического хохота искусства.

Трагичен человек. И тень его
Трагична. И трагично их различие.
И, может быть, трагичнее всего –
Увериться в трагическом величье.

Великое воздушно, как пирог,
Ничем не стеснено, ни с чем не схоже...
Трагичен человек. Трагичен бог.
Но не велик, о нет, избави боже!

1973

Беда на то ведь и беда –
Не промах, не просчет:
Всегда обычна, как вода,
Которая течёт.

Осилишь, выплывешь, вползешь,
Зароешься в песок...
Очнешься. Что-нибудь найдешь...
И нет тебя. Просох.

1973

Ответ милиционеру

Чему принадлежит моя любовь?..
Признаться стыдно: эху, отголоску.
Вторичному. Литературе. Воску
Словесности, притершемуся «вновь».

Как лепят? Второпях. Восторг торопит.
То время вдруг замедлено, и день,
Не торопясь, заполнит дребедень
Подробностей – и мучает, и топит...

А почему?.. Бесправна и права –
Литература травит кислотой
Сердца, вясь орнаментом, мечтою:
То графика, то звукопись – слова!..

Трещит башка, и ноет позвоночник.
А что бы сделал? Выточил деталь?..
Меня опередил многостаночник.
Зато передо мной – такая даль!..

Зажмуриться б, закрыть лицо от страха!..
Но записная книжка – на столе.
И тайнами кореньями в котле
Грамматика кипит... И зорек знахарь.

2 октября 1973 г.

Что еще мне спеть с тобой, сеньора?
Нет ни слез, ни смеха, ни тоски.
Утреннюю дозой «беломора»
Сердце зажимается в тиски...

Итальянка ты? Или испанка?..
Перуанка?.. Трудно разобрать.
Может быть, ты – инопланетянка?
Как развеселить тебя? Обнять?

Видишь: я ещё топчусь в двадцатом
Веке – Волга...Вологда...Октябрь...
Может быть, мы спели б о крылатом
Паруснике? Есть такой корабль.

На него поднимется не каждый:
Кто рожден пучиной – в экипаж!
Вряд ли ты его встречала дважды.
В радужных наклейках твой багаж.

И тебя уносит самолёты,
Корабли и ветры дальних стран...
Кто ж ты, путешественница, кто ты?
Может быть, росла ты у цыган?

Мы с тобой увидимся не скоро:
Я из этих кущей – ни ногой!..
Что мне спеть? Что спеть с тобой, сеньора?
Что мне спеть вполголоса с тобой?

1973

Восьмёрка пик

Усталости, бессилья и уродства
И толику безумья дай ещё,
Чтобы стереть, чтоб – никакого сходства,
Чтоб казни не сопровождал подсчет
И опознание трупов!..

Даже мертвых
Фотографируют для карт: восьмёрка пик.
Свершая свой уединенный подвиг,
Изогнутый игрок над ней сопит.

Атлеты, полубоги, супермены,
Соединяйтесь! Червяком в кольцо!
Как Афродита родилась из пены,
Заройтесь в пену, спрячьте в ней лицо!
Все части тела – для совокупления,
Всё в дело: палец, ухо, грудь, язык!..
И для наглядности четвёрка – дама пик –
Изображает нам грехопадение.
Адам – Лилит – и Ева – Саваоф:
«Кольцо змеи или Внедрённый опыт» ...
Так искушают, так из бледных снов
Выскабливают похоть, грязь и копоть.

И мертвая еврейка обрела
До газа и до пламени бессмертье.
«Пиковая восьмерка». – «Бью!» – «Легла...»
– «Кудрявая!.. Смотри, как стал бы еть я...»

1974

Еда и сон

Еда и сон, и чтение не впрок
Для канцелярской крысы, кем являюсь:
Не ем – травлюсь и не лежу – валяюсь,
И не читаю – шарю между строк.

Будильник тарахтит как автомат.
Из кружки – чай, из пачки – сигарету.
И на бегу, как общую диету, –
Глоточек Леты, чёртгов препарат!..

14 февраля 1974 год

ПРИЛОЖЕНИЕ

Оглавление полностью воспроизводится по машинописи с указанием страниц.
Курсивом выделены тексты, опубликованные ранее (см. ссылки ниже) и не вошедшие в настоящую публикацию.

Оглавление

I. Буратино

Села дощатый тротуар	5
Как могла ты поселиться	6
<i>Снятся страшные сны...</i>	7
<i>Чёрту</i>	8
<i>Муза</i>	9
Буратино	10
Змея лежала на дороге	13
Степь	14
Палатки спишут на портянки	17
1953 ...	18

II. Сентябрь

Я вырываюсь из кольца...	20
Вот этот город. Домики и Днестр...	21
Пригород...	22
Превозмогая боль и злость...	23
Смотри, любимых рук овал...	24
Освободившийся от груза...	25
И вдруг прозрел. И понял:...	26
Зверинец	27
Я уезжаю, чтобы возвратиться...	28
Легенда	29
Ночь. Темнота. Уснула мать...	30
Останусь в дураках. Уединюсь...	31
<i>Булавки реплик в кожу высаживал...</i>	32
Кто-то со мною был...	33
Куплеты Пьеро	34
Проплыли за холмы последние телеги...	35
Собаки	36
Стихи о Новом годе	37
<i>Вокзал</i>	38

III. Морские развлечения

Гулливер	40
Вознаграждение	41
Морские развлечения	42
Гая	43
Молитва	44
Колыбельная	45

IV. Чёртова дюжина

47–59

- 1 Перед тем как выбрать молоток
- 2 В этот мартовский денёк

- 3 Удивляешься ты
- 4 *Надрывно кашляет цыганка*
- 5 Её ласкал орёл крылом
- 6 Промчавшись радостной торпедой
- 7 Молодая Магдалина
- 8 На табурете, как полено
- 9 Пиликая на скрипочке уроки
- 10 Уселся, ноги свесил
- 11 Опять судьба меня лизнула
- 12 Как отказаться от словоблудства?
- 13 Вот это – словарь иностранных слов

V. Бык

61–65

VI. Зоя

- | | |
|--|----|
| <i>Среди сухих бледнозелёных трав... (Статую Летнего с.)</i> | 67 |
| Четыре письма на юг | 68 |
| <i>Нагромождение вещей</i> | 69 |
| <i>Пространство между глазом и стеклом...</i> | 70 |
| <i>На окраину – мимо...</i> | 71 |
| <i>Земля очистилась от скверны...</i> | 72 |
| <i>Скрежещет лёд и брызжет пена...</i> | 73 |
| Зоя | 74 |
| <i>Красная улица</i> | 75 |
| <i>Из твоего окна видна...</i> | 76 |
| <i>Опять я в комнате на Красной...</i> | 77 |
| <i>Ну что ж, наверное, такую...</i> | 78 |
| Элегия | 79 |
| <i>Кружение снега. Кружева...</i> | 81 |
| <i>Какая яркая трава!..</i> | 82 |
| <i>– Да, я спокоен, ты права!..</i> | 83 |
| <i>Я проснулся. Сидит на карнизе ворона...</i> | 84 |
| <i>Ребёнок посмотрел внимательно и ясно...</i> | 85 |
| <i>Год активного солнца</i> | 86 |
| <i>Старый Крым.</i> | 87 |

VII. Утопия

- | | |
|------------|----|
| Утопия I | 89 |
| Утопия II | 91 |
| Утопия III | 92 |

VIII. Октябрь. Ноябрь

- | | |
|--|-----|
| Меланхолия | 96 |
| <i>Ноябрь (Молдавия меня похоронила)</i> | 97 |
| <i>Стрекоза (Улыбался, плавал, пировал...)</i> | 98 |
| <i>На смерть Н.В.Д</i> | 99 |
| <i>Стрекоза (Смотри, любимая сестра...)</i> | 100 |
| <i>Я расправляю одеяло...</i> | 102 |
| Октябрь | 103 |
| <i>В оставшиеся дни</i> | 104 |
| Колодцы | 105 |

IX. Восточные сказки

I	107
II	109
III	110

X. Больная легенда

Гном (На красной перекладине...)	114
Какие-то голоса...	115
<i>Это похоже на перевод...</i>	116
Я мог бы пережить и этот год...	117
Урок голографии (И всё-таки мы встретиться...)	118
<i>Студенистое тело зимы...</i>	119
Больная легенда	120
Помело или велосипед...	121
Жизнь безнадежно глупая затея...	122
Два стихотворения	123
Как умирающий хватает воздух ртом...	124
<i>Я выпил много красного вина...</i>	125
Цирк	126
Защитная баллада...	128
Сирень	129
Родина	130
Дерево	132
Воспоминание о Бендерах	133

XI. Карантин

Больной ребёнок пробует слова...	135
Волшебный фонарь...	136
Диалог (Не останавливайся здесь...)	137
Строительный пейзаж семидесятых...	139
В свинцовом небе ветер отяжелел...	140
Но только не растерянность, о нет...	
Трагедия – не просто лишь беда...	141
Беда на то ведь и беда...	142
Ответ милиционеру...	143
На высоте подъёмных кранов...	144
Пять восьмистиший	145
То духота, то дождь, то ветер...	146
Что ещё мне спеть с тобой сеньора?..	147
Ленинград	148
Карантин	150
Цветы и фрукты, гетевский каприз...	152
Восьмерка пик	153
Есть	154
Эпилог	155
Еда и сон и чтение не впрок...	157
Окно	158

XII. Барак 160

XIII. Смерть землемера

XIV. Два введения в Игру Стекланных бус

Послесловие

Оглавление

Ссылки на стихи, не вошедшие в настоящую публикацию:

Александр Ожиганов. Трещотка. Избранные стихотворения 1960–70-х гг.. М.: АРГО-РИСК; Тверь: Колонна, 2002.

<https://web.archive.org/web/20160306160406/http://poetry.liter.net/ozhiganov1.html>

Александр Ожиганов. Ящери-речь. Книга поэм. М.: АРГО-РИСК; Тверь: Колонна, 2005. Проект «Воздух», вып.4. <https://www.vavilon.ru/texts/ozhiganov1-1.html>

Александр Ожиганов. Шестикнижие. Издательство Т8, 2021. Серия «Часть речи».

Александр Ожиганов. Треножник. Издательство Пальмира, 2023. Серия «Пальмира – поэзия».

Сборник «Живое зеркало: второй этап Ленинградской поэзии». 1974.

http://samizdat.wiki/Сборник_«Живое_зеркало:_второй_этап_Ленинградской_поэзии»#.D0.90.D0.BB.D0.B5.D

Лепта. 1974. <https://kkk-bluelagoon.ru/tom5b/lepta4.htm>

37. 1976. № 5. (Два введения в Игру стеклянных бус)
https://collections.library.utoronto.ca/view/samizdat:37_5

Часы. 1976. № 3
http://samizdat.wiki/И_«Часы»,_Том_№3

Часы. 1978. № 16
http://samizdat.wiki/Журнал_«Часы»,_Том_№16

Майя. 1990. № 5
http://samizdat.wiki/«Майя»_№5,_1990

Эхо. № 2 (10). – Париж, 1980. С. 26–33
https://imwerden.de/pdf/echo_10_1980__ocr.pdf

Антология новейшей русской поэзии «У Голубой лагуны». Т. 3Б. 1986.
<https://kkk-bluelagoon.ru/tom3b/ojiganov2.htm>

Волга. 1993. № 1. С. 3–15. (Из книги «Стрекоза»)

Волга. 1993. № 6. С. 3–9. (Барак. Поэма (1967))

Волга 1996. № 8-9. С. 3–6. (Третья восточная сказка. Поэма (1973))

Волга 1996. № 11-12. С. 3–14 (Два введения в Игру стеклянных бус. Два венка сонетов. (1970–1973 гг))

Данила ДАВЫДОВ, Сергей КУДРЯВЦЕВ

РАЗГОВОР О КРУЧЕНЫХ

Алексей Алексеевич Крученых (1886–1968) – радикальный футурист, участник «Гилея» и «41°», автор знаменитого «Дыр бул щыл», – несмотря на небольшое количество исследований и публикаций остается не вполне прочитанным автором. Особенно это касается его текстов постфутуристического периода. Глава издательства «Гилея» (не путать с кубофутуристическим кругом столетней давности!) и исследователь авангарда Сергей Кудрявцев недавно выпустил составленные и откомментированные им три сборника из серии «Неизданного Крученых»: «Поэмы. Фонетический роман. 1920–1940», «Лирические циклы. 1932–1949», «Стихотворения. 1921–1952» (все – 2025). Мы решили поговорить об этих книгах, но не только о них.

ДД: Сергей, поводом к нашему разговору стали выпущенные в твоём издательстве «Гилея» три сборника «Неизданного Крученых». Мы дойдем еще непосредственно до этой публикации и вообще до крученыховских текстов, но для начала мне хотелось бы спросить тебя: почему при всем неизменном внимании к отечественному авангарду поздний Крученых оставался и во многом отношении некой лакуной? Геннадий Айги писал: «Крученых был нужен – как “козел отпущения”: в течение полувека сваливали на него “футуристические грехи” Владимира Маяковского и Велимира Хлебникова». Это во многом было так в советскую эпоху, и отчасти, наверно, даже и в наше время, но вряд ли Крученых был жупелом для вменяемых специалистов по авангарду. Тогда в чем же дело?

СК: Данила, знаешь, это в целом довольно странная, хотя и объяснимая история, отчасти и лично моя. Моя – потому что мне, конечно, надо было гораздо раньше за всё взяться, тем более что основные рукописи «подпольного» Кручёных уже многие годы лежат в государственных архивах, переданные туда им самим и Николаем Ивановичем Харджиевым. Было бы, разумеется, несправедливо говорить, что такие стихи до момента выхода моих трёх книжек были совсем неизвестны заинтересованной публике. В архивах всё-таки работали специалисты, чьи публикации я перечислил в общем предисловии к выпускам. Это, например, Розмари Циглер, вообще одна из первых исследовательниц «постзаумного» Кручёных, это поэт-трансфурист и теоретик авангарда Сергей Сигей, ещё в начале 1980-х напечатавший полученные им от Харджиева материалы в своём с Ры Никоновой машинописном «Транспонансе», а позднее повторивший основное в мало-тиражных брошюрах, это Сергей Сухопаров, автор первой биографии поэта, вышедшей в Германии. Специалист по раннему русскому авангарду Нина Гурьянова выпустила в конце девяностых в США большой том мемуаров бывшего заумника о его футуристической молодости и включила туда его стихи к Пастернаку и «гоголевские» циклы, а хлебниковед Евгений Арэнзон уже в начале

нулевых опубликовал тексты из машинописного сборника 1943 года. Я называю здесь не всех, но общая проблема предыдущих публикаций состоит, во-первых, в том, что многие из них труднодоступны для обычного читателя, да они и не собраны воедино в каком-либо издании, а во-вторых, в том, что в этих работах часто упущено самое, на мой взгляд, главное из того, что подлинно характеризует Кручёных как интереснейшего поэта 1920–1950-х.

Да, для многих простых любителей поэзии он как был, так и остаётся жупелом – как по причине «непонятности» почти всего его раннего периода, так и из-за разных мемуарных свидетельств, описывающих его в более поздние годы исключительно как такого опустившегося прониру, приторговывавшего лоскутками рукописей Хлебникова. А вспомним авторитетного Мандельштама, который в статье 1922 года о литературной Москве отбрасывает «...совершенно несостоятельного и невразумительного Кручёных, и вовсе не потому, что он левый и крайний, а потому что есть же на свете просто ерунда», но, правда, признаёт его «интересным как личность». У профессионалов же на долгие времена сохранился стойкий стереотип единственно достойного для изучения Кручёных – заумного. Показательным в этом отношении является прекрасный 400-страничный том “Russian Literature” за 2009 год, целиком посвящённый Кручёным, однако только его первому поэтическому десятилетию. Все эти и другие клише сыграли очевидную роль в судьбе его позднего творчества и своеобразно повлияли на выбор учёных энтузиастов, искренне старавшихся по-своему «отмыть» проклятого во всех отношениях поэта, оправдав его деятельность последующих лет текстами, так или иначе связанными с крупными литературными фигурами и тому подобным. Но надо сказать и о том, что до более глубоких раскопок у них просто руки не дошли.

ДД: Иными словами, поздним периодом Крученых толком почти никто не занимался... Недавно вышло два толстенных тома крайне сомнительного качества (неряшливые компиляции с кучей ошибок) – как бы биография Крученых за авторством Марка Уральского, тысяча с лишним страниц в общей сложности; в ней большие главы посвящены совсем посторонним вопросам, но позднему периоду именно творчества Крученых уделено очень мало места. Помимо того, что ты назвал, есть публикации Любви Хачатурян в “Russian Literature / Slavic Literatures” и в «Русской литературе», в том числе и совсем недавняя публикация поэмы «Ночные каракули». Но это действительно единичные публикации. В твоём предисловии к первому выпуску «Неизданного Крученых» перечислено все, что было сделано раньше; хотелось бы, чтобы ты рассказал, какие принципы отбора и расположения материала были положены в основу твоего издания.

СК: Конечно, стихами Кручёных после 1930 года, когда он прекратил печататься, занимались сравнительно немногие, и это никогда не было мейнстримом в изучении постфутуризма, но сделанное в 1980–2000-е годы целым поколением первооткрывателей никак нельзя сбрасывать со счетов. И я ведь назвал тебе не всех, а в основном авторов крупных публикаций и главных пионеров этого дела, с большинством из которых мне, кстати, посчастливилось познакомиться. Здесь непременно надо упомянуть и Геннадия Айги, который в 1960-е записывал чтение Кручёных на магнитофон, а в 1989-м опубликовал его подборку в журнале «В мире книг». Надеюсь, что мой предыдущий ответ не прозвучал так, будто я хочу перечеркнуть чужой труд, ничего подобного! Я как раз опирался на сделанное и лишь продолжил дальше в том же самом тоне, о глубине которого долгое время не подозревал, разве что с несколько другим подходом и акцентами, о чём я не могу не сказать. Если же ты имеешь в виду научные исследования стихов Кручёных этого времени, то да, их почти нет, но многое существенное можно найти в комментариях, например, у той же Гурьяновой или у Сигея. Сам уже немолодой Круч представлен в разных своих гранях в мемуарной антологии 1994 года «Алексей Кручёных в свидетельствах современников», составленной Сухопаровым, хотя там, конечно, не так много про его стихи, а больше разных бытовых деталей, в том числе вполне «говорящих», и немало также сочувствий пожилому «неудачнику» или такого неприятного похлопывания поэта по плечу. Да и откуда этим исследованиям вообще быть, если целостное знание о «потаённом» Кручёных пока не сложилось?

Рассуждать про книги Уральского не имеет большого смысла, потому что вся его работа – это тенденциозная сборка известных материалов и никаких архивных и вообще не книжных разысканий автор не проводил. Что же касается публикаций Любви Хачатурян, то я, конечно, их знаю, и первую из них, в которую вошло несколько записей 1930-х годов из рабочих тетрадей поэта, я упомянул во вступительном обзоре. Другие её материалы появились позже, когда мини-серия «Неизданный Кручёных» уже выходила в свет. И получилось, что мы «выстрелили» практически одновременно и при этом практически не совпали. Хочу только пояснить, что Хачатурян на самом деле опубликовала не поэму «Ночные каракули», как она полагает, а один из черновых вариантов того, что в конце концов сложилось как цикл стихотворений (его можно назвать и поэмой) «Против курения, пьянства и выкидышей». «Ночными каракулями» поэт назвал совсем другой цикл, сочинённый в 1932 году и воспроизведённый в 2010-м сотрудниками Государственного музея В.В. Маяковского в альбомном издании «Взорваль». «Против курения...» я видел в разных авторских версиях, но использовать эти тексты не хотел, оставляя для серии нечто более яркое и неожиданное, по-настоящему переоткрывающее «незадуманное» Кручёных, а этот цикл мне сразу показался таким назидательно-пропагандистским, делавшимся с явным расчётом на печать. Он относится, на мой взгляд, далеко не к самым удачным произведениям «грандиозаря», как и ряд появившихся в упомянутых специализированных изданиях его архивных текстов. Кручёных вполне умел быть и скучновато-пресным даже в своём дикуватом стихотворчестве, и я не совсем понимаю тех, кто стремится в первую очередь публиковать именно такое. А в архивах между тем рассыпано множество совсем сокровенных, новаторских, нестандартных даже для самого Кручёных стихов, которые я старался максимально вылавливать и складывать в свою концептуальную «корзину». Если говорить о принципах построения изданий, то всё очень просто – в первую книгу вошли поэмы и «деревенский» фонетический уголовный роман, во вторую – авторские лирические циклы, а в третью – разрозненные стихотворения. Книги охватывают 1920–1950-е годы, начиная с Баку, где поэт прожил два года после Тифлиса, и заканчивая послевоенной, ещё сталинской Москвой. Внутри же каждого из томиков был по возможности соблюлён хронологический принцип.

ДД: Собственно, ты предвосхитил мой вопрос о полноте изданных тобою сборников, говоря, что ориентировался на наиболее новаторские и нестандартные из неопубликованных сборников Кручёных. В таком случае естественен вопрос: что остается еще неопубликованным – давай пока что ограничимся стихотворными текстами? Если ли четкое представление о том, как могло бы выглядеть гипотетическое полное собрание стихотворений и поэм?

СК: Данила, а я ни на какую полноту не претендовал. «Неизданный Кручёных» – это все-го-навсего попытка показать читателям и, конечно, специалистам тоже: «Вот, смотрите, есть ещё и такой Кручёных, так что сидайте свои ярлыки и не торопитесь приклеивать новые». Но вообще неизвестный или малоизвестный Кручёных существует всякий – есть, например, бакинский, то есть того времени, когда он выпускал крохотными тиражами свои «Мятежи» или печатался в местных газетах. Есть множество изготовленных им альбомов советского периода с фотографиями, рисунками и стихами, где мелькают и его стихи на случай. Есть разнообразные машинописные и рукописные сборники, связанные с юбилеями, с разными литературными деятелями и соратниками, с поэтическими «турнирами» и так далее. Просматривая тетради поэта, я, разумеется, брал не всё. Надо к тому же учитывать обилие вариантов и неоконченных текстов, шуточных виршей, эпиграмм и всякого такого прочего. Например, стихов, посвящённых его возлюбленной Ирине Смирновой, той самой, которая прославилась благодаря его последним изданным при жизни сборникам «Ирониада» и «Рубиниада», гораздо больше, я опубликовал не все, потому что циклы о ней имеются, опять же, в разных версиях, иногда незавершённых, или к чему-то я просто не получил доступа, как это было в случае с ГММ. Послевоенные «Стихи Татьяне» существуют в разных, чистовых и правленных оригиналах, а также в перерабатывавшихся уже в 1950-е версиях,

которые Кручёных читал публично, например, на своём восьмидесятилетии в ЦДЛ. Наконец, есть множество стихотворных черновиков, лишь часть из которых мне удалось разобрать.

Да и вообще, а что такое «неизданное»? Для меня это не только то, что никем вообще не было открыто и обнародовано, но и то, что запрятано в местной периодике, в вышедших в ограниченном количестве, в том числе за рубежом, филологических сборниках, в самиздате, даже если такое при соответствующем желании и упорстве можно найти в сети. У меня есть учёные коллеги, искренне спрашивающие про то или иное: «А зачем ты это заново публикуешь, если оно уже напечатано 30 лет назад в многотиражке Ангарского завода полимеров?» Я утрирую, конечно, но ведь дело не в одном только факте публикации, но и в возможности любому современному, в особенности «наивному», но увлечённому читателю легко это найти.

Если же говорить о «полном» Кручёных, то это колоссальный архивный, методологический, текстологический, комментаторский труд, должный к тому же учитывать все сделанные на сей момент воспроизведения текстов. И делать этот труд надо постепенно, начиная с самого ценного, выявляя прежде всего то неведомое, что позволит по-другому увидеть поэта и просто восстановить справедливость. Свои выпуски я рассматриваю как промежуточную, во многом вспомогательную работу, подталкивающую и к знакомству с практически неизвестным поэтом советского времени, и к осмыслению новых научных подходов к его творчеству и биографии. Но о составлении полного свода его трудов я не задумывался, да и вряд ли бы за это взялся.

ДД: Самое время поговорить о самих текстах Крученых. Одна из целей твоего издания, как я понимаю (возможно, второстепенная), – разрушить миф о тождестве Крученых-поэта и Крученых-заумника. Миф этот существует в «сильной» и «слабой» версиях. «Сильная» – это такой дилетантский подход, при котором кроме «дыр бул щыл» человек ничего о Крученых не знает. «Слабая» – это подход квалифицированного читателя, прекрасно представляющего все разнообразие творчества Крученых, но считающего, тем не менее, именно заумь самым значительным из того, что он сделал. Невозможно, конечно, отрицать значимость крученыховской зауми в контексте всего мирового авангарда. Но мне, например, как исследователю примитива и примитивизма, всегда казались не менее важным и интересным многое иное – опыты Крученых с «инфантильной» оптикой («Поросята» и т.д.), мистериальность «Игры в аду» или «Победы над солнцем», нарративные поэтические опыты – от «текстуальных клипов» «Говорящего кино» до квазилубочных повествований («Разбойник Ванька-Каин и Сонька-маникюрщица», «Дунька-Рубиха» и другие). Как твое издание позволяет расширить наше представление о «незаумном» Крученых?

СК: Да, конечно, ты прав, одной из моих целей было разоблачение такого мифа, существующего в названных тобою крайних двух вариантах и даже в большем их количестве. И я солидарен с твоим интересом – для меня тоже важны его поэмы, пьесы и «уголовные романы», о которых ты говоришь. «Ваньку-Каина» и «Дуньку-Рубиху» я очень почитаю и давно досаую, что они как бы отодвинуты на второй план и о них никто не пишет. Или я ошибаюсь? Между прочим, в РГАЛИ хранится рукописная тетрадь «Ваньки-Каина» с оригиналами блестящих рисунков Марии Синяковой, причём их гораздо больше, чем вошло в издания 1920-х годов. Мне удалось только одну из таких находок воспроизвести в первом выпуске «Неизданного». Почему о них совершенно не знают, хотя Синякова – замечательная художница русского авангарда, да и просто большой мастер?

Что касается интересующего тебя «расширения»: смотри, в первом же выпуске «Неизданного» Кручёных впервые появляется в нехалтурном амплу «деревенщика», то есть совсем не в том, в каком он выступает в агитпесах для сельского театра, отпечатанных Государственным издательством во второй половине 20-х. Продолжая уже в начале 30-х линию «Ваньки» и «Дуньки», он, на мой взгляд, уходит гораздо дальше. В поэтическом романе «Темнота косматая», который прежде никто не вытаскивал на свет, он становится своего рода криминальным хроникёром меняющейся деревенской жизни и одновременно рьяным фонетическим старателем,

работающим в пластах местных говоров. Саму по себе эту вещь мой друг Борис Констриктор сравнил с античной трагедией, а я, нисколько не иронизируя, скажу, что почувствовал в ней едва ли не шекспировскую мощь. И обрати внимание на то, как продуктивно и как непривычно для этого автора в ней контрастируют стилевые планы. «Козёл-американец» – вещь с большой сюрреалистической составляющей, и мне эта «фантастическая поэма», как её обозначил сам автор, кажется вершиной того, что Кручёных начал выдумывать незадолго до возвращения из Закавказья в Москву, уходя от беспредметной зауми. Три поэмы об Иоганне Протезе, среди которых до сих пор кое-как была известна только первая, – это громкий экспрессионистский выстрел и такая всегда актуальная антивоенно-антибуржуазная сатира, которую у него в сочинениях почти не встретишь. Вторая «Игра в аду», написанная уже без Хлебникова, причём спустя почти три десятилетия, – поэма, не только значительно разнящаяся с первой, но и вновь удивляющая знатоков Кручёных, хорошо известного своим предпочтением ломаных ритмов и перемолотой словесной массы. Среди поэтических циклов мне трудно выбрать что-то более особенное, чем лаконичный «Косой дождь», посвящённый идейным спорам о форме и о формальном методе и сочинённый как раз в те дни, когда принималось постановление «О перестройке литературно-художественных организаций», поставившее могильный крест на советском авангарде. Хотя и другие лирические ряды – это тоже обилие новых тем и ракурсов, важнейших автобиографических деталей и, конечно же, форм, таких, где не только смыслы – а это всё, разумеется, «смысловая» поэзия, – но даже строки или рифмы убегают оттуда, где их с нетерпением ждёшь, куда-то дальше, вызревая там в неожиданном обличье. Об очень разных стихах третьей книги (а их там 120), мне кажется, надо разговаривать отдельно – уж слишком они непохожи между собой, не напоминают ничьи другие и в целом сильно отличаются от того, что мы более или менее знаем у Кручёных. В конце концов, интересно и твоё мнение, филолога, исследователя, поэта, а не то наш с тобой «Разговор о „Малохолии в капоте“» рискует стать почти что моим монологом.

ДД: Да, стихи в третьем выпуске очень разнородны. Книга охватывает период в более чем тридцать лет, и составившие ее тексты не имеют внешней рамки, как в случае циклических форм, поэтому это собрание на первый взгляд может показаться случайным. Тем не менее, здесь есть закономерности – от стихотворений еще вполне в ортодоксальном левофутуристическом духе идет движение к некоему новому свойству. Иван Щеглов в неглупой в целом рецензии на «Горьком» обозначил это свойство как «постфутуризм» и одновременно андеграунд. Про постфутуризм я ничего не могу сказать, по-моему, это все-таки такой недотермин. Есть всякие тонкие различия между «поставангардом» и «неоавангардом» (которые, к примеру, филигранно исследует в своей недавней книге Михаил Павловец), но это все скорее касается последующих поколений. Кручёных – сам в себе авангард, извне может быть кажущийся неким реликтом, но изнутри, при всей присущей ему политической осторожности, прекрасно осознающий живые движения, существующие помимо легальной словесности. Он от нее был отлучен, но, между прочим, никогда себя ей формально не противопоставлял. Тем не менее он чувствовал нарождающиеся новые контексты. В каких-то текстах он прозрачнее прежнего, какие-то представляются безделушками, текстами на случай. Но именно это оказывалось работающим в новых условиях. Ян Сатуновский, нашедший, как известно, общий язык с Кручёных, в знаменитом моноистихе формулирует: «Главное иметь нахальство знать, что это стихи». Никогда не бывший чуждом авангарду, этот принцип понимается теперь иначе: нахальство не в вызове, преодолении конвенций, скандале и провокации, а в бедности, приватности, безыскусности, но и упрямстве в отстаивании эстетической значимости всего этого. Прямо заметно, как многое у позднего Кручёных можно читать через эту оптику (при всей условности этого понятия «андеграундную», если опять-таки вспомнить сказанное Щегловым). Периодически ловишь себя на близости интонаций с младшими поэтами, а то и еще и не родившимися к тому моменту. Очень много параллелей с тем же Сатуновским, есть явное предвосхищение Холина, Всеволода Некрасова, из еще более поздних – Бориса Кочейшвили (но, что интересно, не Айги, но и не Глазкова – биографически как будто более близких). Вообще,

надо признать, поздний Крученых во многом предвосхитил местную версию конкретизма (преимущественно лианозовскую), что, собственно, интуитивно было понятно и раньше, но теперь становится более наглядно. Конечно, это только одна из сторон позднего Крученых, и я думаю еще поговорить о некоторых других, но если уж речь зашла о контекстах, то хотелось бы обратить внимание на случаях своего рода «антидиалога» со стороны Крученых. Обращают на себя внимание довольно резкие строки не только об «эстетически чуждом» Мандельштаме («Пусть чахоточные денди / каттавцы Мандельштампы / бредят / о блудливом шерри-бренди, / о парижском масле, / лакированном Рольс-Ройсе – / нам же нужен / просто ГАЗ»), но и о, казалось бы, гораздо более близких обэриутах («Заболоцкий, Олейников – / унылый Петербург! / Оставьте, бесполезно, / бросьте каламбурить!», и т.д.). Ты предлагаешь довольно убедительную версию этого разлада между Крученых и обэриутами, которые могли им восприниматься как изменники, отвергнувшие футуристическое наследие, но, кажется, разрыв носил и более глубокий характер: стоит вспомнить неудавшийся обэриутский визит к Крученых, описанный Бахтеревым. Может быть, здесь есть нечто вроде антагонизма между смежными поколениями, тогда как условное «поколение внуков» (как раз те самые поэты раннего андеграунда) не только на бытовом уровне воспринимается более лояльно, но с ним находится и больше эстетических пересечений.

СК: Что ж, трудно с тобой не согласиться, ты делаешь много точных наблюдений, тем более что ты явно лучше меня разбираешься в советских андеграундных, ну, или неоавангардных школах. Поправлю тебя, пожалуй, только в одном – это не Бахтерев вспоминал о встрече Введенского с Кручёных, а всё тот же друживший с обоими Харджиев, который привёл бывшего обэриута по его собственной просьбе на квартиру бывшего заумника, это был март 1936 года. Вот тут как раз надо обратить внимание на описание самого эпизода встречи, которое Харджиев в начале девяностых дал в интервью Ирине Врубель-Голубкиной: «Кручёных знал, что есть такие обэриуты, но вёл себя очень важно, что ему было несвойственно. Но странно, что такой наглец и орёл-мужчина, как Введенский, вёл себя, как школьник». В самой этой сценке, мне кажется, можно найти кое-какие ключи к пониманию разрыва ближайших поэтических поколений. Ты прав, дело не только в выпадах обэриутов против зауми и, по сути, всего вспаханного Кручёных, Зданевичем, Терентьевым, а затем и Туфановым поля, или вообще в их разочаровании так называемым левым искусством, которое мы сейчас больше именуем авангардом. К слову, Хармс на той самой ленинградской дискуссии о формализме 1936 года, в которой Введенский к своей чести не участвовал, выразился так: «Наступил период, когда стало ясно, что левое искусство в тупике. Есть люди, которые никогда и не были заражены этим левым искусством. Я, во всяком случае, был. И не так просто было осознать несостоятельность левого искусства. Я понял это только в 1929, даже в 1930 году». Кстати, я особо не протестую против несколько размытого термина «постфутуризм», когда он применяется не только к самому Кручёных, который, не отрекшись от своего прошлого, творил всё же после него, сохраняя и подчёркивая эту связь, но и в отношении, например, пореволюционных заумных школ, того же Лефа или отдельно взятых обэриутов, потому что первоначальные открытия и тех, и других вытекали непосредственно из новаций будетлян и их способов самопрезентации. Однако в случае с Заболоцким и Олейниковым, которые левым искусством как таковым никогда, по всей видимости, не увлекались, внутри Кручёных, скорее всего, сработала и реакция на «чужих», как и в отношении Мандельштама или вообще разных «чахоточных денди», под которыми он, по всей вероятности, понимал просто поэтов старых, враждебных школ, – ровно такой же отзвук в начале 20-х в нём находят и «символистики / нытики / мистики...». Ну, и очевидна своего рода ревность к Заболоцкому – к тому, как тот по-своему перерабатывает наследие Хлебникова, забирая его у футуризма. К тому же мы не должны забывать, что Кручёных был, в общем-то, «советским человеком», как его, к примеру, охарактеризовала Синякова. Недаром, если судить по сохранившимся стихотворным поздравлениям и прочему, его окружали сплошь советские поэты типа Александра Жарова, перековавшегося из футуризма Асеева или даже Сергея Михалкова, хотя в этом присутствовала значительная доля собственного ему практицизма.

Однако среди них он был тем самым единственным физически живым авангардом, олицетворением той спасительной культурной анастрофы, которая и должна была наступить в СССР после того, как будетляне «нагуляли в себе силы / завладеть всем миром» в отдельно взятой стране. Поэтому упоминаемый тобою «антидиалог» работал – причём, я думаю, постоянно – и в этой среде. Достаточно упомянуть проведённое Кручёных в свою пользу сравнение «зауми» и первых строк гимна Советского Союза, на которое указывают Василий Катанян и Борис Слуцкий.

В этой связи я хотел бы сказать и о своеобразном дендизме самого Кручёных, к каким бы пыльным временам и нравам он на словах ни относил такой тип социального поведения. Это был своего рода «дендизм бедных» – между прочим, как-то так назван до сих пор не переведённый на русский язык роман нищего гения дадаизма Хуго Балля, написанный этим европейским «сородичем» Кручёных в 1918 году. К середине XX века или даже раньше Кручёных, без сомнений, ощутил себя памятником ушедшей героической эпохе, и, осознавая себя привлекательным для кого-то диллодоком и одновременно отверженным, принимал соответствующие позы, которые мы не можем не почувствовать в его стихах, достаточно хотя бы бросить взгляд на название послевоенного цикла «Я памятник воздвиг себе». Виктор Соснора прямо так и выразился о своём предшественнике: «Он же из денди 10-х годов». Из этой величественной неприкаянности в той или иной степени происходят многие диковатые и смешные выходки зудесника – как в повседневной жизни, так и в той же его абстрактной, конкретной и неясно какой ещё поэзии. После недавнего живого рассказа Нины Гурьяновой, беседовавшей когда-то с внучкой художника Древины, я часто представляю Кручёных именно таким – гордо завернутым в обычную простыню, в каком-то виде он не раз выходил из своей комнаты в коридор коммуналки, чтобы ответить на звонок очередной дамы или прикидывающегося ею хитрого Николая Ивановича. Если уж ставить где-то памятник Кручёных – в Херсоне, в Москве или на Марсе, – то я бы предложил изобразить поэта семидесятилетним, в тоге и принявшим позу Козьмы Пруткова. Между прочим, прутковское стихотворение «Мой портрет» словно о нём и написано.

ДД: Да, конечно, Харджиев, прости (я просто вспомнил яркое описание у Бахтерева визита к Ключеву, наложилось). Мне кажется, ты отметил два важных свойства Крученых, которые кажутся на первый взгляд несовместимыми – советскость и дендизм. Обэриуты, конечно, тоже были денди, но скорее, денди-фрики, Крученых же, при всей своей экстравагантности, в большей степени сохранял черты общемодернистского дендизма (в левом его изводе, конечно, и не без автопародийности – не зря же ты вспомнил Пруткова!). Мне кажется, это во многом и привлекало к нему (помимо очевидной легендарности) послевоенных представителей раннего андеграунда, которые, конечно, противопоставляли себя в той или иной степени окружающей действительности (иногда довольно резко, как те же Хеленукты, которые, кстати, в составе Владимира Эрля и Александра Миронова, совершили паломничество к Крученых из Ленинграда в Москву), а с другой были людьми все-таки советской формовки. Так или иначе, в Крученых для послевоенного поколения был важен сам принцип медиации с неким легендарным авангардным прошлым. Такие фигуры-медиаторы были вообще важны для становления неподцензурной послевоенной культуры – от Евгения Кропивницкого для лианозовцев до Ахматовой для «сирот», но и много кого еще. Интересно, что Крученых, один из самых ярких примеров таких связывающих времена фигур, для подавляющего большинства молодых собеседников оставался (в отличие от тех же Кропивницкого или Ахматовой) исключительно посланником прошлого, неким грандиозным осколком легенды, живым ископаемым, а его позднее творчество оставалось без внимания. Это тем более удивительно, что Крученых оставался очень живым автором. Так, он, наравне с молодými, но вполне футуристическими авторами, отдал дань поэтическому осмыслению техники («В глубине скафандра / Стучу глазами по стеклу...» и особенно удивительный «Дифирамб магнитофону»); его тексты оставались пронизанными и энергией конфликта, полемики, и эротической энергией (это видно и в отдельных стихотворениях, и в лирических циклах).

СК: Добавлю к твоему «списку» и основателей трансфуризма Ры Никонову и Сергея Сигея (ещё раньше они были «уктуссцами»), которые выводили свои эксперименты во многом из модного Кручёных, выуживая из него, и прежде всего из именно такого, заумного, необходимого им Приём, словесную технику. Однако тот же Сигей был и одним из первых публикаторов поздних его стихов и, если я не ошибаюсь, тоже встречался с ним в 60-е годы. Ну, и, конечно, он активно общался в Москве с Харджиевым, делая у него дома копии таких вещей и, в частности, впоследствии подготовив тайне от мэтра известную теперь «Кручёныхиаду» в сопровождении своих рисунков и комментария. Про вторую «Игру в аду», которую он полностью напечатал в «Транспонансе», а потом в Мадриде у Михаила Евзлина, Сигей вообще считал, что, «возможно, она станет со временем даже более знаменитой». Хотя известное ему у «последнего футуриста» незаумное он, и не только он один, обычно оценивал с существенными оговорками – например, как я помню, «Ирониаду». А уже в мадридском издании «Игры» он прокомментировал поэму фантастической версией о якобы содержащихся в ней отзвуках «рассказов Осипа Брика о его славной следовательской деятельности в застенках ГПУ», на которую тогда довольно резко отреагировал историк авангарда Андрей Крусанов. Отсюда, из такого отношения к поздней поэзии, как раз и появляется мотив, о котором я сказал в начале нашего разговора, – в выборе публикуемого как-то зацепиться за связанные с Кручёных знаковые фигуры или события, при том, что, как мы знаем, раннее его творчество в подобных подпорках никогда не нуждалось.

Хорошо, что ты вспомнил про «Дифирамб магнитофону» – редкое, если перелистать весь массив, указание автором на самого себя как на замечательного тещу. Об этом его особом таланте немало есть в воспоминаниях, да мы и сами можем во всём убедиться, найдя такие записи в сети. Кручёных был с давних пор апологетом приёма и фонетического совершенства, отчасти поэтому, – придавая, видимо, всё больше внимания разным техническим переменным, – он бесконечно переделывал свои сочинения сороковых-пятидесятых, следы чего повсюду обнаруживаются в архивах. Обращу твоё внимание и на то, что читал он вслух, по всей видимости, не только себя. В одной из тетрадей «для читки» легко обнаружить стихи Пушкина и Тютчева, а записанный от руки текст «Решительного вечера» Дениса Давыдова помещён на том же самом развороте, что и «Дифирамб магнитофону».

Исследуя и подготавливая архивные материалы, я, признаюсь, был более всего заворожён теми афористичными вещами, которые Алексей Елисеевич наверняка не предназначал для читки, да и вообще для чужих глаз, они всегда оставались вне «видимого» Кручёных, пусть даже в некоторой степени открытого или предугаданного. Я имею в виду его таинственные, не всегда расшифровываемые почеркушки, разбросанные в разных местах рабочих тетрадей, возьмём, к примеру, «...нет это только / фактура / собакой визжит – / её / бьют». К таким теоретическим или декларативным высказываниям он возвращается в разных стихах конца 20-х – начала 30-х, будь это «Блаженство как таковое...», «Всё мёртвые поэты!..» или «Сердце – / кровавая Африка...», но едва ли что-либо у него именно в философском смысле звучит мощнее, чем такой вот кратчайший стих-манифест того же времени, наспех записанный на листке блокнота: «Копи энергию / мечты мечем / об одном! / Забудь о цепях цифры». Текст можно воспринимать, с одной стороны, как личный протест против нумерологии – ею, вспомним, сильно увлекался Хлебников, – но, с другой стороны, без преувеличений, и как пророческий взгляд в наше переломное время. Наконец, его при желании можно было бы трактовать ещё шире, и в этом не будет большой ошибки, если иметь в виду ту энтропийную энергию, которую несёт в себе настоящий авангардный поэтический заряд, – я подразумеваю прежде всего радикальные опыты дадаистов, заумников, леттристов и прочих, – разупорядочивающий застывшие культурные формулы и коды, противопоставляющий эстетическим границам и другим безостановочно формирующимся информационным, дискретным, знаковым, а фактически, цифровым рядам текучую активность переработанных поведенческих, художественных, речевых, фонетических структур. Эта энергия, будь она какой угодно, чувствуется и в позднем Кручёных, в значительной мере поменявшем свою тактику, однако сохранившем её наступательность.

ДД: Мне кажется, Крученых можно обсуждать бесконечно (что лишний раз говорит о том, что его маргинализация – удивительное недоразумение). О фрагментарности, которая порождает новый эстетический смысл, я тоже много думал (и здесь еще одна перекличка с младшими поэтами!). С другой стороны, поразительно, как Крученых взламывает какие-то традиционные формы. К примеру, в изданных тобою сборниках есть несколько текстов, которые обозначены как сонеты, но при этом далеко («Сонет очарования». «Сонет о диспутах») или очень далеко («Книга адских сонетов») отходят от конвенциональных признаков этой формы, даже в очень вольном модернистском понимании. Это вообще-то тема для отдельной работы – может быть, я за нее как-нибудь возьмусь. Авангардная трансформация ультраклассической формы сонета – не единственный пример в поэзии специфической работы Крученых с миром классической культуры, построенной не на отбрасывании (вроде бы деклариовавшимися футуристами-«гилейцами» в героический период их деятельности), а на переосмыслении и преобразовании, как правило, радикальном, но сохраняющем память об источнике. Здесь я вижу очевидную перекличку с практикой еще одного младшего автора, чуть ли не единственного, кто, кажется, прямо ощущал себя учеником Крученых, – Владимира Казакова (значительное число книг которого ты опубликовал в разные годы, фактически открыв для многих читателей).

СК: Верно, что ты называешь Казакова! Он же был на самом деле первым, кто заговорил публично о совсем было забытом поэте, опубликовав к десятилетию его смерти в парижском журнале «Ковчег» свой очерк «Зудесник», к которому была приложена публикация прекрасного стихотворения Крученых 1940-х годов «Сон о Филонове». Крученых, как известно, вообще весьма иронично относился к другим поэтам, в особенности к молодым, потому, прочитав стихи Казакова, ответил ему: «Я пишу такие же, но рву их» (согласись, случай чем-то напоминает его встречу с Введенским, где он парировал обэриуту стихами маленькой девочки). Казаков же несомненно находился под его влиянием – как, впрочем, и под прямым воздействием Хлебникова, обэриутов или авангардной живописи (а интереснейшими абстрактными рисунками своего брата Алексея Владимир иллюстрировал самодельные книги) – и создал мир поэзии и прозы, в котором слышны и кручёныховские аккорды и гаммы.

Да, творчество и разнородные влияния Кручёных на литературу и даже на науку (не надо забывать, например, о его учёных беседах с Романом Якобсоном) можно обсуждать в совершенно разных плоскостях и поворотах. Также, например, очень любопытно углубиться в его отношения с Лефом и персонально с Маяковским, на непростой характер которых указывают те же неизвестные стихи конца 20-х. Публикуясь в журналах «Леф» и «Новый Леф» и вращаясь в этих кругах, Кручёных наверняка отдавал себе отчёт в компромиссности этого откровенно провластного начинания, которая при всём неизбежном социальном конформизме по-прежнему одиозного поэта, подпитываемом жадой легальности, всё-таки была ему чужда. Недаром где-то (не помню уж, где) Маяковский высказывался про то, как трудно было уговорить старого приятеля сделать для «Лефа» политические стихи. Говоря новолёфовцам «хватит, не лефьте», Кручёных, похоже, пытался дистанцироваться и от всей этой литературной практики «жизнестроения», и заодно от салонного герметизма, обескровливающих энергии авангарда. Или, например, возьмём тему фрейдизма, столь значимую для заумников группы «41°» с её теориями и экспериментами в области «анальной эротики», – её поэт отрефлексирует в нескольких поздних стихах, причём совершенно неожиданно и довольно грубо, к тому же в те вполне тревожные годы, когда упоминание психоанализа было дозволено исключительно в негативном контексте. А разнообразие «адских» тем, которые, кстати, неожиданно сближают Кручёных с Борисом Поплавским, ещё одним более молодым поэтом, но уже несоветским, довольно рано продемонстрировавшим знакомство с кубофутуризмом и с заумью и объединившим в своём тоже «подпольном» творчестве авангардные влияния с мистико-философскими, даже каббалистическими? А особый юмор Кручёных, блистающий в совершенно разных вещах, больших и малых, заумных и незаумных,

прямо пародийных, как, к примеру, реплика на поэму «Хорошо!», или любовно-эротических и «бытописательных»? Стоит, по-моему, прислушаться к тому же Jakobsonу, отмечавшему, что «у Кручёных бывали очень неожиданные мысли, неожиданные, озорные сопоставления и колоссальное чувство юмора». Добавлю, что мне, как дипломированному психологу, страдающему явной профессиональной деформацией при всех сближениях с такими острозащитными персонажами, интересно не столько то, как устроены его стихи, – это всегдашняя пища филологов, – сколько то, из чего состоит сам автор. Только ли «из улиток, ракушек и зелёных лягушек», как может показаться невооружённому глазу, или же из чего-то ещё?

ДД: Каждая из тем, которые ты очертил, заслуживает подробного обсуждения! Но нам грозит опасность никогда не закончить этот разговор, поэтому я решительно задаю последний вопрос: скажи, есть ли в планах следующие выпуски «Неизданного Кручёных»?

СК: Соглашусь, различных предметов обсуждения в связи с Кручёных более чем достаточно, если к тому же учесть, что этот поэт и полемист практически в одиночку проделал колоссальный труд первопроходца, во многом опередив открытия европейских дадаистов и сюрреалистов и до последних лет сохраняя беспокойную энергетику поиска. В нашем с тобой разговоре мы только намечаем возможные подходы и грани, задаёмся вопросами, на которые предстоит ответить в будущем, пытаемся соединить как бы две половинки одной цельной фигуры – более или менее известную и пока толком не прочитанную. «Неизданный Кручёных» задумывался как work in progress и как увлекательная коллективная работа, представляющая читателю, главным образом, сами тексты, а не их толкования. В каком-то смысле серия отсылает к выпускам «Неизданного Хлебникова», которые в конце 20-х – начале 30-х годов были предприняты «Группой друзей Хлебникова», но прежде всего самим Алексеем Кручёных. Разумеется, в моём случае речь не может идти о десятках книжек, как это было тогда, но сделать ещё несколько было бы важно и интересно. В предисловии к серии я призвал к интеллектуальному участию «друзей Кручёных», но хорошо понимаю, что сегодня таких энтузиастов немного, и они либо предпочитают работать на какие-то свои индивидуальные задачи, либо не имеют элементарного опыта. Для следующих выпусков легко придумать идеи, даже если не ожидать чьего-либо присоединения к проекту. Всё-таки существуют малоизвестные или совсем неизвестные ранние сочинения, есть, повторю, во многом «тёмный» бакинский период, можно собрать много разного «позднего», что я называл тебе раньше, в том числе мною поначалу отброшенного или вовсе не освоенного. У Кручёных вообще-то была и проза – коллега, который мне со всем этим помогал, скопировал для меня в архиве в числе прочего авантюрную повесть «Миллион в Шанхае» середины 20-х, написанную, как я думаю, в коммерческих целях, но, тем не менее, напичканную всякими любопытными, «вкусными» деталями авангардного меню. Прямо за всё я бы, скорее всего, не брался, а дополнить серию на первых порах вполне можно было бы теми вещами его последних десятилетий, которые я в трёхтомник не включал, потому что они были опубликованы в разных изданиях, а сейчас при желании находимы в сети, но которые всё же остаются terra incognita для современных читателей бумажных книг. Такие тексты можно собрать воедино, перепроверить их по оригиналам (но не все первоисточники, к сожалению, мне пока удалось отыскать) и заново снабдить необходимыми пояснениями, опираясь на уже проделанную другими объёмную работу.

ДД: Спасибо тебе! Будем ждать и надеяться!

Михаил НИСЕНБАУМ

КАМПАНЕЛЛА И ЛЕКАРСТВО ДЛЯ РОМАНТИКОВ

Этот набросок представляет собой рассказ о многолетнем возвращении к стихотворению Осипа Мандельштама 1931 года, о попытках не филологического, но читательского переживания слов, в которых чудится и близится ответ на многие вопросы. В нынешней жизни на них так трудно, даже невозможно ответить верно. Впрочем, в начале 1930-х ответ давался не легче. Например, если у искусства нет власти поворачивать историю или хотя бы собственную жизнь, стоит ли вообще заниматься искусством? Открывать крышку рояля. Обратимся же к стихам:

Рояль

Как парламент, жующий фронду,
Вяло дышит огромный зал –
Не идет Гора на Жиронду,
И не крепнет сословий вал.

Оскорбленный и оскорбитель,
Не звучит рояль-Голиаф –
Звуколюбец, душемутитель,
Мирабо фортепьянных прав.

Разве руки мои – кувалды?
Десять пальцев – мой табунок!
И вскочил, отряхая фалды,
Мастер Генрих – конек-горбунок.

.....
Чтобы в мире стало просторней,
Ради сложности мировой,
Не втирайте в клавиши корень
Сладковатой груши земной.

Чтоб смолою соната джина
Проступила из позвонков,
Нюрнбергская есть пружина,
Выпрямляющая мертвецов.

16 апреля 1931

Датированное апрелем 1931 года, стихотворение было опубликовано в шестом номере журнала «Новый мир» за 1932 год. В отредактированной версии выпущено четверостишие, которое дает некоторые подсказки о первоначальной программе стихотворения:

Не прелюды он и не вальсы,
И не Листа листал листы,

В нем росли и переливались
Волны внутренней правоты.

Удивительна интонация «Рояля». Если попробовать сгустить, до предела сконцентрировать ее характеристики, мы увидим в ней, как в поздней готике, виртуозное соединение смеха и страха – если и не религиозного страха, то холода, вызванного состоянием мира. «Оскорбленный и оскорбитель», «руки-кувалды», «конек-горбунок» стоят на самой границе с «Не в том беда, что Себастьян – грубиян, / А плохо то, что бах какой-то грубый...»¹, впрочем, не пересекая границу. Это не юмор, не скоморошничество, но гротеск почти средневекового свойства. Посмотрите на горгулий – вот они бывают смешны и страшны одновременно и неразъятно. Но я нарочно подкрутил, уплотнил эти свойства, чтобы разглядеть на отдельном стекле, в отдельной пробирке то, что не чувствуется так буквально внутри стиха. Мандельштам умеет очистить этот гротеск до состояния послегрозного озона, опрозрачить точностью подобранных слов и их взаимодействия друг с другом. То, что передано мной в концентрированном виде, растворено в стихах, точно капля в озере.

Подтекст, который в стихах не описан, но о котором сообщают биографы: семейный кризис в жизни Генриха Нейгауза, жена которого уходит к Борису Пастернаку, что привело то ли к срыву, то ли неожиданному драматическому завершению концерта в Киеве. На концерте Нейгауз должен был исполнять романтическую музыку, вероятно, Листа² и Шопена (что явствует из четверостишия, вычеркнутого Мандельштамом).

Вряд ли Мандельштам имел в виду намекать на семейную драму Нейгауза и на роль в ней Пастернака – это не вяжется с его почти надменной чистоплотностью. Кроме того, парламент с Мирабо, рояль-Голиаф и нюрнбергская пружина совершенно не годятся в качестве антуража любовной драмы. Стихи не о ней. Если в «Рояле» и выражено отношение к любовному, к семейному счастью, то лишь в том смысле, что его не следует включать в музыку, замешивать на нем искусство.

В стихотворении две части: (1) драма с многоярусным, но лишь угадываемым сюжетом (она, в свою очередь, перебивается прямой речью и фокусировкой на герое) и (2) совет, вроде бы данный из вечности (или, по крайней мере, за временными рамками драмы) то ли поэтом, то ли прорицателем (впрочем, надо помнить, что латинское *vates* означает и прорицателя, и вдохновенного свыше поэта). Между ними обозначенный автором пропуск, сознательно оставленный и объявленный пробел, разумеется, тоже играющий роль в композиции стихотворения, своего рода переключатель между мирами, оптиками и эпохами.

Главные сюжетные линии «Рояля»:

- проигранная революция романтической музыки
- борьба музыканта и рояля (искусства) как отложенный поединок Давида и Голиафа
- борьба артиста с самим собой и проигранный поединок с судьбой
- «голос оракула» о жизни после смерти.

Первое четверостишие описывает пространство, электризованное историей, большим временем. Концертный зал выглядит подобием французского парламента и местом библейского поединка. Фронда – XVII век, Мирабо – XVIII-й, обе линии связаны с революцией, борьбой за переустройство государства и за гражданские права. Во втором четверостишии является двойной образ рояля и пианиста – Голиафа и Давида (Давид, правда, не упоминается, но какой же без него Голиаф). Рояль черен, громогласен, велик. Музыкант мал, согбен, сломлен. Поединок прерван

¹ Шутливые стихи Мандельштама, написанные в начале 1934 года.

² Уж не было ли в концертной программе Этюда № 3 Листа под названием «Кампанелла» («колокольчик», он же «позвонок»)?

– рояль умолк и стоит беззвучно, потрясенный. Потрясен и повержен также и пианист. Мирабо – рояль, чья власть в звуке, он витийствовал, гремел, отстаивал фортепьянные права, то есть права и свободы музыки. Вся эта сцена если не вызывает, то затепливает улыбку: «фортепьянные права» в сочетании с Мирабо – едва ли не самая забавная деталь – словосочетание звучит вовсе не так торжественно и значительно, как «права человека и гражданина», при этом вторя именно этой формуле. Конечно, это не «доктор кукольных наук», но все же дистанция между Голиафом и «роялем-Голиафом», между Мирабо и «Мирабо фортепьянных прав» приблизительно такова, как разница между львом и светским львом, пусть и не столь комична.

При этом и французская революция, и библейский поединок одновременно упоминаются и воспринимаются предельно серьезно. Рояль (тут бы не забыть и про этимологию, про двойное звучание, к которому Мандельштам всегда чуток – про монархию и роялистов, с которыми борется Французская революция) – «звукотелец и душемутиль» – тот, кто обожает «говорить», издавать и слушать собственные звуки (ораторство) и сеять смуту в души слушателей и бунт в сердца граждан. Голиаф сражен, «Мирабо фортепьянных прав» повержен: звуки рояля оборваны, он тоже проиграл. *Le silence des peuples est la leçon des rois* («Молчание народов – урок королям») – мог ли Мандельштам не вспомнить эту цитату из Мирабо! «Королевское молчание (*le silence royal*) – урок парламенту». В мандельштамовском стихотворении, в сущности, букет вариантов этой фразы: «Молчание рояля – урок залу», «Молчание революционера – урок революции», «Молчание зала – урок музыканту». Мирабо продолжал поддерживать отношения со двором и королевой, его обвиняли в роялизме и предательстве. Так что близость революционера-рояля и Мирабо («королевского революционера», борца за дело народное на службе короля) – вовсе не произвольная игра ассоциаций¹.

А дальше вдруг говорит сам музыкант, боец, бунтарь, который бросил музыку и отказался от борьбы. Вот тут-то герой и назван «Мастером Генрихом». И эта полшутливая метафора мгновенно вспыхивает фейерверком ассоциаций, ведущих к драме Герхарта Гауптмана «Потонувший колокол», которую переводил Бальмонт, которую ставил Станиславский и которая была столь же знаменита, как «Остров мертвых» Бёклина.

Вкратце фабула пьесы Герхарта Гауптмана «Потонувший колокол», одной из самых популярных драм рубежа веков, такова. Люди, живущие в долине (конечно, это про земное, повседневное, человеческое, смертное) строят храм в горах (горы – высокое, древнее, вечное, языческое, укорененное в природе). Для этого храма главный герой, колокольщик Мастер Генрих отливает самый большой колокол, тапнуп орис своей карьеры. Колокольный звон, если он прекрасен и готов наполнить собой огромные пространства – символ искусства, высокой мысли, веры. Обитатели гор, фавны, эльфы, силфы и прочие существа из дохристианской поры, в ужасе от вторжения. Один из фавнов подкарауливает телегу, на которой колокол поднимают в горы, вышибает пару спиц, и колокол катится вниз, даже ниже того места, откуда его везли и погружается на дно озера. С уступа падает и Мастер Генрих, которого дома ждут дети и любящая жена Магда.

Умирающего Генриха находит прекрасная Раутенделейн из рода эльфов, которая излечивает его не только от ран, но и от уныния и безверия – ведь отлитый им колокол не удался и погиб. Влюбленный и как бы забывший о своем христианстве Мастер снова принимается за работу и уже в горах (помним про все их значения) пытается отлить совершенный колокол, воплотив в нем всю силу новой любви, нового счастья, новой веры. От жены и детей он отрекся, чувствуя их

¹ К слову: «Не идет Гора на Жиронду, / И не крепнет сословий вал» – вспомнил ли Мандельштам свое детское стихотворение 1926 года, которое также называется «Рояль»? Наверняка вспомнил – внутренняя архитектура рояля невероятно похожа на ряды торжественного собрания.

Мы сегодня увидали
Городок внутри рояля.
Целый город костяной,
Молотки стоят **горой**.

связь с прежними роковыми неудачами. И что же, Мастер, выходит у тебя идеальный колокол? Черта лысого у тебя выходит, нехристь и изменщик! Да и кому надобен в горах этот чужеродный гул? Звон колокола раздается лишь однажды – в него на дне озера звонит утопленница, покончившая с собой Магда (то есть преданная любовь, поправное прошлое, вина, неискупимый грех). Мастер Генрих отрекается уже от новой любви, отталкивает и губит прекрасную Раутенделейн, сходит с ума и гибнет.

Знал ли Мандельштам про то, что Гауптман создавал «Потонувший колокол», пытаясь осмыслить и преодолеть собственный кризис – и в искусстве (провал предыдущей пьесы «Флориан Гейер»), и в любви (расставание с первой женой Мари)? Что он полностью изменил характер своей драматургии и обрел новое счастье с прекрасной Маргарете Маршалк? Это в точности неизвестно. Но если на момент сочинения «Рояля» Мандельштам не знал о той истории, мы имеем дело с многозначительным совпадением: ведь ситуация Генриха Нейгауза, чья жена ушла к Борису Пастернаку, напоминает и о биографии Гауптмана, и о пьесе «Потонувший колокол». Правда, в драме Гауптмана от жены уходит Генрих, а в драме Нейгауза все наоборот. Но к 1931 году отношение Мандельштама к Гауптману уже далеко от безоговорочного восхищения юношеских времен. Вероятно, сочиняя «Рояль», он включает «Мастера Генриха» в свою игру не без иронии, недаром в той же строке еще и «конек-горбунок». Так что в 1931 году этот «Мастер» до некоторой степени «бедняга Генрих» и «тоже мне мастер». Ирония эта, впрочем, вполне сочувственная, к ней наверняка примешивается самоирония автора «Пешехода», стихотворения 1912 года, которое тоже обыгрывает реминисценции «Потонувшего колокола»:

М. Л. Лозинскому

Я чувствую непобедимый страх
В присутствии таинственных высот;
Я ласточкой доволен в небесах,
И колокольни я люблю полет!

И, кажется, старинный пешеход,
Над пропастью, на гнущихся мостах,
Я слушаю – как снежный ком растет
И вечность бьет на каменных часах.

Когда бы так! Но я не путник тот,
Мелькающий на выцветших листьях,
И подлинно во мне печаль поет;

Действительно лавина есть в горах!
И вся моя душа – в колоколах –
Но музыка от бездны не спасет!

Страх перед бездной не исчез, но к 1931–1932 году бездна конкретизировалась, изменив и качество страха.

Вернемся же к третьему четверостишию «Рояля». Именно в этом месте и больше нигде звучит прямая речь Мастера Генриха, который оказался в том пункте сюжета, когда потонул его колокол – рояль захлопнут. То есть он не разбит, он способен звучать, но его музыка не справляется с драмой ни Мастера, ни любви, ни революции, ни инертного парламента – зрительного зала. В «Пешеходе» Мандельштам ведь тоже говорит, что как бы он ни обожал музыку, она не спасает от страха перед бездной. И это важный пункт программы «Рояля» 1931 года – призыв не бросать

музыку (поэзию, искусство, науку) несмотря на то, что она не способна предотвращать катастрофы и трагедии жизни.

Я много колокольных форм разбил,
Еще однажды я взметну свой молот, <...>
Тот колокол я мастерским ударом
Разрушу, и исчезнет он, как пыль¹, –

воскликает Мастер Генрих у Гауптмана. «Разве руки мои – кувалды?» – вопрошает Мастер Генрих у Мандельштама. То есть: разве моя сила в том, чтобы разбить неудавшийся колокол, захлопнуть не спасший и не оправдавший меня рояль? Разве я недостаточно искусен, чтобы продолжить игру? «Десять пальцев – мой табунок!» – эта линия готовит появление «конька-горбунка» и усиливает образ рояля-Голиафа пастушескими ассоциациями – Давид-то пастушок (хотя, одолев Голиафа, будет королем, *Le Rois*). Вряд ли Мандельштам мог знать, что в юности Генрих Нейгауз писал отцу, рекомендовавшему играть Шопена вместо Брамса, что «Шопена может исполнять любой фортепианный жеребец»². Будь так, это доказывало бы, что Шопен, столь значимый для Пастернака, точно включен в программу киевского концерта. Но если это всего лишь интуитивное совпадение, оно забавно подтверждается стихом «Утешь меня Шопеном чалым»³, еще одним смешком по поводу галопов шопеновской виртуозности.

И вскочил, отряхая фалды,
Мастер Генрих – конек-горбунок.

В словах «отряхая фалды» (фалды концертного фрака) подспудно звучит также «отряхая прах», то есть навсегда расставаясь, порывая всяческую связь. Это может иметь значение для понимания загадочных наставлений двух финальных четверостиший. Но почему конек-горбунок? Вероятно, первая причина – внешность музыканта невеликого роста, который горбится над клавишами, но в виртуозной игре развивает невероятную резвость. Как от Давида никто не ждал победы над великаном-Голиафом, так от Конька-горбунка никто не ждал его фантастической прыти и прочих сказочных умений.

Вопрос-возглас «Разве руки мои – кувалды?» приводит к ответу-возражению, которым вопрошающий урезонивает себя: «Десять пальцев – мой табунок!» Табунок, скачущий по клавишам – все еще не такой образ музыки, который преисполнен благоговения и восхищения. Это образ беглой техники, музыкальной витальности, словом, виртуозности. Но отчего же после такого внутреннего диалога, убедив себя, Мастер Генрих не возвращается к музицированию, а вскакивает, чтобы убежать? Даже если бы мы ничего не знали об удаленном четверостишии про прелюды, вальсы и Листа, понятно, что прежние отношения с роялем закончены. Мандельштам называет Нейгауза Мастером Генрихом, и мгновенно вспыхивающие ассоциации с «Потонувшим колоколом» доказывают: к старому возврата нет.

Строки «Чтобы в мире стало просторней, / Ради сложности мировой, / Не втирайте в клавиши корень / Сладковатой груши земной» в дни юности были для меня главными словами этого стихотворения, столь же важными, как, предположим, евангельское «Дух дышит где хочет». Как мне это тогда слышалось? Примерно так: не стоит мешать с искусством быт и низкую повседневность, парение с повесткой. Но теперь подобная модель кажется мне явным просчетом. Не смешивать небесное и земное, «горнее и дольнее» – не слишком ли элементарный рецепт «сложности мировой»? Мировая сложность скорее в том, что самые воодушевляющие стороны жизни

¹ Перевод К. Бальмонта.

² Ардов Михаил. Воспоминания об Ахматовой (Ордынка). Глава XXVII.

³ «За Паганини длиннопалым...» – стихи Мандельштама 1935 года.

оказываются накрепко связаны с ее невыносимостью. Это понимал Иов, это понимал Блейк, иллюстрировавший книгу «Иова», а также написавший своего «Тигра». И мало кто понимал это так остро, как Осип Мандельштам.

Два последних четверостишия – часть пророческая и назидательная. Именно здесь говорится, чего не следует делать, и дается волшебный совет. Предупреждение дано не ради музыканта, не ради его душевного спокойствия, даже не ради музыки – «ради сложности мировой», «чтобы в мире стало просторней». Есть в этой формуле некая настоятельность, в ней дважды в качестве цели указано качество мира – явно не только и не столько внутреннего мира музыканта. Поскольку у Мандельштама каждое стихотворение связано со всеми остальными, тут же вспоминается как минимум:

Нельзя дышать, и твердь кишит червями,
И ни одна звезда не говорит,
Но, видит Бог, есть музыка над нами...

Здесь музыка – мировой бронхолитик, она спасает от спертости-запертости-задыхания. Опять-таки, вспоминается и это место из статьи о Борисе Пастернаке: «стихи Пастернака почистить – горло прочистить, дыхание укрепить, обновить легкие: такие стихи должны быть целебны от туберкулеза». В устах астматика такие слова дорогого стоят. Сочиняя «Рояль», Мандельштам несомненно помнит о Пастернаке, так что невозможно отделаться от мысли, что сказанное о Нейгаузе подспудно обращено и к Пастернаку.

Но почему прежняя модель музыки оказалась проще и схлопнулась, почему через нее надобно переступить? Почему она недостаточно раскрывала мир и давала простор его сложности? Мандельштам включает ответ в совет: «Не втирайте в клавиши корень / Сладковатой груши земной». В прежней жизни в музыку внедрялось то самое сладковатое, почвенное, любовно-витальное, что превращало ее в виртуозные скачки табунка о десяти перстах. И раз сам Мандельштам выражается такими обиняками, мне тоже не следует сводить объяснение к чему-то одному: физическому здоровью, сытости, хорошей музыкально-спортивной форме, к счастью в любви, домашнему комфорту, к зрелой сексуальности. Это *joie de vivre*, телесная радость и всяческое земное благополучие, согласно стихотворению, ограничивает простор мира в музыке, упрощает-уплощает ее до жеребьячей резвости. Было ли в этой груше послание Пастернаку? Доказательств нет, но отделаться от ощущения невозможно.

Упоминание «сладковатой груши земной», втираемой в клавиши, несомненно связано с плотской, физиологически-гедонистической мотивацией искусства. Например, от стихов и от музыки не должно пахнуть обедом («и птичьи крики мнет ручей, / Как лепят пальцами пельмени» – как такое может не вызвать содрогание?). Когда вышло пастернаковское «Второе рождение», мысль о «сложности мировой», вероятно, получила поучительное подтверждение. Попробуйте взглянуть на эту книгу глазами Мандельштама (понятное дело, это произвольный эксперимент: никому кроме Мандельштама такое зрение в полной мере недоступно) – и, возможно, вы почувствуете, с каким сарказмом он читал иные стихи этого сборника (но многими был захвачен и вдохновлен). «Так пошлость свертывает в творог / Седы сливки бытия». Господь всемогущий! Пошлость – в том, что бытие с самым драматическим видом переводится на язык молочницы. Не стоит исключать связь строк про клавиши и корень груши с пастернаковским «Определением души»: «Спелой грушею в бурю слететь / Об одном безраздельном листе» («Сестра моя жизнь»). Между прочим, именно к эпохе «Сестры...» относится такая характеристика:

«Величественная домашняя русская поэзия Пастернака уже старомодна, она безвкусна, потому что бессмертна; она бесстыльна потому, что захлебывается от банальности классическим восторгом цокающего соловья. Да, поэзия Пастернака – прямое токование (глухарь на току, соловей по весне), прямое следствие особого физиологического устройства горла, такая же родовая примета, как оперенье, как птичий хохолок».

И Пастернак, и Мандельштам глубоко знают, понимают музыку и обращают ее в поэзию. А значит, и здесь есть место для споров. А в 1931–1932 годах Мандельштам мысленно обращается к Пастернаку и спорит с ним чаще, чем когда бы то ни было в другие годы. Было бы крайне самонадеянно описывать якобы угаданные мной реакции Мандельштама. Но чую, чую, что, читая строку «Опять Шопен не ищет выгод», он производил что-то этакое: хмыкал? фыркал? хмурился? закатывал глаза? Словом, насмешничал. Впрочем, думается, как и по отношению к Нейгаузу, насмешливость по отношению к революционным этюдам французского романтизма у Мандельштама вполне понимающая, сочувственная, в отличие от перевода высоких материй на язык сытости и гедонизма (помните многочисленные романтические насмешки над этим сближением: «после обеда хорошо помогает тихая, выстрадавшая боль и томление чувств»¹).

У соединения клавиш и грушевого корня также есть связь с «Потонувшим колоколом». Лесной Фавн, заигрывая с Раутенделейн, говорит про Мастера:

Весь день работать, – миг не ждет, –
 Любить все ночи напролет, –
 И выйдет колокол на славу.
 Гора долиной хочет быть,
 Долина хочет вверх вступить,
 И обе жить хотят по праву.
 И плод готов: откроешь дверь, –
 И видишь – бог, быть может – зверь,
 С физиономией ублюдка².

Новый колокол, который создавался по любви и вдохновению, в радости, казалось бы, обреченный стать шедевром колокольного искусства, не удался. Замысел о высоком родом из долин, но воплощаемый в горах, человеческое искусство, перенесенное в кузницу гномов, замешивание искусства на любовных уладах, другими словами, втирание корня «сладковатой груши земной» в клавиши, оказалось обречено. Зато зазвонил потонувший колокол, колокол прошлой погубленной жизни, колокол вины и предательства.

Что еще важно? Горбунок – это ведь про позвоночник, про сгорбленную спину. В случае Мастера Генриха – в том числе про согбенность, сломенность под тяжкими ударами судьбы. Эта коллизия – «сломенность-умолкание-смерть» / «прямая спина-достоинство-борьба-музыка» как раз и разыгрывается в стихотворении, особенно в последней части.

Хребет, остов, череп, кости – одна из несущих конструкций в поэтике Мандельштама, это «искусная часть природы», архитектура человеческой сущности: «чепчик счастья – Шекспира отец», «Здравствуй, здравствуй, / Могучий некрещеный позвоночник...», ее заданность, более прочная, долговечная, чем кровь, мышцы, глаза, губы. В некотором смысле кости – та часть человека, которая продолжает жить и после смерти.

Не мучнистой бабочкою белой
 В землю я заемный прах верну –
 Я хочу, чтоб мыслящее тело
 Превратилось в улицу, в страну;
 Позвоночное, обугленное тело,
 Сознующее свою длину.

(«Не мучнистой бабочкою белой...», 1935)

¹ Э.-Т.-А. Гофман. Принцесса Бландина. Перевод М. Рудницкого.

² Перевод К. Бальмонта. В переводе П. Мелковой этот фрагмент звучит так: «Теперь мы поняли, каков / Секрет литья колоколов. / Стакнулся дол с горой и вот / Ублюдок – их союза плод».

Хороша подсказка в стихотворении «Век мой, зверь мой...» (1922):

Узловатых дней колена
Нужно флейтою связать.

Здесь флейта, конечно – это флейта Пана, где трубки-косточки разной длины скрепляются воском: неровные шаги времени нужно согласовать в музыку. Позвонки – это и звенья человеческого хребта, стержня¹, который прямоотой и крепостью являет способность человека блюсти себя, «держат спину», и колокольчики (в которых опять слышится, точно со дна озера, гауптманов колокол), воплощение костяных клавиш, музыки, мастерства.

Чтоб смолоу соната джина
проступила из позвонков... –

это, конечно, разом высвечивает десятки нейронных линий, как и всегда у Мандельштама, но самая элементарная – «чтобы музыка оживала в рояле и в пианисте». «Соната джина» – и про романтическую музыку с ее мистикой, ориентализмом в целом, и про мефистофельские мотивы у Листа (черт-демон-джин), и про революционные мотивы у Шопена – про «часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Но еще и про смолистый можжевеловый дух (sic!) напитка, который и сам продукт брожения-преображения, и средство брожения и преобразования людского духа. Для того, чтобы вернуться к жизни и к музыке, надо выпрямиться, взбодриться, ожить в своем деле и поддержании собственного достоинства. Кстати, смола – это еще и то, чем дерево залечивает свои раны.

Тварь, покуда жизнь хватает,
Донести хребет должна,
И невидимым играет
Позвоночником волна.

(«Век мой, зверь мой...». 1922)

Конечно, в многослойной картине позвонки – разом остов и клавиатура: они ведь и по внешнему виду суть костные сочленения², ряд клавиш в процессе игры то прогибается, то выпрямляется. Остов музыки и человека в здравии и в болезни, в радости и ужасе, при жизни и после смерти – такая вот рентгеновская вечность. Мир, в котором соната джина проступает из позвонков (никакой беде и неправде не переломить в человеке и в музыке его прямооту-правоту), достаточно просторен и сложен, именно в таком мире может звучать подобная соната.

Все толкователи «Рояля» 1931 года ломали зубы о «нюрнбергскую пружину». Или, щадя чести, просто долго держали ее во рту, высасывая многочисленные подтексты. «Нюрнбергская пружина» – энigmatическая игра, столь любимая Мандельштамом, который редко заботится о том, чтобы облегчить читателю поиски разгадки. В музыкальном музее Королевского колледжа в Лондоне хранится один из старейших (около 1480 года) сохранившихся клавицитериев, удивительных клавишных, в которых дека расположена стоймя. Происходит этот клавицитерий из Германии, не исключено, что как раз из Нюрнберга. Едва ли Мандельштам имел в виду конкретно этого прашура рояля. Но вот пружинный механизм, возвращающий в исходное положение клави-

¹ «Позвоночник деревни – один из стержняков», говорит про свой дом герой переведенной Мандельштамом пьесы (Жюль Ромен, «Кромдейр-Старый»).

² «Целый город костяной» – как сказано в детских стихах 1921 года.

ши, он изучал и знал. Это вообще в духе Мандельштама – вникать в научную сторону любой интересующей его сферы. Костяные клавиши – ряд умолкнувших «позвонков» – те самые мертвецы. Генрих Нейгауз вполне мог понять эту механическую метафору – его дед был фортепианных дел мастером.

Главное, впрочем, не в загадке, а в действии – той силе, которая помогает подняться упавшему, распрямиться сломленному – и зазвучать прерванной, умолкнувшей музыке. Здесь есть стиховая логика, соединяющая вторую часть четверостишия с первой: правота, прямота, распрямление человека и выправление клавиатуры, пружинное выскакивание клавиш, снова готовых издавать звуки.

Притягивает причастие «выпрямляющая», отнюдь не равное «оживляющей» или «воскрешающей». «Оживший мертвец» далеко не равен «живому человеку». Ни воскресший Лазарь, ни воскресивший его и воскресший же Христос не «зажили прежней жизнью» как ни в чем не бывало. И «выпрямление мертвецов» опять напоминает про «конька-горбунка» и про «горбатого могила исправит».

Как говорил герой любимого фильма «В поисках Форрестера»: «Главное правило писателя – писать». Главное правило музыканта – обдумывать и исполнять музыку. Пройти через потрясение прежней закончившейся жизни и снова работать над своим искусством, упражняться, углублять понимание исполняемой музыки, выступать.

Осип Мандельштам – мастер сопряжения контекстов в звуке, тут ему нет равных. Поэтому в заключительных стихах мелькают и смерть, и вновь обретенное достоинство, и новая, не равная прежней жизнь – «жизнь после смерти». И это призывание к мужеству и переосмыслению действительно выпрямляет, «исправляет» линию личности и судьбы как своего рода магическая пружина, предложенная и Мастеру Генриху, и Пастернаку, и, быть может, раньше других самому себе.

А теперь, пройдя через длинноты моих разборов, попробуйте прочитать «Рояль» заново. Кажется, называть после этого полетами в космос опыты со всяческими шаттлами преждевременно и самонадеянно. Высота не та.

Татьяна ЗВЕРЕВА, Александр МАРКОВ

ДВЕ КВАДРИГИ

Четыре поэта – как четыре стороны света. В русской поэзии стихов, посвященных четырем поэтам, немало. Рассмотрим два, найдя их истоки и восстановив общие для квадриг смыслы.

Анатолий Найман¹

Я знал четырех поэтов.
Я их любил до дрожи
губ, языка, гортани,
я задерживал вздох,
едва только чуял где-то
чистое их дыханье.
Как я любил их, боже,
каждого из четырех!

Первый, со взором Леля,
в нимбе дождя и хмеля,
готику сводов и шпилей
видел в полете пчел,
лебедя – в зеве котельной,
ангела – в солнечной пыли,
в браке зари и розы
несколько букв прочел.

Другой, как ворон, был черен,
как уличный воздух, волен,
как кровью, был полон речью,
нахохлен и неуклюж,
серебряной бил картечью
с заброшенных колоколен,
и френч его отражался
в ртути бульварных луж.

Третий был в шаге лёгок,
в слоге противу логик
летуч, подлёдную музыку
озвучивал наперед
горлом – стройней свирели,
мыслью – пружинней рыбы,

¹ Цит. по: <https://www.vavilon.ru/texts/naiman0.html>

в прыжке за золотом ряби
в кровь разбивающей рот.

Был нежен и щедр последний,
как зелень после потопа,
он сам становился песней,
когда по ночной реке
пускал сиявший кораблик
и, в воду входя ночную,
выныривал из захлёба
с жемчугом на языке.

.....

Оркестр не звучней рояля,
рояль не звучней гитары,
гитара не звонче птицы,
поэта не лучше поэт:
из четырех любому
мне сладко вернуть любовью
то, что любил в начале.
То, чего в слове нет.

В стихотворении Наймана четыре поэта явлены как персонификации природных стихий, причем каждый наделен своей материальной субстанцией, претворяющейся в язык. Первый поэт («со взором Леля, в нимбе дождя и хмеля») – это воздух и свет: его образы («готика сводов и шпилей», «ангел в солнечной пыли», «брак зари и розы») строятся на прозрачности и вибрации, на превращении зримого в почти неуловимое («несколько букв прочел»). Второй («как ворон, черен, как уличный воздух, волен») – огонь и металл: его речь – «кровь», его стихи – «серебряная картечь», а отражение френча в «ртути луж» создает алхимический образ расплавленного, опасного вещества. Третий («в слог противу логик / летуч») – вода: его «подлёдная музыка» и «прыжок за золотом ряби» отсылают к текучести, а «кровь разбивающего рот» – к волне, разбивающейся о камни. Четвертый («нежен и щедр, как зелень после потопа») – земля: он «сам становится песней», как плодородная почва становится хлебом, а его «жемчуг на языке» – словно семя, вынесенное рекой из глубин.

Стихии Наймана не статичны, а *взаимопревращаемы*. Воздух первого поэта становится готикой (камнем), огонь второго – ртутью (жидким металлом), вода третьего – кровью (плотью), земля четвертого – жемчугом (водным минералом). Это не четыре элемента, а четыре состояния материи, где поэт – *точка перехода*: его дыхание («чистое их дыханье») и есть тот ветер, что перемешивает стихии. Финал («оркестр не звучней рояля (...) / поэта не лучше поэт») подтверждает: их различие – лишь в агрегатном состоянии языка, но не в его сути. Найман не просто описывает поэтов – он дает *формулу поэзии как природного явления*, где человек – лишь проводник стихий, а слово – их осадок.

Герои стихотворения, по свидетельству Лили Панн и не только, – Бобышев, Рейн, Красовицкий, Бродский. Экстатический идеализм Бобышева, мрачноватый дендизм Рейна, мистический коллаж Красовицкого и напевный экзистенциализм Бродского трудно не узнать в этих строках. Первый из четверых у Наймана – «со взором Леля, / в нимбе дождя и хмеля» – воплощает трансцендентный порыв, где поэтическое зрение преображает материальный мир в знаковую систему. Бобышев действительно работает с преображением материального мира в знаки высшего поряд-

ка¹: в программном стихотворении «Медь, олово, свинец» даже мука телесного существования («жилы сгрызает») претворяется в музыку, где «пустой звук» наполняется божественным смыслом («дай, Грозный, муку, / но покажи устройство горл»). Постулируемая способность видеть «готику сводов и шпилей / (...) в полете пчел» или «ангела в солнечной пыли» отсылает к поэтике Бобышева, где язык становится инструментом трансмутации – будь то медный звон, превращающийся в «пустой звук», или телесное страдание, возводимое в ранг музыки. Найман фиксирует здесь неоплатонический импульс бобышевского творчества: поэт как медиум, через которого мир обретает высшую, идеальную форму. Строки Бобышева не описывают, а совершают превращение как сильнейший разрыв, не разводя «свинцовую битву» реальности и «мёд гармонии». Риторика этого эпизода построена на парадоксальных сближениях («лебедь – в зеве котельной»), что соответствует бобышевскому методу: у него метафора не украшает, а размыкает реальность, обнажая ее сакральную основу.

Особенно показательно, что Найман выделяет мотив «брака зари и розы» – у Бобышева в стихах действительно постоянно сталкиваются хрупкая чувственность и почти физическая плотность образов. В бобышевском посвящении Марии Петровых («Сентябрь, октябрь, ноябрь») осень – не абстракция, а «мужик-мужи́ком», волосатый и пахнущий рогожей, но при этом пронзённый «красным гвоздём» грозди. Это та самая способность видеть «лебедя – в зеве котельной», то есть рану поэзии в повседневности, о которой пишет Найман. Даже в «Любом предлоге (Венера в луже)», где богиня падает в торфяную жижу, чудо рождается не вопреки, а благодаря убожеству («лишь бы вела! – с ней замешана общая милость»). Бобышев не возвышает мир – он находит в нём уже готовую святость, как тот ангел «в солнечной пыли».

Но главное, что вычитывает Найман, – экзистенциальная природа бобышевского слова, работающего только на разрыв. В его «Строках» голос ручья сливается с «любовным волнением в горле», а в «Словах» речь и вовсе становится телесным актом: «оркестрованный мотив» рождает «жизни маленький двойник». Найман фиксирует именно эту одержимость материей языка – не случайно его Бобышев «несколько букв прочел» в священном браке. Поэт здесь не творец, а дешифровщик, разгадывающий уже существующую в мире криптограмму. Потому и образ у Наймана такой – нежный и в то же время неоплатонически-языческий, с «нимбом дождя и хмеля»: его Бобышев не сочиняет стихи, а снимает пенки с кипящего котла реальности, где *всё уже стихотворение*.

Второй герой – «как ворон, черен, / как уличный воздух, волен» – это поэт-фланёр, чья свобода граничит с демонизмом. Найман улавливает суть рейновского стиля: сочетание урбанистической хандры («ругут бульварных луж») и романтического бунта («серебряной бил картечью / с заброшенных колоколен»). Если Бобышев устремлен к горнему, то Рейн у Наймана – *хозяин низин*, где возвышенное иронически пересмеивается с низким («френч его отражался / в ругути бульварных луж»). Этот образ отсылает к самой поэтике Рейна, где классическая гармония намеренно деформируется и барокко соседствует с разрухой. Риторически Найман подчеркивает эту двойственность через оксюморонные конструкции: «волен, как уличный воздух», но «нахохлен и неуклюж» (то ли он птица, то ли человек!) – жест, раскрывающий эстетику неизбывного диссонанса между идеализацией и реализацией, ключевую для Рейна.

Третий и четвертый герои завершают этот квартет как диалектические противоположности. Красовицкий у Наймана – «в слог противу логик / летуч», что отсылает к его метафизике разрыва: в его текстах (например, в стихотворении «19 июля» и других стихах, которые можно найти в антологии ККК «У голубой лагуны»²) язык рассыпается на обрывки, а исторические персонажи становятся масками для говорения о кризисе смысла. Найман изображает Красовицкого как поэта, разбивающего язык о реальность; и акцентирует телесность этого коллажа («в кровь разбивающей рот»), подчеркивая, что у Красовицкого поэзия – не выражение, а рана. Или Борис Годунов у Красовицкого – не исторический персонаж, а символ кризиса легитимности слова. Власть слова

¹ Стихи Бобышева цитируются по изданию: Бобышев Д. Зияния. Париж: Имка-Пресс, 1979.

² <https://kkk-bluelagoon.ru/tom1/krasovitsky.htm>

становится такой же сомнительной, как власть самозванца: речь рассыпается на обрывки, герои говорят мимо друг друга, а сам текст превращается в *театр жестокости*, где язык лишь фиксирует собственный распад. Найман это подхватывает: его Красовицкий – поэт, который не описывает мир, а сталкивается с ним в прыжке, как самозванец – с молчанием народа. Его Красовицкий – это «Борис Годунов» русской поэзии, чье слово всегда уже опасно и обречено.

Напротив, Бродский («нежен и щедр (...), / как зелень после потопа») представлен как носитель напевного экзистенциализма – его поэзия «сама становится песней», что перекликается с его теорией стиха как формы выживания. Найман риторически противопоставляет их: если Красовицкий – это взрыв языка, то Бродский – его плавание («кораблик» в «ночной реке» как метафора поэтического голоса, плывущего сквозь время из Александровского сада). Здесь Найман не просто описывает, но воспроизводит их поэтики: неоавангардную фрагментарность Красовицкого – резкой сменой образов, философическую музыкальность Бродского – текучестью синтаксиса.

Иначе решает кватригу Семен Липкин¹:

Семен Липкин

Кватрига

Среди шутов, среди шутих,
Разбойных, даровитых, пресных,
Нас было четверо иных,
Нас было четверо безвестных.
Один, слагатель дивных строк,
На точной рифме был помешан.
Он, как ребенок, был жесток,
Он, как ребенок, был безгрешен.
Он, искалеченный войной,
Вернулся в дом сырой, тухлявый,
Расстался с прелестью-женой,
В другой обрел он разом здравый.
И только вместе с сединой
Его коснулся ангел славы.

Второй, художник и поэт,
В стихах и красках был южанин,
Но понимал он тень и свет,
Как самородок-палешанин.
Был долго в лагерях второй,
Вернулся – весел, шумен, ярок,
Жизнь для него была игрой
И рукописью без помарок.
Был не по правилам красив,
Чужой сочувствовал удаче
И умер, славы не вкусив,
Отдав искусству жизнь без сдачи

¹ Липкин С. И. Кватрига. М.: Издательство «Аграф», Издательство «Книжный сад», 1997. Оборот авантюра.

И только дружеский архив
Хранит накал его горячий.

А третья нам была сестрой.
Дочь пошехонского священства,
Объединяя страсть и строй,
Она искала совершенства.
Муж-юноша погиб в тюрьме.
Дитя свое одна растила.
За робостью в ее уме
Упрямая таилась сила.
Как будто на похоронах,
Шла по дороге безымянной,
Но в то же время был размах,
Воспетый Осипом и Анной.
На кладбище Немцем – прах.
Душа – в юдоли богоданной.

А мне, четвертому, ломать
Девятый суждено десяток,
Осталось близких вспоминать,
Благословляя дней остаток.
Мой путь, извилист и тяжел,
То сонно двигался, то грозно.
Я счастлив, что тебя нашел,
Мне горько, что нашел я поздно.
Случается, что снится мне
Двор детских лет, грехопаденье,
Иль окруженье на войне,
Иль матери нравоученье.
А ты явилась – так во сне
Является стихотворенье.

Авторское примечание: *Первая строфа посвящена Арсению Тарковскому. Вторая – Аркадию Штейнбергу [sic!]. Третья – Марии Петровых.*

Первая строфа, отданная Тарковскому, раскрывает его поэтику через парадокс детской жестокости и безгрешности – отсылка к его виртуозной работе с классической формой («на точной рифме был помешан»), которая уживалась с почти наивным, но беспощадным взглядом на мир. Образ «искалеченного войной», вернувшегося в «дом сырой, трухлявый», отсылает к биографии Тарковского (фронтовика, долго остававшегося в тени), но также к его стихам, где хрупкость бытия («трухлявый дом») обычно наглядно контрастирует с неумирающей и оплаченной всей жизнью гармонией («ангел славы», явившийся лишь «с сединой»). Липкин подчеркивает аскетичную преданность ремеслу – Тарковский здесь не триумфатор, а странник, чья поэзия стала единственным его домом, пусть и ветхим.

Штейнберг описан как художник-юродивый, чья жизнь – «игра» и «рукопись без помарок». Это отражение его судьбы (лагеря, непризнание) и творческого метода: даже в неволе он сохранял «южную» яркость образов и палехское (ВХУТЕМАСовское, технологизированное) чувство света и тени – как в иконописи, где золото проступает сквозь копоть. Фраза «умер, славы не вкусив» – не упрек эпохе, а эпитафия свободному художнику, для которого «дружеский архив» важ-

нее официальной памяти. Липкин акцентирует неправильную красоту Штейнберга («не по правилам красив») – ключ к его поэзии, где классические формы взрываются иронией и абсурдом.

Третья строфа – гимн тихому упорству Петровых, чья поэзия («объединяя страсть и строй») существовала вопреки личным катастрофам (гибель мужа, одиночество). Липкин рисует ее как «дочь пошехонского священства» – образ, соединяющий провинциальную простоту и метафизическую глубину. Ее «робость» и «упрямая сила» отсылают к стихам, где аскетичная точность («как будто на похоронах») скрывала «размах», сравнимый с Ахматовой и Мандельштамом. Контраст «На кладбище Немецком – прах. / Душа – в юдоли богоданной» – не противопоставление, а двойное укоренение: ее голос принадлежит и земле, и вечности.

Наконец, последняя строфа – метапоэтическое признание: «ломать / девятый суждено десятком» – это и возраст, и работа над словом, которое трещит под тяжестью времени. Липкин описывает себя не как творца, а как свидетеля, чье счастье («что тебя нашел») омрачено запоздалостью («нашел я поздно»). Финал («является стихотворенье») – не триумф, а чудо, возникающее, как сон, на грани забвения. Его роль – не слава, а хранение («близких вспоминать»), что делает «Квадригу» не памятником, а *описью архива, переданной из рук в руки*.

Анатолий Найман любил стихотворение Заболоцкого «Прощание с друзьями», в котором есть образ четырех поэтов. Его он прочел на открытии выставки «Трансатлантические встречи: андеграунд и новый авангард» (2019), подготовленную Наташей Шарымовой и Александром Марковым и охватившую вторую культуру по обе стороны океана. Стихотворение Заболоцкого – элегия, где умершие поэты (в широких шляпах, длинных пиджаках) превращаются в часть природного хаоса: корни, муравьи, травинки. Найман, безусловно, впитал эту идею преображения поэта в стихию, но переосмыслил её: его герои не растворяются в природе, а, напротив, становятся мифологическими фигурами – ангелами, воронами, лебедями. Если у Заболоцкого жук-человек – знак утраты человеческого, то у Наймана жемчуг на языке последнего поэта – символ нетленной красоты слова.

Мария Петровых, помянутая Липкиным, написала свою квадригу, где и создала канон великой четверки (откликнувшись Ахматовой, написавшей за год до этого «Нас четверо»), которому потом следовали Иосиф Бродский и Сергей Аверинцев¹:

Ахматовой и Пастернака,
Цветаевой и Мандельштама
Неразлучимы имена.
Четыре путеводных знака –
Их горний свет горит упрямо,
Их связь таинственно ясна.
Неугасимое созвездье!
Навеки врозь, навеки вместе. (...)

Ее поэты «неразлучимы», как застывшие изображения на фреске, прекрасные именно своей недостижимостью. Четверо классиков XX века предстают как вневременной «квадрат» русской

¹ «По существу же дело определяется для меня, во-первых, тем, что я верю в объективную исключительность ранга Мандельштама, Пастернака, Ахматовой и Цветаевой среди русских поэтов их поколения — не трех и не пяти, а именно четырех». Аверинцев С. С. Ответы на анкету о Мандельштаме [1990] // Аверинцев и Мандельштам. М.: РГГУ, 2011. С. 26.

поэзии – замкнутая космологическая система («четыре края света», «четыре времени в году»), где слава («горный свет») становится формой вечного бытия. Если у Петровых создание первого светоносного плана как плана посмертия происходит через отрыв имен от биографий («неразлучимы имена»), то Липкин выдвигает на первый план как раз биографические страдания. Это создает два типа существования поэзии: у Петровых – торжествующая вечность «неугасимого созвездья», у Липкина – хрупкая человеческая память, выраженная в жесте личного поминовения («Благословляя дней остаток»). Четверка Петровых существует вне линейного времени – как ангелы Боттичелли, застывшие в вечном *теперь*. Липкин, словно мастер барокко в своих эскизах, акцентирует распад: его «дней остаток» – это осознание конечности, где память становится не триумфом, а *ритуалом выживания*. Но оба текста сходятся в главном: четверка становится не просто списком, а магической формулой против забвения, где сама числовая символика («квадрат», «квадрига») утверждает невозможность утраты хотя бы одного звена.

Стихотворение Давида Самойлова «Перебирая наши даты» становится ключевым претекстом для Наймана и Липкина не только как памятник погибшим поэтам-фронтовикам, но и как модель поэтики именного поминовения («Павла, Мишу, / Илью, Бориса, Николая»). Самойлов создает формулу *поколения-леса*, которое «шумело буйным лесом», но было «повыбито железом» – и эта метафора утраченного единства отзывается и в четверке Наймана (поэты как равные стихиям), и в квадриге Липкина (поэты как выжившие «деревья» после исторической бури). Важно, что Самойлов говорит не о каноне, а о круге, чья целостность разрушена: «И леса нет – одни деревья». Так же и Найман с Липкиным фиксируют не «звездные» созвездия, а разорванные связи *иных* – будь то дружеский круг альтернативных шестидесятников у Наймана или «четверо безвестных» у Липкина.

Древесная образность у Липкина – не случайность, а система. Его «квадрига» поэтов собрана из разных форм дерева – как будто это не люди, а стволы, пережившие бурю истории. Трухлявое, резное, дикорастущее, сухое – но всё ещё дающее тень. Это не метафора, а материальная память: русская поэзия как лес, где каждое дерево – свидетель. И если у Самойлова лес «повыбило железом», то у Липкина он так и стоит – кривой, редкий, но живой.

Тарковский – «дом сырой, трухлявый». Это не просто дом, а деревянная рухлядь, символ поэзии, которая устояла, но истлела. Как в северных избах: снаружи – серая облупившаяся древесина, внутри – тепло стихов и старообрядческих рукописных книг.

Штейнберг – «палешанин», как поэт и художник, учившийся во ВХУТЕМАСе и живший в артистической Тарусе. Палех – не только лаковая миниатюра, но и резьба по дереву, иконопись на липовых досках. Его образ – это краска, впитавшаяся в древесину, искусство, выросшее из промысла.

Петровых – «дочь пошехонского священства». Пошехонье – глухие костромские леса, где дерево и стройматериал, и пугающая чащоба. Её поэзия – как тайная тропа в этом лесу: «робость» на поверхности, но под ней – «упрямая сила» корней.

Сам Липкин – ломает «девятый (...) десяток». Это не просто возраст, а хворост под ногами времени. Сухие ветки ломаются с треском – так и его голос: хриплый, но не сломленный.

Фраза Самойлова «Аукаемся мы с Сережей, / Но леса нет, и эха нету» особенно значима: она предвосхищает мотив неотзывающегося эха в стихах обоих авторов. У Наймана это «то, чего в слове нет» – невозможность до конца выразить любовь к ушедшим; у Липкина – сновидческий архив как последнее эхо своего и чужого поэтического накала. Но если Самойлов тоскует по утраченному единству поколения, то Найман и Липкин фиксируют изначальную фрагментарность своих сообществ. Их четверки – не распавшийся лес, а редкие деревья, выросшие вразнобой. Это смещает акцент: не *мы были целым*, а *мы чудом выжили вразброс*. Тем ценнее для них самоеловская интонация – голос, который продолжает звать, даже когда «эха нету».

У Наймана четверо поэтов – стихии, вступающие в идеальное равновесие в каждом шаге, в каждом жесте поэзии, в каждом пламенном прыжке в воздух, воду и свет. Их различие – лишь в «агрегатном состоянии» языка, а финал («поэта не лучше поэт») подчеркивает единство за видимой разнородностью. У Липкина четверка – случайно уцелевшие обломки круга, где каждый герой – одиночка, связанный с другими лишь общей участью изгнанников. Его «квадрига» – не колесница Аполлона, а повозка спасения, везущая видевших Ангела Истории.

Образы Наймана воздушны: ангел в солнечной пыли, кораблик в ночной реке. Образы Липкина – земные: сырой, трухлявый дом, кладбище Немецкое. Найман работает через метафорические замещения, секатором метафор, подстригая реальность невиданным образом: поэт становится лебедем в зеве очередной ленинградской котельной, его голос – «серебряной бил картечью», а френч, отраженный ртутью луж – сложнейшая метафора и особой температуры Петербурга, и яда, и дендистской жертвенности. Липкин использует метонимию: лагерь – не символ, а часть биографии, даже «юдоль богоданная» – не преображение, а строгая фиксация утраты. Телесность у Наймана преодолевается через метафору («в прыжке за золотом ряби»), становясь знаком. Это феноменология Гуссерля: тело как носитель смысла. У Липкина тело не преобразуется, а разрушается («искалеченный войной»), оставаясь фактом, а не знаком – здесь ближе Морис Мерло-Понти с его «плотью мира», отличающейся от тела. Найман отменяет время через личный голос («оркестр не звучней рояля...»). Липкин дробит время на «дней остаток», отдавая его мучительно растянутым голосам.

Оба текста – неустранимо двойственны: они одновременно свидетельствуют и преображают, что и делает их столь мощными – и столь проблематичными – памятниками. Оба поэта отказываются от молчания. Найман – через поэтизацию утрат, Липкин – через фиксацию пережитого. В этом диалоге между чудотворством и архивом рождается альтернативный канон – не официальный, а собранный вручную, где память измеряется не славой, а верностью.

Александр МАРКОВ

CICATRICE DE LA PLÉNITUDE:
О НЕВОЗМОЖНОЙ
МАТЕРИАЛЬНОСТИ ТЕКСТА

**Александр Уланов. Разбирая огонь –
М.: Новое литературное обозрение, 2025.
– 256 с.**

«Шрам полноты», по-французски, такое название почему-то пришло на ум при чтении романа Александра Уланова. Огонь. Голос. Пределы языка. Архитектура исчезновения. Всё это про роман Уланова, письмо в котором есть не фиксация отсутствия, а свидетельство невозможного присутствия. Город в романе – это не декорация, а плоть письма, его архитектурное воплощение: улицы становятся синтаксическими структурами, а здания – материализованными паузами в потоке речи. Так Уланов реализует важнейшую интуицию: писать – оставлять следы на снегу, который уже тает.

Роман начинается с декларации сомнения – сомнения в возможности сказать «я», в самой достоверности высказывания. Эта позиция не отрицает субъекта, но подчеркивает его принципиальную неясность, его ускользание от привычной образности. Литература здесь – не инструмент утверждения, а поле сопротивления лицемерию языка, который претендует на ясность там, где её нет. Уланов наследует традиции Мориса Бланшо, для которого письмо – это встреча с невозможным, с тем, что не поддается окончательному выражению.

Роман Уланова можно рассматривать как сложную систему *перцептивных схем*, где каждый элемент – от городского пейзажа до фрагментарного диалога – функционирует подобно художественному паттерну, активирующему читательское восприятие. Центральной метафорой романа выступает *огонь* – стихия, которую невозможно удержать и которая оставля-

ет после себя лишь пепел слов. Герои романа существуют в пространстве «иного времени», где прошлое и будущее сливаются в точке настоящего, а границы между «я» и «другим» оказываются проницаемыми. Их диалоги напоминают попытки ухватить ускользающую реальность, где даже молчание становится значимым жестом.

С первых страниц текст рассыпается на фрагменты, голоса, вопросы без ответов. Диалогичность здесь не просто формальный прием, а *способ существования нарратива*: речь не принадлежит никому, она циркулирует между персонажами, между временами, между смыслами. «– кто ты и я? / – кто сможе(т/м) / – мы происходим» – эти строки на первой же странице не столько передают разговор, сколько фиксируют сам процесс говорения, его зыбкость. Вместо линейного повествования – мозаика мгновений, где каждый элемент (дождь, ветер, книга, город) становится точкой сборки смысла.

Пространство романа – это пространство постоянного смещения: «если местами помеемся, ветер тоже переменится» (с. 5). Ветер, дым, волосы, слова – всё находится в движении, ничто не закреплено. Даже время течёт нелинейно: «год в мешке», «восемь минут все разные» (с. 14). Прошлое не уходит, а продолжает жить в настоящем, подобно тому как в городской ткани сохраняются следы прежних эпох. Персонажи существуют в особом временном режиме, где «дни в неуловимой полуночи» становятся метафорой выхода за пределы обыденного восприятия времени. Уланов работает с языком как с живой материей, где границы между прозой и поэзией стираются, он работает, по формулировке из аннотации, «строая повествование на многоголосии и многозначности, шуме времени и мозаике пространств».

Важнейший мотив романа – падение. Но это не катастрофа, а условие существования: «единственный способ удержать меня. Любое движение кажется падающим, лишённым точ-

ки опоры» (с. 7). Падение здесь сродни эпикурейскому *clinamen* – случайному отклонению атомов, которое создаёт новые связи. Так и текст Уланова строится на постоянных смещениях, на «падении по речи и ожиданию». Это не просто физический процесс, а философская категория всего романа от первой страницы до последней. Падение у Уланова – это способ существования в мире, где нет фиксированных опор. Но в противовес ему возникает бережность – как форма сопротивления хаосу: «– Ты со мной падаешь, зная, что не упадёшь» (с. 116).

Присутствие другого – ещё одна ключевая тема романа. Но это присутствие не гарантировано, оно всегда под вопросом: «знак близости – когда приходится оберегать уже не её, а расстояние» (с. 13). Герои существуют в промежуток между одиночеством и встречей, между говорением и молчанием. Молчание – редкий гостень, цветущий исключительно по ночам и требующий полива чернилами дождя. «Люди свободны и могут встретиться», – но сама эта встреча остаётся событием, которое нельзя до конца описать.

Город, лишенный моря, – это не просто пространство утраты, но и территория напряженного ожидания, *перформативный жест в сторону невозможного возвращения*. Много-слойный палимпсест воспоминаний, дождя и пыли. Уланов строит текст как архитектурный проект: зубцы домов – это «попытка привлечь [море] обратно», каналы – «держатся за море», а окна «не хотят располагаться друг над другом» (с. 24), словно отказываясь от логики вертикали в пользу горизонтали исчезнувшей воды. Город здесь становится телом, страдающим фантомными болями: он «тянется, пытаясь увидеть море с верхних этажей», а «взгляд болит шеей от постоянно запрокинутой головы».

Риторика этого фрагмента основана на парадоксе: чем настойчивее город пытается заместить море своими структурами (арками, башнями, мостами), тем очевиднее его (моря) отсутствие. Даже функциональные элементы – шлюзы, мельницы, разводные мосты – превращаются в символы тщетности: они «держат

прилив, который давно ушёл» (с. 24). Уланов использует прием *одушевления неживого*: романская башня «подняла все свои окна к девяти шпилям», другая «утыкается в небо зубчатым носом заморской рыбы-пилы», а драконы «поддерживают скамейки, отвернувшись от сидящих». Это не просто антропоморфизм, а стратегия сопротивления забвению: *если море нельзя вернуть, можно превратить сам город в его метафору*.

Отсюда мотив – *соль как след утраченного моря*. Она «пропитала» дерево эркеров, превратила кирпичные дома в «корабли на якорях», а в гротескной детали «у чертей во рту селёдочные хвосты» становится знаком тотальной инверсии: даже мифологические существа здесь несут в себе следы исчезнувшей засоленной реальности. Соль – это не просто метафора памяти, но и агент трансформации: она делает город одновременно и раной, и шрамом.

Диалогические эпизоды вводят тему языка как компенсаторного механизма. Речь персонажей столь же фрагментарна, сколь и архитектура города: «– что хочешь? / – сыр / – всегда просишь то, чего у меня сейчас нет» (с. 26). Здесь Уланов играет с идеей Жака Деррида о «призраке присутствия»: слова не называют вещи, а лишь указывают на их отсутствие. Даже намеренные каламбуры («магазин самообслуживания») работают не как выход из речевого тупика, а как попытки заполнить пустоту – рождая лишь новые вопросы: «лу-жёную глотку» или «лужу» как метафору унижения?

Философский подтекст романа отсылает к феноменологии восприятия Мерло-Понти: город существует лишь в акте взгляда («облако не греет, оно поднимает или пригибает взгляд»), а его идентичность – в постоянном смещении («квартира от тебя так сдвинулась, что я в ней теряюсь»). Уланов в городских эпизодах исследует риторику желания: город говорит на языке архитектурных фигур, но его речь – это всегда попытка сказать то, что невозможно высказать прямо. Реплики напоминают заметки из дневника Беньямина: обрывки наблюдений, где язык

такой же слоистый, как город, – и они столь же наполнены тем, что исихасты-мистики называли бы *умным чувством*, как и поучения афонских старцев.

«Живое не цельно – из слоёв. Оно – то, что с ним было» (с. 47). Эта формула задает метод романа: город здесь читается как архив насильственных наслоений, где античные амфоры с «ручками у горла» соседствуют с «казематами крепостей, рассчитанными на атомную войну», а норманнские башни врастают в арагонские дворцы. Исторические пласты у Уланова – не мирное наследие, а поле борьбы: сопротивление не штурмует стены, а игнорирует их, превращая в «прибрежные скалы». Даже через амбразуры теперь «стреляет небо» – военная архитектура присвоена природой и временем. Это не просто геология – это *археология власти*. Крепости, «вросшие в море, землю и гору», становятся символами подавления: они построены «против самого города», но побеждены «пренебрежением тех, кто не хочет иметь с властью ничего общего». Таков не статичный урбанистический пейзаж, а *текстура памяти*, где античные колонны соседствуют с готическими сводами, а средневековые стены дышат современностью.

Город сопротивляется: дома «опираются друг на друга через улицу», акведуки становятся фундаментами кафе, а в музее «скелет держит кувшины» – смерть включается в повседневность как равный участник. Это анти-монументальная эстетика: вместо «наглядных пособий» из лупанара – «сатир, элегантно образующий круг с козой». Уланов настаивает на *гаптическом* опыте: «нарисованного мало, надо потрогать»: В улановском повествовании телесность обретает особый онтологический статус – это не биологический организм, а живая граница между внутренним и внешним. Город – это *ассамбляж* жестяных акробатов, кукол, «быковолков под кометами». Даже *смерть здесь тактильна*: «череп с костью на столбике» напоминает, что *memento mori* – не абстракция, а объект уличного дизайна. Диалоги («– успевай посмтреть на ревербирующую Терезу...», с. 50) работают как интертекстуальные щели, *вну-*

скающие бурный хаос как единственный шанс остановить падение.

Итак, город в романе напоминает сад в стиле барокко с элементами контролируемого хаоса. Улицы изгибаются как декоративные кусты, дома тянутся к исчезающему морю подобно подсолнухам, а крепости, вросшие в скалы, выглядят как топиарии, подстриженные вихрями истории. Даже смерть здесь, повторю, – всего лишь изящная садовая скульптура, органично вписанная в ландшафт. Уход за этим текстом требует особого подхода. Полив осуществляется исключительно дождем, прячущимся между шестью и семью часами. Обрезка предполагает удаление лишних «я», мешающих росту многоголосия. В качестве удобрения используется соль ушедшего моря и пыль забытых книг. Главный секрет садовника – не бояться пустоты, которая, как оказывается, является важнейшим элементом композиции. В финале роман достигает пика *литературной флуоресценции*. Небо превращается в экзотический цветок, одновременно колющий и дарящий свободу. Диалоги начинают источать аромат жасмина и мокрого гранита. Даже тишина обретает свой неповторимый запах – горьковатый, с нотками полыни и недосказанности.

Вслед за Бланшо и Деррида Уланов видит в письме *превращение языка в его же отсутствие*. Но он доводит этот принцип до предела: его город – это текст, составленный из следов исчезнувшего моря, а его персонажи – голоса, пытающиеся договориться в пространстве общей утраты. Контакт возможен только в режиме потенциальности, как *обещание, которое никогда не станет фактом*. Город без моря, диалоги без ответов, письмо без финала – всё это формы сопротивления закрытости, жесты в сторону того, что Жак Деррида назвал *l'à-venir*, «грядущим» (*нодо-шедшим*), противопоставляя его *futur*, линейному грамматическому будущему.

В конце концов единственным вопросом остается вопрос о границе между живым и мёртвым, который напрямую связан с природой языка:

«– где грань между мёртвым и живым? радикальная перемена движения?»

«– мёртвое – скорее более медленное и иначе подвижное?» (с. 108)

Уланов стирает границу, полагаясь на язык. Язык в его тексте – это органическая материя, которая может «прыгать по воде», как камень, или «прорастать», как виноград. Даже серьёзность, которая изначально кажется статичной («серьёзность – земля-камень»), оказывается динамичной: «серьёзность точкой отталкивания для самого лёгкого». Форма диалога здесь не просто стилистический приём, а философский жест. Реплики персонажей напоминают записи в дневнике, где каждая фраза – это попытка ухватить ускользающую реальность:

«– а мой язык – морской? Подождёт ли до завтра?»

«– фотоаппарат плёночный, если там плёнка» (с. 109)

Эти обрывочные, почти хаотичные высказывания создают эффект незавершенности. Читатель оказывается в положении соучастника, который должен сам дорисовывать связи между фразами. Роман – поэтическая экосистема, где слова, образы и ритмы взаимодействуют как элементы единого организма.

Итак, «но если бы небо не было точкой, если бы оно не было столь же бесконечно малым, как и наиострейшее острие иглы, как я мог бы его перенести?» (с. 237). Здесь небо – не просто физический объект, а *концептуальный предел*, где бесконечность (необъятность) и конечность (острие) совпадают. Это напоминает апории Зенона или идеи Мориса Бланшо о «невозможном» как условии письма. Перенос неба становится аллегорией творческого акта: как перенести невыразимое в язык? Пустота здесь – не ничто, а потенциальность, условие любого движения (как у Лао-цзы: *форма сосуда – в его пустоте*). Уланов играет с этим парадоксом: форма возникает именно благодаря ее отсутствию. Это перекликается с хайдеггеровским *Dasein* (бытие-вот), где «просвет-легкость» (*Lichtung*) позволяет вещам являться.

Здесь реализуется подлинно софистическая стратегия: Уланов заставляет язык работать против самого себя, превращая *апоретику* (как это называл Поль де Ман) в продуктивный механизм текстообразования. Его «огонь» – не метафора, а логологический инструмент, выжигающий привычные оппозиции между внутренним и внешним, субъектом и объектом. В духе Барбары Кассен можно сказать, что этот текст не означает, а случается – его события суть принадлежность самого языка, разыгрывающего свою власть над возможными мирами. Чтение превращается в опыт встречи с изначальной политичностью речи, где каждое высказывание учреждает новое *пространство изреченного*.

В духе Бланшо, Уланов стирает грань между текстом и событием. Один из персонажей рассуждает: «событие – сам текст, а не события в нём. новый смысл порождает и Дюшан, приклеив этикетку 'фонтан'» (с. 245). Здесь литература становится не отражением реальности, а актом её создания. Письмо – это не описание, а вторжение в бытие, подобно тому как «Фонтан» Дюшана превращает обычный писсуар в искусство.

Окончательная ирония романа состоит в том, что, демонстрируя механизмы литературной иллюзии, он одновременно создает эффект подлинности переживания. Как в свое время доказал Эрнст Гомбрих, чем больше искусство раскрывает свои условности, тем убедительнее становится. Уланов достигает этого парадоксального эффекта через *радикальную честность* своего письма – признавая невозможность адекватного выражения, он тем самым преодолевает ограничения языка. «Разбирая огонь» становится не просто романом, а перформансом самого акта литературной репрезентации, где процесс письма/чтения важнее конечного результата.

Язык исследует свои собственные пределы. Уланов не стремится рассказать историю – он создает пространство, в котором читатель оказывается соучастником письма. Как пишет сам автор: «всё высказанное автоматически становится сомнительным» (с. 119). И именно в этой сомнительности – его честность.

Владимир КОРКУНОВ

МАНДЕЛЬШТАМ ШРЁДИНГЕРА

Кот Мандельштам. Публикатор Наталия Азарова. М.: Территория Ноль Тысяч, 2025. – 120 с. (ил.)

*О, нашей жизни скудная основа,
Куда как беден радости язык!
Всё было встарь, всё повторится снова,
И сладок нам лишь узнавания миг.*

О.М.

*Реинкарнация закономерна
Поэт – это тот, кто каждый раз начина-
ет сначала*
К.М.

Поэтические реинкарнации, всевозможные виды гетеронимов (тоже своеобразное перерождение) в литературе не редкость. Масска, даже *реальная*, позволяет создавать тексты автономно от «основной» поэтики. Александр Чанцев вслед за биографами называет Пессоа «гетеронимом самого себя»¹, приводя цитату одной из личностей поэта: «Мы рождаемся, не умея говорить, и умираем, так и не сумев сказать...» Личности Пессоа выдумывал так же легко, как убеждения. И каждая в метафизическом смысле – маленькая реинкарнация, пусть даже в другого себя.

Это близко к другому изречению – и о другой культуре. Андрей Тавров в нашем интервью рассказывал: «В древности китайский поэт, добившись успеха, все начинал сначала: менял имя и уходил в неизвестность, чтобы не писать машинально, в привычном ключе». И хотя мы ещё говорим о личных двойниках, всё же: подходить к понятию реинкарнации. Ведь и сам Тавров после двух месяцев в деревне с

волками вернулся другим человеком, уже не Андреем Суздальцевым.

Но Пессоа в данном аспекте ближе. И если его называли главным парадоксом Испании, то Кот Мандельштам – вполне ощутимый персонаж русскоязычной литературной сцены 2024-2025 годов. И я хочу позволить себе роскошь утверждать, что его стихи написаны им же. Не потому, что я считаю, что кот может сесть за ноутбук и набрать сборник-другой. Некоторое время назад меня спросили в соцсетях: «Кто, на ваш взгляд, автор стихов Фёдора Терентьева?» – и я ответил: «Сам Фёдор Терентьев». Это та необходимая вера, без которой в поэзии исчезнет чудо бессмертия и останется лишь «доказательная медицина». Ведь и стихи рождаются не благодаря ноутбуку, а чему-то не до конца объяснимому: «это может быть чем угодно, любым контактом, который удалось записать словами»². Именно поэтому стихи Кота Мандельштама – реинкарнации поэта Осипа Мандельштама – написал сам Кот Мандельштам.

Как и стихи каждой личности Пессоа писала именно эта личность. Как и за Шанти Деви говорила Лугди Деви – что, в общем-то, доказала (пусть и не без сомнений) комиссия, созданная Махатмой Ганди³.

Отметим, что в символизме, в атмосфере которого также воспитывался Мандельштам (хотя он сам, конечно, писал в совершенно иной манере), тема реинкарнации была одним из элементов мировоззрения. А в акмеизме воспринималась уже не в плане личности, а в повторении литературных сюжетов, литературном слиянии эпох; не доходя до абсурда постмодернизма, вывернутой перчатки Уорхола, когда цитата стала более значимым жестом, чем высказывание.

² Интервью с Котом Мандельштамом // Кот Мандельштам Стихи. – М.: Территория Ноль Тысяч, 2025. – С. 14.

³ Выводы комиссии: «Шанти Деви действительно помнит детали жизни Лугди Деви с точностью, которую невозможно объяснить простыми совпадениями или обманом». Ссылку на интервью можно найти тут: https://psi-encyclopedia.spr.ac.uk/articles/shanti-devi-reincarnation-case?utm_source=chatgpt.com

¹ Чанцев А. Гетероним самого себя // Colta. – 2021. – 11 ноя. URL: <https://www.colta.ru/articles/literature/28810-aleksandr-chantsev-kniga-zhoze-paulu-kavalkanti-filyu-fernando-pessoa-pochti-avtobiografiya> (Дата обращения 14.08.2025.)

Вернувшись к нашим ойкуменам, как Татьяна Щербина отождествляла Дмитрия Кузьмина с Александром Македонским, а Игорь Сид ничтоже сумняшеся называл себя реинкарнацией Максимилиана Волошина. Пусть даже и в аспекте художественного приёма.

Само по себе отождествление – необходимый творческий акт. Когда мы пишем о насильнике и жертве, мы одновременно и совершаем насилие, и подвергаемся ему. Без переноса себя в создаваемый образ, «реинкарнации в насильника», а потом «в жертву», – создание полноценного текста, которому веришь – маловозможно.

Тем не менее, реинкарнация как художественный приём не отменяет реальной реинкарнации, хотя это и вопрос многочисленных спекуляций. Биохимик и психиатр Ян Стивенсон¹ несколько десятилетий собирал знания о прошлых жизнях: проверял детские «свидетельства», доказывал отсутствие связей между семьями из прошлого и настоящего, – и собрал внушительный объём доказательств, вроде бы снижающих возможность научных манипуляций. Вроде бы – ключевое. Стивенсон не раз оговаривался, что его теория не является безупречной. И в его слова (как и слова опрошенных им детей), статьи и книги можно только верить. Но не на веру ли вообще в создаваемый мир строится литература? Тогда почему мы должны отказываться в установке, что стихи Кота Мандельштама написал Кот Мандельштам?

С автором книги я познакомился в 2020 году, когда записывал интервью с его хозяйкой² для журнала «Цирк “Олимп”+TV». Почти весь день мы провели в Серебряном бору, гуляли по улочкам/тропочкам (в том числе дошли до пляжа, известного литературными

происшествиями) – а он то появлялся, то исчезал, как умеют делать только коты и поэты. Тогда он ещё не писал стихов; об этом я узнал летом-2024, снова оказавшись здесь.

На веранде я прочитал порядка 50 стихотворений Кота Мандельштама, вероятно, одним из первых (и даже записал на аудио несколько из них). Позже будут наше интервью, публикация в «Волге»³, книга и презентация, где Ося возлежал рядом с хозяйкой и слушал, что о его текстах говорят известные литературоведы и поэты: Владимир Новиков, Владимир Кошелев, Михаил Павловец... – может быть, и сами чьи-то реинкарнации.

За несколько дней до презентации Наталия Азарова с Осей, мужем Алексеем Лазаревым и редактором «Нового мира» Ольгой Новиковой приезжали в Кимры – место, где Осип Мандельштам написал последние дошедшие до нас стихи (т.н. «савёловский цикл»). Нам было интересно, опознает ли кот мандельштамовские места, которых в Кимрах наперечёт – небольшой отрезок брусчатки да остов электростанции, около которой под раскидистыми деревьями останавливался О.М. с супругой и гостями – биографы, например, Павел Нерлер, определили в них артиста Владимира Яхонтова и его супругу Лилю Попову, тогдашнее романтическое увлечение поэта.

К нашему удивлению, Ося деловито отправился к тому самому месту. А на обратном пути, встретив кошку, буквально загипнотизировал её – как Каа; слышно было только её напряжённое горловое урчание/шипение, смесь, так сказать, диалектов. По дороге в Москву он – отдыхая после прогулки и рыбного обеда в гостинице «Чайка» на берегу Волги (в одном из номеров останавливался известный уроженец Кимр Александр Фадеев) – примерно час проспал у меня на коленях.

¹ Стивенсон Я. Реинкарнация. Исследование европейских случаев, указывающих на перевоплощение. Пер. И. Лапшина. – М.: Ганга, 2021. – 576 с.

² Обращение – всей жизнью. Интервью с Наталией Азаровой // Цирк “Олимп”+TV. – 2021. – № 36 (69). URL: <https://www.cirkolimp-tv.ru/articles/1068/obrashchenie-vsei-zhiznyu> (Дата обращения 24.08.2025.)

³ Кот Мандельштам Мандельштам-реинкарнация // Волга. – №11-12, 2024. – С. 16–30. URL: <https://volga-magazine.ru/wp-content/uploads/2024/12/04-%D0%9A%D0%BE%D1%82-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC.pdf> (Дата обращения: 24.08.2025.)

Стихи Кота Мандельштама начинаются с деконструкции, вернее, отказа от канонического образа: «когда мне стало ясно что слависты / усыновили мою личность / я её выбросил». Всё дальнейшее – взгляд со стороны кота, стремительное слияние времён и пространств: «и я теперь кот / и у меня с собой / запасы пропущенного». Эта реинкарнация напомнила ситуацию конца 80-х, когда авторы эпохи О.М., советские официозные, неподцензурные и новейшие поэты стали современниками; на читателя обрушился такой поток текстов (часто запрещённых в советскую пору), что это могло дезориентировать.

Что-то подобное происходит и с Котом Мандельштамом, только эпоха другая: на стыке борьбы правого и левого дискурсов в мировом масштабе (так и О.М. – фигура соразмерная; отсюда в текстах Кота множество отсылок к мировой культуре, поэтическому донкихотству; а борьба с мельницами сегодня, увы, всё больше удел именно поэтов), кризиса и реставрации империй (и у О.М. были политические тексты-антонимы; поэзия – всегда политика, но поэт – априори вне её, поскольку представляет все политические партии сразу), симплификации жизни под воздействием гаджетов, социальных сетей и т.д. Совокупность этих факторов добавляет текстам Кота Мандельштама незатронутые возможности говорения. Например, о свободе – некоем краеугольном камне для пишущего:

котом стало ясно	я способен быть красавцем
	я наконец зверь с сомалийской силой звериной

Поэт – существо всегда дуальное. И те, кто попадает в силки одной и то же темы и паразитирует на ней (будь то политика, травма, перманентная любовная ламентация, природопись и др.), деградирует в поэтическом

смысле, становясь двумерным. Свобода – внутри каждого, и даже если физическая свобода может быть ограничена, то в пространстве текста мы путешествуем между мирами, людьми, эпохами.

Разумеется, в «Дон Кихоте» Сервантес – и главный герой, и Санчо Панса, и Дульсинья. Как и в «Декамероне»: Боккаччо – каждый из процессии героев. Как и в «Войне и мире»: Толстой – и дуб, и Болконский, и небо, смотрящее в его глаза. Без многомерного отождествления невозможен полноценный творческий акт, и сама сущность кота-поэта говорит об этом. Он и «красавец», и «зверь»; он пишет стихи и одновременно не пишет; он иронизирует и говорит из-под кошачьего прищура мурдые вещи. Этакий Кот Шрёдингера, который одновременно и с нами, и во всех созданных им пространствах.

Или Мандельштам Шрёдингера. Который может быть и котом, и текстом, и тучей в небе, и фантазией Надежды Яковлевны о новой встрече (и питомцем Наталии Михайловны, наконец).

Одним из важнейших образов, приоткрывающих модель письма Кота Мандельштама, является уже упомянутый Дон Кихот. Автор не просто отказывается от его хрестоматийной сущности: «котом / мне / стало ясно / я не донкихот», он показывает себя с ключевого для нового Мандельштама ракурса: «я тут / охотник / за / донкихотом», а значит: охотник за прекраснотушием, наивной верой в добро.

Кот Мандельштам обретает цинизм, ставит себя в центр мира; с одной стороны, так делал и О.М., но есть нюанс: в силовом поле эгоизма поэт всё равно преследовал идеал, сражался с ветряными мельницами предрассудков и мизантропии общества, тогда как К.М. сам охотится «за лохами» – преследует тех, кто зазевался (а жертва может быть как культурным идиотом, так и объектом лакомства/пропитания). Мотив охоты, жёсткости, переходящей в жестокость: то, что позволяет сесть Коту Мандельштаму на правое плечо читателя, когда на левом сидит «классический» Осип Мандельштам – уравновешивая его.

Здесь же открывается новый пласт знаний Кота – совмещение филологического=человеческого опыта с рефлекторным=звериным, культурный бэкграунд которого практически совпадает с представлениями рептильного мозга о выживании (и «правильной» жизни).

Очевидна и критика левой повестки; Кот Мандельштам – конечно, консерватор гедонистического толка. В его мире невозможна чернокожая Русалочка (или фем-Белоснежка), но Русалочка как объект охоты и лакомства – вполне.

Смещение образов у К.М. происходит одновременно с проникновением в суть. За Дульсинеей он, например, видит не прекрасную даму, а Альдонсу – крестьянку («пайзанку»), то есть – сбрасывает флёр прекраснотушных представлений. В этом «сутилице» скрывается его философия (она нарративно представлена в разделе «Смыслы Мандельштама»).

И когда Кот Мандельштам говорит:

коллектор дон кихот бесстыдно
запятнанный местечком и сам сервантес
я следую за вами – и кот, и сомали,
еврей, теперь ещё и русский –

это тоже элемент охоты. И элемент совмещения культур; который помогает вспомнить и пятую графу, и маскарад идентичностей (в том числе, чтобы выжить; как меняли фамилию и мои родные-поляки, депортированные в Российскую Империю), и главный элемент искусства всех времён – игру. Особенно, когда Кот говорит: «мы лишь нанизываем стигмы в ожерелье / мы виртуозно превращаем имена»; но кто задумывался, что поэзия в целом – одна из самых очевидных стигм?

Тема реинкарнации мне представляется скорее как точка отсчёта/обзора, через которую нужно воспринимать тексты К.М., – но не влияющая на их самоценность. Возможно, поэтому она поднимается, в основном, в интервью, где хватает соображений и о себе, и о других: «Хотя вот Целан... я встречал его как кота – в Бресте, во Франции. Он увидел, как я прыгал, почему-то назвал тигром, а я очень похож на тигра, я же дикий. Но это был кот.

Да, Целана я встречал. А из философов, может быть, он еще не стал котом, но точно станет – Беньямин. Я был на его могиле, мы разговаривали, он уже был готов. Потом я видел: там шел кот, наверное, это уже был Беньямин. Еще и Нострадамус-кот, но поэзии там явно не хватает»¹.

В стихах фокус заострён на другом (менее ожидаемом), даже в тексте «мандельштам – реинкарнация» о самом перерождении ни слова – скорее, это попытка совпасть с О.М. по интонации, смыслу, фонетике. Вообще-то элементов поэзии Мандельштама тут множество – это и обилие аллитераций/ассонансов/ассоциаций, и скрытых рифм, и рефлексий на тему еврейства, и в целом – обращение к мировой культуре одновременно тет-а-тет и для всех.

Самое интересное – как это преобразуется в текстах Кота. Если, например, О.М. постоянно стремился за неуловимым образом (такая «охота» вообще характерна для Серебряного века), то для Кота – это охота в прямом смысле, даже если она метафорична; и «невкусный хвост» ящерицы в постироничном ключе напоминает текст О.М. «Золотистого мёда струя из бутылки текла...» со строчкой: «Золотое руно, где же ты, золотое руно?» – об охоте за призрачным нематериальным счастьем. А символическая образность (см., например: «жёлтая лошадь / и / синий осёл / отвесно / пасутся / напротив» – подобный перевёрнутый мир здесь нередок) идеально сочетается с символистскими, чуть сюрреальными картинами Алексея Лазарева.

Однако сами по себе образы реинкарнации (конечно, тема в актуальном ключе – находка) приоткрывают мечту человека даже не о последовательном, а о параллельном существовании; но практически без ноток буддизма²: перед нами «двухъярусная жизнь», когда ты не перерождаешься – вырастаешь над собой. Особенно отчётливо это понимаешь, читая строки: «пони тяжёлый / ты подвержен продолжателям / тебе и реинкарнация недоступна» (тяжёлый – в плане закостеленного восприятия).

¹ Интервью с Котом Мандельштамом... С. 11-12.

² См., например: «птицы / сотворены / раньше цветов / и всё в этом».

Ещё интереснее глава «Реинкарнация» в разделе «Смыслы Мандельштама» (пожалуй, единственная в сборнике прямая рефлексия на тему, но тоже весьма компактная), главная мысль которой: «Реинкарнация закономерна / Поэт – это тот, кто каждый раз начинается сначала». Это тоже из практической плоскости – сколько мы знаем примеров, когда поэт консервируется на взлёте, остановившись в развитии, освоив один-единственный приём, становясь великовозрастным нытиком/ныти-кессой; но не печатают его/её не из-за заговора либералов или патриотов, а потому что личная реинкарнация – необходимое условие нового шага, нового интереса, новой актуальности. В поэзии всегда ценится только то, что *будет* сделано; а то, что *уже* сделано – больше не является индульгенцией ещё живого автора.

Поэт всегда и индивидуален, и универсален. Как я писал выше – он одновременно каждый из своих персонажей. Он наблюдает, просит, пророчествует. Он сир и убог – и одновременно богат. Он скептик и новатор. Он – мир, который формирует законы внутри себя, и мы можем воспринять их только будучи «переваренным» им же: как Кот переваривает пресловутую ящерку. И от открытости создаваемого миру зависит, каким будет эстетическое послевкусие.

В текстах Кота Мандельштама формируется идеальный образ поэта. Не высокий пафос – взгляд с прищуром. Квинтэссенция серьёзного и едва ли не детского, понятного каждому, но поданного под таким углом, что волей-неволей обращаешь внимание. Общепозитический приём, но чуть в ином ракурсе.

Разумеется, драйвер развития искусства – сделанное впервые; и книга Кота Мандельштама – первая среди подобных. Но есть ещё один постулат, о котором многие забывают. Корней Чуковский учил детских писателей чаще менять ритм – тогда ребёнок, даже если не очень внимательно слушает, заметит ритмический переход, не уснёт и, может быть, вслушается в текст. Кот Мандельштам играет на иных переходах. Он предсказуемо смешивает высокое с низким: например, Аль-Андалус (исламская территория на территории Испании) совмеща-

ется с испанским садом и одновременно стыдом, побегом от волхвов и т.д. А подаёт умные/ироничные мысли через «кошачий словарь»: здесь и лапы, и охота за «солнечными зайчиками» («в промелях света выпрыгивали мелкие олени / и я рванул») и др. В этом сдвиге есть новый поэтический идеализм, недоступный для серьёзного поэта, бьющегося за каждую извлечённую букву.

Словесный ряд, этакий кошачий дискурс, связывает все составляющие книги.

Читая наполненную ироничной мудростью книгу Терри Пратчетта «Кот без прикрас» (с т.з. самого кота), мы лучше понимали себя. В «Коте Мандельштама» мы лучше понимаем искусство, его искусственный пафос, заломанные руки, чуждые цели. Кот Мандельштам не случайно много раз повторяет «котом мне стало ясно». Потому что только кот может понять, как нерационально и саморазрушительно живёт человек: множит войны, плетёт многоходовые интриги, страдает там, где мог бы найти идеальное место для обзора, впустить в себя виды и пространства, слова, которые преломляются под солнечным светом и дремлют на кошачьей лежанке.

Эта книга – горькая долька вита, показывающая разрыв между жизнью и саморазрушением, отчего-то принимаемым за *образ жизни поэта*. Котом Мандельштаму стало ясно, что канонический образ – реликт, который подобно Вавилону должен быть разрушен. На смену должен прийти мир «парков / гор / свобод», «спальни / со многими / выходами», где наши привычные драмы: «тонюсенькое такое / чтобы всё незаметно // и всё».

Светлана МИХЕЕВА

В ОЖИДАНИИ ГЕНИЯ

Борис Кутенков. Критик за правым плечом. Избранные заметки о классиках, современниках, литературном быте. – М.: Синяя гора, 2025. – 220 с.

Книги подобного рода всегда – авторский риск. В каком-то смысле отчаянный, в

хороших образцах – рассчитанный. Дневниковые записи сродни мемуарам, и за них автору приходится отвечать и собственной репутацией уже только потому, что решился их издать. В эпоху соцсетей и мессенджеров, открытых любому ветру, в чем вообще смысл такой траты сил и бумаги, если не подчеркнуть собственную значимость?

Все не так просто с дневниками. Есть, конечно, и пустяковые. А есть интересные, помогающие понять, не откладывая на долгий срок, явления сегодняшнего дня. Это касается в первую очередь записей, условно говоря, профессиональных, затрагивающих какую-либо область знания или творчества. Автор нашей книги – критик, поэт, культуртрегер – заявил свое собрание заметок из телеграм-канала как книгу о классиках, современниках и литературном быте.

Новые особенности коммуникации, обязывающие быть на виду, тем парадоксально лишаящие частное слово веса, а личность – прав на закрытость, стали социальной проблемой, что находит отражение и в этой книге. Недаром автор прямо рассуждает об идеале амбиверта – человека, который легко встраивается в ситуацию коммуникации и так же легко из нее выходит. Быструю перезагрузку автор дневника считает очевидно полезной привычкой. Кажется, запрос на более личный, эффективный контакт задан публикацией этого дневника на бумаге.

Книга, о которой идет речь, может вызвать раздражение, будучи в достаточной степени эгоцентричной – но отчасти этого требует жанр. Не открыв собственных пристрастий и принципов, слабостей и желаний, автор лишил бы нас отправной точки, фактически – героя, с которым мы соглашаемся или с которым спорим. Да, местами книга кажется затянутой, иногда – кокетливой. Но противоречие между интимностью дневника и желанием нравиться читателю не переходит допустимую границу и не рискует гораздо большим и ценным, что в ней есть, – умением ставить проблему, фор-

мулировать неудобные вопросы в ее пределах, смелость выразить на их счет собственное мнение. Мы здесь не увидим ни воинственной аполитичности, ни грубых политических инвектив. Все сложные темы – в режиме личного размышления обо всем, что касается круга интересов: замечания о литературном сообществе, интроспективные заметки о прочтении старых книг, горячие рассуждения о самоопределении молодых авторов, их ожиданиях – в том числе о себе как о поэте. И, конечно, о том, как и с чем работает критика – позиция критика как некая направляющая заявлена уже в названии. В общем и целом, речь – об искусстве, уточняя – о художественной ценности как таковой.

В давней статье «Назад – к Орфею» («Новый мир», № 3 за 1988 год) критик Ирина Роднянская жестко констатирует дефицит романтического фатализма в служении Музе у поэтов целого поколения – восьмидесятых. Мне показалось любопытным, что наша книга-дневник представляет собой своеобразное свидетельство того, что такой романтизм служения все же не исчез. Более того, хотя литераторы сегодняшнего времени и достаточно прагматичны, у них есть запрос на большее – высокопарно выражаясь, их душа требует некой высшей цели. И этот градус в книге не просто замечен, но высок. Кем быть – «юродивым проповедником» или же медийным персонажем? – задается вопросом автор, и, очевидно, не только от своего собственно лица, но, возможно, и от лица поколения.

Об этой романтической нагруженности свидетельствуют и замечания относительно литературного, поэтического «мессианства», слышанные мною раньше лишь от писателей старшего поколения и вдруг высказанные здесь: «Нельзя отрицать, что явится талантливый автор и перевернёт “систему”». Ожидание гения, который должен предложить что-то принципиально новое и тем спасти ситуацию (и литературный мир), кажется больше психологическим буфером или разрядкой, чем объективной необходимостью. Можно спорить об этом, однако живучесть мифологемы о «поэте-спасителе» раскрывает внутреннюю неу-

довлетворенность самого сообщества. «Нет, ты не Пушкин. Но покуда / Не видно солнца ниоткуда...» – эти некрасовские строки в определенных обстоятельствах приобретают даже иронический оттенок.

Во многом ожидание поэта, который «перевернет систему», связано в этих размышлениях с двумя моментами. Первый – сама система, которая, как дает понять автор, находится в стагнации и ситуативной неопределенности. А второй (связанный, конечно, с первым в сложной комбинации) – с требованием *служения* в том смысле, который имела в виду Роднянская. Именно со служением, а не с жадной некой формальной, иллюзорной, условной новизны – ибо что она вообще такое?

Поэтому-то здесь, в книге, неоднократно и звучит терзающий вопрос: как разглядеть, не пропустить гения? Кутенков замечает при этом, что понимание гения, который все изменит, разное – в том числе и у разных поколений. Но именно порыв служения Музе и определяет его, этого самого «гения», как некую идеальную фигуру – именно это победительное свойство имеет решающее значение в направлении внутреннего, личного диалога конкретно в этих дневниках. Полагаю, что авторский запрос напрямую связан не только с иерархией (канон) в литературе – это, в большей степени, формальность. Но главное здесь все же попытка самоопределиться в лучшем – пусть и относительно мифологической идеальной фигуры: на кого равняться? Бескорыстие – то, о чем мы все давно грустим.

Кутенков то штурмует высоты, тольково размышляя о классиках и тенденциях большой литературы – с азартом личного пристрастия, местами – спорно (соображения о личных пристрастиях в книге проговорены, автор никого не вводит в заблуждение, не настаивает на своей точке зрения как на единственно возможной), то шокирует, рассуждая о «низком» продукте: «Стихи берут за душу непритязательную публику, будучи предсказуемыми в каждом моменте, – и, что скрывать, даже меня

кое-где эмоционально цепляли, как может зацепить попсовая песня». Высоколобых товарищей, конечно, удивят и признания в нежных чувствах к ранним продуктам детективщицы Марининой. Но вопрос взаимовлияния массовой и высокой литературы неизбежен (в том числе и на примере их столкновения в биографии одного, конкретного литератора). И вопрос этот совершенно не трагичен, как может показаться, – но его актуальность возросла вместе с возросшими тиражами печатного маскульта. Как человек, прекрасно знающий свой предмет, Кутенков не только может, но даже обязан считаться с этим, анализируя влияние в том числе и на личном примере, с позиции личного пристрастия.

При этом острота вопроса о пристрастности и беспристрастности возникает в книге то и дело – и относительно каких-то имен в литературе, и явлений, и конкретной ситуации авторского выбора: всегда ли я объективен и всегда ли *должен* стремиться к объективности? Для автора, особенно для критика, важно само понимание объективности как явления и подхода – насколько она вообще возможна и насколько равна беспристрастности?

Думаю, что сегодня все заинтересованные в литературе в какой-то мере стоят перед выбором выбора, простите за тавтологию. Под лупой мы особенно внимательно рассматриваем сегодня именно свою способность подойти беспристрастно к тому, что по тем или иным причинам исключается из литпроцесса, приобретает дополнительное звучание, актуализирует скрытые смыслы. Все стало неверным, зыбким, потерявшим берега – нужны новые точки опоры и, возможно, отсчета, ведь как быть в ситуации, когда, говоря словами автора книги, «всю нашу критериальность растёрли и выбросили»? «Сейчас всё меньше надежды, что вменяемые культуртрегеры сойдутся на отнесении определённых имён к какой-либо из перечисленных категорий; всё меньше её в силу отсутствия полемики и предельного разобщения (усиленного, естественно, политизацией литературного поля)» – сказано несколько обреченно, но, по существу, верно. И неважно, о каких именах и

категориях идет речь, главное здесь – «в силу отсутствия полемики и предельного разобщения». Есть ли шанс на какой-то общий язык? Вопрос открыт.

Кутенков, как представитель молодого поколения, предъявляет и естественный счет младших поколений старшим: они не оправдали своего старшинства, на них лежит вина за разрушение иерархичности, от которой традиционно отталкиваются новые поколения авторов.

Но, задаваясь вопросом: «Не выдуманная ли она <иерархия> по своей сути?», – автор констатирует, что и новое поколение уже само может что-то диктовать и «выстраивать свои институции», вопреки старшему, которое не хочет брать потомков в расчет. Во многом здесь слышится и общее возмущение младшего поколения – на минуточку, почти любого нового поколения, вынужденного штурмовать редакции толстых журналов, спорить с редакторами, что-то доказывать старшим. Весьма симптоматичным кажется мне обращение автора к редакторам (как, в определенном смысле, тоже старшим). И они предстают лицами, в литпроцессе незаинтересованными, с «дряхлыми понтами» и «старческим задором». И, да простят меня редакторы и вообще все «старшие», меня позиция автора этого дневника радует. Младшие поколения просто обязаны обладать юношеским гонором, который требует скидывать с парохода современности всё, что кажется отжившим: это лишь сигнал о здоровье поколения, о том, что младшие вполне энергичны и готовы к свершениям.

Более того, чувствуя изменения, озвучивая проблемы, младшие предлагают варианты решения. Они ощущают, что система не готова меняться изнутри им навстречу – так может, нам нужны не столько гении поэзии, сколько редакторы-гении, культуртрегеры-гении? Да, требуются качественные изменения – но не поэтому ли сегодня и появляются электронные журналы и проекты, которые дают более

широкий взгляд на современную литературу. К таким проектам, кстати, сам автор имеет прямое отношение, о чем также неоднократно упоминает в книге.

Почему же в таком случае в этих организованных дневниковых записях местами прочитывается усталая безнадежность – если все течет естественно, если дело так или иначе движется в лучшую сторону? Потому, очевидно, что обострилось влияние на литературу и литературное сообщество некой общей угнетающей системы двойных стандартов и посланий.

Людей, сведущих в литературе, конечно, с толку не собьешь, они отличают искусство от культмассовой поделки. Просто сам факт легитимизации таких поделок – на любом уровне – болезненный удар для тех, кто *служит* возвышенному, Музе или литпроцессу, назовите как угодно. Но такие общественные эффекты – не новинка, конечно. Загляните хотя бы в статью «Борьба за право писать плохо» Бенедикта Сарнова от того же 1988 года – она отлично раскрывает тему, последовательно связывая ситуацию начала прошлого века с ситуацией, наступившей нас в его конце. Сегодня нас вновь лихорадит. «Сама исходная точка легитимации – искусственная; это принадлежность к курсу, первооснова которого вновь – соответствие “гражданской” позиции, а вовсе не близость текстов неким эстетическим установкам говорящих. Подмена понятий есть подмена понятий, которую вполне иллюстрируют антологии глубоко ненормального времени – причём и с той, и с другой стороны дискурса», – сетует Кутенков. И та и другая сторона дискурса – оппоненты не столько эстетические, сколько, увы, политические. Именно этот момент и тревожит – художественная ценность перестала быть причиной спора. Даже этику подменяют – снова, как бывало не однажды, – политикой. Называть вещи своими именами всегда было неудобно – но как тогда говорить об искусстве? Через неудобство, вопреки? Диагноз из дневника вполне объективен: «О современно-

сти пишут мало, а если пишут – то обтекаемо (это тенденция; причины, думаю, объяснять излишне)».

Совмещение человеческого и литературного, этического и эстетического кажется мне главной линией, относительно которой (специально ли, подспудно ли) собрана книга. И, конечно, вопрос личного отношения к происходящему выходит на передний план как позиция личного выбора: кем быть, как быть? Этот же вопрос зашит и в рассуждения о литературном сообществе: разъединение, раскол на группы, которые сегодня принципиально отказываются друг друга понимать – на основаниях внезапного отсутствия общих ценностей, спровоцированного внешними обстоятельствами. Но можно ли, в принципе, говорить о каком-либо единстве, если внешние обстоятельства так влиятельны?

Очевидно, что у истории есть кое-какие соображения на этот счет. Но когда добираемся наконец до авторского отчаянного признания: «Одиночество писателя в наши дни огромно» – все возможные ответы истории разбиваются о чужое личное переживание здесь и сейчас. В этом и состоит большая сила дневников – общее и частное в них становятся взаимодействующими сторонами, предлагая более достоверную и широкую картину происходящего. Тем более что требование соучастия, живого отклика («движение к отклику есть движение к (само)пониманию»), оказывается обращено

даже и не столько к современнику – скорее, к анонимной силе, к нейтральному, к ноосфере как содержащему, а потому, возможно, благоволящему пространству («вытягивание» этого самопознания из пространства»), которое озапросе «возможно, не знает и не делает встречных шагов». И вот вам, пожалуйста: проясняется то странное чувство невостремованности (при, казалось бы, реальной востребованности) – как общее выражение лица в портрете молодого амбициозного человека. Обошелся бы без меня мир, нужно ли его взбаламучивать, затрагивать ли его «своим настойчивым существованием»? Все в свое время задаются этим вопросом, никогда, увы, не имеющим окончательного ответа.

Общее чувство «нестабильности мира», о котором говорит автор, опасаясь утратить в том числе «святую веру в предназначение», удачно разрешается в этом дневнике «неким идиотским идеализмом»: деятельностью без награды, к которой относится и сочинение стихов, и безденежное издание книг неизвестных поэтов, и прочее культуртрегерство. Делай что должен и будь что будет, как советовали стоики. И тогда при любой, самой сумасшедшей смене временных (и, конечно, временных) декораций, мы способны на большее – и видеть настоящее, и преодолевать искусственность. В конце концов, подлинная свобода – это внутренняя категория самопознания. Дневники – свидетельство нашего стремления к ней.

Контакты:

Анна Сафронова (*гл. редактор, проза*): safronova-volga21@yandex.ru

Алексей Александров (*зам. гл. редактора, поэзия, критика*): alexandrov-volga21@yandex.ru

Олег Рогов (*архивные публикации, критика*): rgy@mail.ru

Сайт журнала: <http://volga-magazine.ru/>

Электронная версия журнала на сайте «Журнальный зал»:
<http://magazines.gorky.media/volga>

Подписано в печать 10 октября 2025 г.

Журнал отпечатан в типографии
ИП Сергеев

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.